



8 • 1982



К. Васильев. Автопортрет.

Рассказ о художнике К. Васильеве читайте на стр. 231

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал ЦК ВЛКСМ



Основан в 1922 году

В НОМЕРЕ:

Первая страница обложки: Кремлевский Дворец съездов. Вручение Красного знамени Всесоюзному ударному комсомольскому отряду имени XIX съезда ВЛКСМ.
Четвертая страница обложки: Молдавский танец.

Наш адрес:

125015, Москва, А-15, Новодмитровская ул., 5а. Телефоны редакции: приемная — 285-88-58; отдел прозы — 285-80-55; отдел поэзии — 285-88-40; отдел очерка и публицистики — 285-80-26; отдел критики — 285-80-14; отдел «Товарищ» — 285-89-66; секретариат — 285-80-16.



БРАТСКИЕ ГОЛОСА

ИЗ МОЛОДОЙ ЛИТОВСКОЙ ПОЭЗИИ

Литовские поэты, представляемые читателям этого номера журнала, очень молоды, они принадлежат к новейшему литературному поколению нашей республики. В их творчестве проявляются нравственный максимализм, столь свойственный счастливому времени юности, и лирическая непосредственность, связанная с национальной поэтической традицией, поиски оригинальных средств стихотворной выразительности и, что следует подчеркнуть особо, серьезное внимание к духовным проблемам современности, пафос гражданственности, патриотизм.

Зита Мажяйкайте, Альма Каросайте, Римантас Ванагас уже выпустили в свет свои первые сборники, Аудра Стасюконите, Раиса Махлайчук, Витаутас Венцлова активно печатаются в республиканских газетах и журналах. Все они находятся в самом начале многотрудного творческого пути. Поэтому хотелось бы пожелать им не только сохранять чуткое отношение к нашей советской действительности, но и развивать его за счет активного обращения к тем областям и вопросам повседневности, которые еще не стали достоянием поэзии. Почему я об этом говорю? Потому что поэзия молодых — это также и художественное осмысление постоянно обновляющегося мира, когда горячий порыв своевременно подкрепляется глубокими знаниями, чувством ответственности перед обществом и требовательностью в творческой работе. Ибо настоящую поэзию определяет прежде всего жажда борьбы за общечеловеческое счастье.

Робертас КЯТУРАКИС

Витаутас ВЕНЦЛОВА

* * *

Миры галактик человеку
не так уж и необходимы,
в сто крат важней ему от века
любовь, работа, кров родимый,

луга и нивы — даль за далью,
добра и правды сопричастье, —
чтоб только, рук не покладая,
осуществлять идею счастья.

Хозяину земли нимало
не в тягость механизмов грохот, —
лишь хлеба детям бы достало,
от жажды горло бы не сохло.

Нужны ему и блеск зарницы,
и помощь друга в час смятенья.
И песня — легкая, как птица,
в лучах духовного прозренья.

* * *

В моей душе — броженье силы,
как в деревах порой весенней:
не до унылых наваждений,
когда цветенье наступило.

На стол в потемках налетев,
дверь не закроешь на засовы:
душа произрастает словом,
как зернами посева хлеб.

О жизнь моя, твоим раздольям
лишь звездные часы сродни:
О, солнце, солнце, отдохни
на ласковых моих ладонях!

ОСЕНЬ

Светлеет полдня тишина —
как яблоко в траве росистой.
Вокруг — хрустальная страна
под облачной холстиной чистой.
Ведет дорога по полям,
легко на сердце,
без лукавства

сегодня с тем согласен я,
что осень — горькое лекарство.

Со дна глубин,
где я сейчас,
дано постичь безбрежье мира, —
цветами яркими светясь,
дубравы проплывают мимо.

Истаивает день-деньской,
повсюду иней серебрится,
и все прощаются со мной
гусей печальные станицы...

* * *

Что делать? —
Жребий вновь метнуть нельзя.
От звезд набрякло поднебесье.
И гравием хрустит стезя
в туман грядущего безвестья.

Вдали в одно сольются кроны:
туман в лесу?.. сугробов стадо?..
Пусть даже дьявол строит ковы,
преодолеть преграды надо!

В душе достаточно огня,
чтоб озарить бугры дороги,
чтоб каплей солнечного дня
сверкнули гóрода отроги.

Прочь колебанья!
Больше воли:
от звезд набрякло поднебесье, —
идущие в горах и в поле
поют о верном братстве песни!..

Перевел с литовского
Сергей БОБКОВ

Аудра СТАСЮКОНИТЕ

* * *

Играют блики на воде.
Сосны многовековый корень
весь обратился в слух — соревнованье
у косарей проходит на заре.
Взлетающий журавль курлычет.
Мне бытие по каплям полнит душу,
точно ручьи подземные колодец.
Все вертятся девчонки у зеркал,
все вертятся, покуда не состарятся
и удивятся: сеткой проступают
на лбу, сквозь кожу шалости, грехи.
«Не велики и не малы, так — человечьи!..»
И флюгера вращаются, вращаются,
а мать — в тревоге,
куда ж запропастилась попрыгунья,
девчушка, пахнущая луговой травой,
куда пропал возлюбленный, кому
она всецело предана была,
как малому ребенку.
Прилипло яблоко к макушке яблоньки,
а меж ветвями — жизней шелестенье.
Присела мать моя на лавочку у дома,
такая бледная и беспокойная,
как будто впереди далекий путь.

* * *

Ты в том повинен, черный человек,
Что взрезал грудь кормящей матери осколок,
И окропила кровь младенцу губы.
Когда любимый гладит ее волосы,
Средь черных локонов горит живая рана.

Встают воскресшие из мертвых на закате
И с кладбищ кулаками тычут в небо:
«Нам душно под землей,
Мы прорастем шипами

Сквозь почву,
и от нашего возмездья
Расколется планета!»
Увы, из-за тебя, о человек,
Пронзает боль нутро земного шара. Плачут
Дожди.
И полночь стонет в сновиденье
Кошмарном. Да, из-за тебя!

* * *

Я быть хочу доступной взору,
как пустыня.
Где даже ветер скрыться не посмеет.
Все же, бывает, утомленье тяжелит
его звучание,
но чаще ощущаешь только взлет.
Я быть хочу горячей,
как пустыня.
И звездопады
в мысли превратить.

Я быть хочу безмолвием пустыни.
В барханах зыбких тишиной дышать.
И пронести змеящейся дорогой
таинственность — песчаною волной.

Затворницей хочу я быть,
как и пустыня.
В ее пучине, верю, скрыт дворец.
Она как лоно вспененного моря —
и ты на берегу его, пловец...

Перевел с литовского
Сергей БОБКОВ

Зита **МАЖЯЙКАЙТЕ**

ПАМЯТЬ

Отрезок, разделяющий наши годы, для меня —
воздушный яркий бант в волосах,

для тебя — свист пули в ушах,
для меня — веер былинки и сугробы на рисунке,
для тебя — наглухо закрытые ставни и страх.
Для меня — увядающий в жарких ладонях букет
из разнотравья,
для тебя — голод, нахальный, словно карманник, —
для меня — клеверный мед по пальцам, —
для тебя — смрад пепелищ и ржавеющих гильз, —
для меня — пропахшее земляникой платье, —
отрезок,
разделяющий наши годы;
немое кино
для проезжих...

КАК ЗДОРОВО!..

Как здорово, что один и тот же дождь-моросей
для моих и твоих глаз.
Как здорово, что одна и та же темень делает
тебя и меня невидимками.
Как здорово, что на одном и том же языке просим
любить друг друга.
Как здорово, что хлеб одной и той же родины
нас насыщает.
Как здорово, что родник одной и той же родины
утоляет нашу жажду.
Как здорово, что, взмывая в одно и то же небо,
перво-наперво радуемся солнцу!
...Как здорово, что рядком в одной и той же земле
прорастем травой.

Перевел с литовского
Василий ПАХОМОВ

Римантас ВАНАГАС

КОЧЕВАЯ ДУША

Душе моей смертной,
кочующей, жадной, —

над бездной полночной светить,
и верится мне,
что увижу однажды
все пройденные пути.

И море, как город,
и город, как море,
не знавшее лести и лжи, —
вставали до неба,
горели от боли,
и я в этом пламени жил.

Густых виноградников
легкие стаи
и хлопок —
чистейшего снега двойник,
вы стали моими привычными снами,
мелодией песен моих.

Песок
и сырая земля родная —
светлы просторы небытия.
И будет кружиться,
весь мир
обнимая,
душа кочевая моя.

Перевел с литовского
Георгий ЕФРЕМОВ

Альма КАРОСАЙТЕ

* * *

Когда при молниях,
Под гром
Весь дом наш ходит ходуном,
Свои мы судьбы познаем —
Как счастье — странное.

Кто сочинил
Такой расклад,
Чтоб рядом с радостью — разлад,
Зачем день белят, ночь — темнят? —
Всегда за веком век.

Пока я не смогла
Понять,
Не потому ли у меня,
Не потому ль и у тебя —
Нет-нет да пропадает пульс...

Перевел с литовского
Сергей БОБКОВ

ДЕТСТВО

Мне светят зарницы
Ночами,
Когда все не спится,
А буря вдруг будит поля,
И леса, и сады.
И гонит телегу
К далекой деревне
Возница —
То детство мое
Среди белых лошадок мечты...
И слышится пенье.
Но это
Не спутники наши,
Не мать,
Не возница,
А детство запело само.
Оно,
Отдаляясь,
Становится
Краше и краше,
Болезни уже на него
Не наложат клеймо...

Авторизованный перевод с литовского
Михаила ДВИНСКОГО

Раиса МАХЛАЙЧУК

* * *

Мир зарастает зеленью,
Краски бледнеют со временем,
Форты стали музеями,
Стены заговорили,
Сколько имен и фамилий!
Нет, никого не забыли.
Боль, как огромный камень,
Плотно легла на память.

* * *

Каким угодно может море быть —
Играть волнами, к берегу ласкаться,
Глядеться в небо, в глубину манить,
Смеяться над собой. Топить эскадры...
И за жестокость вновь себя корить...
Волнолюбивым, дерзким
К тучам рваться.
И собственную силу ощутить.
Каким угодно может море быть.
...Совсем как женщина.





Анатолий МАРЧЕНКО

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Роман

1

Когда Денису сообщили из АПН, что с ним хочет встретиться журналист из ФРГ Петер Пферд, он расстроился. От двух до трех дня ему должна была позвонить по междугородному телефону Фая, разговор предстоял на редкость важный, а западногерманского журналиста устраивали именно эти часы, так как в пять он вместе с группой туристов намеревался совершить поездку на двадцать третий километр Ленинградского шоссе, где в 1941 году были остановлены гитлеровцы, наступавшие на Москву, и где позднее был сооружен мемориальный памятник — бетонные противотанковые ежи.

Денис позвонил в отдел международной жизни и попросил срочно принести ему справочные материалы о

журнале, в котором работал Пферд. Не прошло и пяти минут, как в кабинет чуть валкой походкой вошел заведующий отделом Кораблев с объемистой папкой в руке. До работы в редакции Кораблев служил на пограничном корабле, начинал еще на «старой черепахе», доставшейся в наследство от царского флота и носившей малоэстетическое название «Хорек». Но зато он сошел на берег уже по трапу красавца «Изумруда», чтобы навсегда распрощаться с морем, но отнюдь не с морскими привычками, которые прилипли к нему, как ракушки к днищу судна, изрядно поборяздившего моря. Отделы редакции он называл отсеками, передовую в журнале — флагом корабля, а стремление кое-кого уйти от ответственности или же стараться не напоминать о себе в сложной ситуации определял термином подводников — «лечь на грунт».

— Пферд работает у Акселя Шпрингера, флагман, — озабоченно сказал Кораблев и положил на стол подготовленную информацию.

— Надо встретить гостя, — задумчиво сказал Денис.

— Задачу понял, флагман, — заверил Кораблев. — Положитесь на меня всецело.

И все-таки первой встретила гостя Агата. Распахнув дверь, она почти торжественно возвестила:

— Господин Петер Пферд!

Следом протиснулся в кабинет и Кораблев. Денис Солнышкин встал из-за стола и устремился навстречу гостю. Перед ним стоял среднего роста, кряжистый человек, чернобородый, с такими же черными, с серебринкой, усами. Модный пиджак сидел на нем как влитой, подчеркивая мощь фигуры. На первый взгляд он казался еще нестарым, но при более внимательном изучении бросались в глаза землистого цвета щеки и резкие, глубокие морщины у глаз и на крепком, будто из скальной породы, лбу. Переводчика с ним не было.

Денис Терентьевич протянул гостю руку и, улыбаясь, представился. Кораблев старательно, как мог, переводил, но Солнышкин заметил, что он прибавляет кое-что от себя. Вроде того, что товарищ Солнышкин не только журналист, но и писатель, участник Великой Отечественной войны. Солнышкин бросил взгляд на Кораблева, и тот оборвал себя на полуслове.

— Прошу вас, — радушным жестом пригласил Денис. — Мы рады вашему визиту, — отдавая дань традиционной вежливости, продолжал он. — Позвольте выра-

зить надежду, что наша беседа будет деловой, конструктивной и обоюдно полезной.

Гость, выслушав перевод этой фразы, тоже улыбаясь, утвердительно кивнул и осмотрелся вокруг.

В кабинете у Дениса стоял аквариум. К удивлению Солнышкина, гость проявил к аквариуму живой интерес. Он молча наблюдал за рыбками и вдруг рассмеялся. Солнышкин в недоумении посмотрел на него.

— Вспомнилось, — сказал Пферд. — На вилле у одного немецкого богача был шикарный аквариум. Огромный, с весьма экзотическими рыбками. Богач фанатично любил их разводить, мог часами наблюдать за ними, хвастался перед своими гостями. И вот однажды он жестоко наказал своего камердинера за какую-то незначительную оплошность. И тот, представьте себе, выловил в озере щуку, причем довольно внушительных размеров, и ночью выпустил ее в аквариум. Утром хозяин, как обычно, устремился к аквариуму полюбоваться своими рыбками. Но вместо рыбок увидел щуку, весьма схожую с крокодилом. Представьте себе гнев и ужас этого человека.

— Представляю, — засмеялся Денис. — Я так и вижу перед собой эту разбойницу щуку. Это была катастрофа!

Пферд устроился в кресле и неожиданно, будто до этого не было никакой веселой, необязательной болтовни, горячо, нервно, как бы продолжая уже давно начатый спор, заговорил:

— Коллега, вы можете быть со мной вполне искренни? Мне хотелось бы надеяться! Скажите, вы не испытываете разочарование оттого, что ваша страна, столь долго пребывавшая, будто в осажденной крепости, за «железным занавесом», приоткрыла, да, да, не противоречьте мне, приоткрыла ныне окно, выходящее на Запад? Итак, сожалеете вы или не сожалеете о том, что в это приоткрытое окно ворвались в ваш дом совсем иные, чужие ветры? — И, не давая Солнышкину ответить, Пферд продолжал говорить, как бы отвечая на свой же вопрос: — Разумеется, не можете не сожалеть. Как все было прекрасно! Как хорошо и спокойно! Никаких сквозняков! Никаких вирусов! Абсолютно не замутненные мозги и четкий, как и присуще энтузиастам, — без кризисных эмоций стук сердца. А что теперь?

— Продолжайте, — заинтересованно подбодрил его Де-

нис. — Мне кажется, вы еще не исчерпали всех своих вопросов.

— Выигрыш во времени? — снисходительно усмехнулся Пферд. — Тактика, которую есть смысл предпочитать немедленной реакции. Я отдаю вам должное. А вопросов у меня не перечесть. Простите, но накопились за долгие годы раздумий. Если не освобожусь от них — взорвусь. Нет, нет, не можете не сожалеть! — вскричал он, будто Солнышкин уже вступил с ним в спор и нужно было немедленно опровергнуть его аргумент. — Ведь даже в приоткрытое окно сильно дует, и, следовательно, можно простудиться...

— Вы очень за нас волнуетесь? — пытаясь выразить изумление, спросил Денис.

— Вы еще очень молоды, коллега, — с печалью в голосе произнес Пферд.

— Если сравнивать с вами — пожалуй.

— И только молодостью можно объяснить ваш чрезмерный оптимизм. — Пферд отпил глоток уже остывающего кофе. — Между тем в вашу крепость проникло нечто, и это нечто пострашнее троянского коня.

— И что скрывается за этим таинственным нечто? — все еще не порывая с намеренной наивностью, полюбопытствовал Денис.

— Скептицизм! — почти грозно произнес Пферд.

— Скептицизм? Страшнее зверя нет?

— Напрасно шутите, коллега, — осуждающе изрек Пферд. — Всмотритесь в своих молодых людей. Вслушайтесь в их слова. Вникните в их мысли. Где былая непримиримость их предшественников, которые при одном слове «контра» выхватывали маузер? Вспомните себя. Свое детство. Свою юность. Неужели вы были такими же? Нет! Тысячу раз нет!

— Мир — это не окаменелость. — Денис едва успел вставить фразу в бурный поток слов гостя.

— Вчера я объездил многие станции Московского метрополитена, — казалось, не придавая ровно никакого значения реплике Солнышкина, продолжал Пферд, — и восхищался не столько их уникальной архитектурой, сколько читающей публикой. По меньшей мере каждый третий держит в руке книгу. Такого я не видел ни в одной стране Запада. Но что читают те, кто идет вам на смену? Преимущественно книги иностранных, я подчеркиваю, иностранных авторов. Что в этом? Стремление к по-

знанию? Желание раздвинуть горизонты жизни? А если это лишь жажда открыть для себя иной, сотни раз проклятый вами мир и разглядеть в нем хоть частицу привлекательного? А это уже мина, пусть замедленного действия, в некогда монолитном сознании. Опасность раздвоения миросозерцания. А паломничество на иностранные фильмы? А погоня, прямо-таки патологическая погоня за модой, идущей к вам с Запада? А фанатичное увлечение нашей музыкой? Я очень прошу вас пока не отвечать. Я уже слышу ваши опровержения. Я знаю наперед, что вы на это скажете. Мол, поколение юных сохраняет верность идеалам, а это главное, это фундамент, это стержень, а то, что вы, господин Пферд, так назойливо тычете мне в глаза, — наносное, внешнее и безобидное.

— Вы читали о пограничниках, отбивших нападение китайских провокаторов на Уссури? — будучи не в силах более сдерживать свое нетерпение, спросил Денис, и Кораблев впервые за все время одобрительно закивал головой и победоносно воззрился на Пферда, забыв о том, что переводчик всегда стремится, по крайней мере, быть невозмутимым. — Можете ли вы среди тех парней, которые защищали нашу границу, назвать такого, который бы струсил, оказался перебежчиком?

— Не назову, — подтвердил Пферд. — Да, я читал. Читал и о пограничниках, и о строителях сибирских гидростанций, и о подвигах космонавтов. Читал! Но читал и книги кое-кого из ваших писателей, в которых знаете что поразило меня?

— Что же?

— Кое-кто у вас пишет с явным желанием понравиться не у себя в Рязани или Костроме, а у нас, в Бонне или Риме. Это же факт. Я знаю фильм, который у вас еще ни одного дня не шел на экранах, а мы уже надели вашему режиссеру лавровый венок. Но больше всего меня удивляет то, что вы умалчиваете обо всем этом. Создается видимость полнейшего благополучия, а кулуары кипят. Так что же — спокойствие любой ценой? — Пферд сделал паузу, выжидая, заговорит или промолчит Солнышкин, но, не вытерпев, воскликнул: — Только не думайте, что я ваш доброжелатель! Нет, я целиком — со своей головой, сердцем, даже потрохами — там, на Западе. Мне поздно себя перекраивать. Жизнь идет к закату. Чему я, к слову сказать, безмерно рад. Вы спросите почему?

Если коротко — жизнь мучительна. Все, что происходит на земле, — комедия, и каждый понимает, что он не более чем мотылек, порхающий над костром. Костер тлеет — значит, мотыльку повезло. Но вот языки пламени взметнулись к небу — и от мотылька не остается даже воспоминаний. И слава богу, что черный ворон неусыпно кружит в небе. Вы когда-нибудь задумывались, зачем вы пришли в этот мир? Кому нужно то, что вы пишете? Зачем издаете журнал? И до вас и до меня человечество исписало миллиарды тонн бумаги, оставив на ней и свой смех, и свои слезы, и злобу, и добро, и гнев, раскаленный, как земная магма. И что переменилось? Люди продолжают убивать друг друга, изменять, завидовать, упражняться в коварстве, обогащаться, превращать подлость в норму своей жизни, да еще и хвастаться этим. Самые отъявленные злодеи, готовые в любую секунду нажать кнопку и взорвать мир, на досуге разводят розы и пускают слезу по собачонке, которой нечаянно отдавили лапу. Человека не изменить! Он останется таким, каким его создала природа, — жестоким, властолюбивым, ненасытным...

— Но есть те, кто, придя в Россию, сжигал дома, стрелял навскидку по ребенку, подброшенному вверх, с улыбкой фотографировался у виселиц своих жертв. И есть те, кто, придя в Берлин, кормил из походных кухонь детей, перевязывал раны пленных и укрывал шинелью озябшего старика. Неужто они одинаковы — люди и нелюди?

— Вы берете крайние полюсы, — нахмурил кустистые брови Пферд. — И крайние ситуации. В дни войн человечество как бы спрессовывается и раскалывается одновременно. На одном полюсе — зло, на другом — добро. Люди, попавшие в беду, добреют друг к другу. А сытость и мир разобщают и порождают низменные страсти. Отчуждение становится идолом. Эгоизм возводится в высшую добродетель. Разве вы станете отрицать, что и в вашем обществе, рассматриваемом вами как эталон будущего, есть люди, которых я бы назвал борцами за собственное благополучие? Им в высшей степени безразличны боли и муки человечества, включая и своего соседа по лестничной площадке. Я сомневаюсь, читают ли они по утрам газету.

Денис вслушивался в слова Пферда, которые слишком старательно, порой придавая им ироническую интонацию, переводил Кораблев, и пытался напряженно углубиться

в мысли своего собеседника. Они то удивляли его, то настораживали, то вызывали целый вихрь противоречивых чувств, то высекали на его непроницаемом лице холодную усмешку. Он напрягал все усилия, чтобы понять, какую цель ставит перед собой Пферд, втягивая его в лабиринты своих умозаключений, что скрывается за его фразами. Движет ли им доброжелательство или глухая злоба, сочувствие или затаенное злорадство? Впрочем, Пферд и сам уже объявил, что он отнюдь не доброжелатель. В таком случае, кто он и что побудило его прийти сюда?

Пока молчал Кораблев, а говорил Пферд, Денис с каким-то подспудно возникавшим волнением вслушивался в голос гостя, казалось, будто он, Денис, уже когда-то слышал этот голос и разговаривал с этим человеком.

— А интересная у нас беседа, — пытаясь свернуть разговор в другое русло и хотя бы слегка пригасить его накаленность, сказал Денис. — Вы затронули много проблем. В частности, вы даже правы, когда утверждаете, что в нашей семье есть перерожденцы, и вы абсолютно точно назвали их борцами за собственное благополучие. Но если у вас люди такого сорта становятся столпами общества, мы казним их судом общественной совести. Все-таки солнце светит нам, господин Пферд! — Он передохнул и, взглянув на Пферда, продолжал: — Вот вы говорите о нашем молодом поколении. Оно, мол, не чета старшим. Так чего же вы стонете, да еще с этаким демоническим надрывом: «Угроза, угроза!» Если наша армия сплошь состоит из юнцов, которые, как вы считаете, только того и ждут, чтобы перенять ваш образ жизни, так чего же вам бояться? Зачем паниковать, бить во все колокола и взывать о спасении?

— Довольно логично, — хмыкнул Пферд. — И все же задумайтесь над моими мыслями. Пришла пора великих раздумий. Не упустите время, коллега.

— Спасибо за добрый совет, — весело улыбнулся Денис. — Сдается, вы в плену не фактов — фактиков. И, едва подметив частный фактик, исторгаете радость. А мы не скулим заунывно. Ставим диагноз и лечим.

— Узнаю былую непримиримость, — оживился Пферд. — Вы слишком много усилий тратите на идеологические споры. Точнее, на идеологическую войну. Едва у нас кто-то чихнет или сморозит ересь, как вы незамедлительно разражаетесь гневными филиппиками. А на-

ших писак это радует и забавляет — видали, как мы их вывели из равновесия? К чему же вам расходовать на это громадную мозговую энергию и адское напряжение нервов?

— Выходит — вы будете стрелять, а мы в ответ расточать улыбки? А не лучше ли дать по зубам?

— По зубам? — вдруг расхохотался Пферд. — Это по-нашенски! — Он вдруг осекся, как бы одернув себя, и притих, опасливо взглянув на Солнышкина. Боясь, что тот придаст значение его нечаянному восклицанию, он не совсем уверенно спросил: — А что вы скажете о диссидентах?

— Надеюсь, господин Пферд, не рассчитывает сделать из нас защитников так называемых диссидентов? — уже спокойнее поинтересовался Денис. — Мне же они ненавистны уже тем, что родиной они делают любую точку вселенной, лишь бы им там было уютно. — Закончив фразу, Солнышкин посмотрел на Пферда.

Лицо гостя сделалось багрово-красным, и на нем промелькнуло и тут же погасло пугливое, тревожное выражение, как мерцающий отсвет какого-то далекого воспоминания. Пферд помолчал, потупив взор, потом принялся набивать табаком трубку. Раскурив ее от газовой зажигалки, он с усилием приподнял тяжелые, отечные веки.

— Ваши слова, коллега, я расценил как стремление поскорее свернуть нашу дискуссию. Что ж, этот прием тоже, бывает, срабатывает.

— Обиделись? — мягко улыбнулся Солнышкин. — Неужто вам было бы приятнее, если бы я в угоду вам кривил душой?

— К этому мне не привыкать, — вздохнул Пферд. — Когда я беседую с советскими людьми, я говорю о настоящих людях, то мне кажется, что за их спинами стоит весь ваш народ. И не только слушает, но и говорит. Он помолчал и вдруг, будто стряхнув с себя какую-то непомерную для него тяжесть, сказал:

— Можно один оригинальный вопрос? Сейчас это модно. Главное — ошеломить. Скажите, вы никогда не пытались стать актером?

— Вопрос и впрямь на редкость оригинален, — поморщился Денис. — Представьте, такой мечты у меня не было. А впрочем, — поспешно добавил он, заметив иронически-холодное выражение сверлящих глаз Пферда, — я не совсем точен. Знаете, в детстве, в тридцатые годы, я

жил вблизи станицы Михайловской в Краснодарском крае. И однажды в станицу приезжала киноэкспедиция. Вокруг нас в степи было множество курганов. Студия снимала фильм из времен гражданской войны, нужен был мальчик, плачущий над убитым отцом. Режиссер влюбился в мою мать и умолял ее отдать меня на съемки здесь, в степи, а потом в Ростове, но мать не согласилась. Так во мне погиб, не успев родиться, актер.

Говоря это, Солнышкин смотрел куда-то мимо Пферда, лишь изредка взглядывал на него и поэтому не мог заметить, как во время рассказа преображалось его лицо. Вначале оно было все тем же иронически-холодным, потом бесстрастным, тут же в глазах вспыхнуло напряженное беспокойство и любопытство.

— Очень трогательная история, — вдруг проникновенно сказал Пферд на чистом русском языке, почти без акцента. — Господин Солнышкин, очень к месту вспомнили о станице Михайловской!

— Оказывается, вы прекрасно говорите по-русски! — не скрывая удивления, воскликнул Денис, поражаясь тому, что сейчас, когда Пферд заговорил на русском, голос его показался еще более знакомым.

— Да, я говорю по-русски, — просиял Пферд, довольный произведенным эффектом. — Еще один вопрос, господин Солнышкин. Вы прекрасно сохранили в своей памяти волнующие события вашего детства. Не припомните ли вы станцию Курганную, январский мороз, сани, в которых вы, укрытый меховой полстью, ехали со своими родителями в станицу Михайловскую, и того человека, который...

— Вы Степунин? — глухо спросил Солнышкин, бледнея.

— Значит, я настолько непохож на того Степунина, которого вы знали, что не верите даже моему признанию?

— Вот уж чего не ожидал, — растерянно сказал Денис. — Сколько лет прошло... А вы бы сразу и сказали. Что же вы так?

— Журналистская болезнь: фанатично люблю сенсации. А вы нет?

Солнышкин промолчал.

— Вот теперь у меня будет к вам, Солнышкин, действительно последний вопрос.

— Если смогу, то, безусловно, отвечу, — насторожился Денис.

— Где мой сын? Где Платон?

Солнышкин собирался ответить и, собственно, был готов к этому, потому что уже в ту минуту, когда Пферд объявил себя Степуниным, в голове у него тут же мелькнула мысль о Платоне, но помешал резкий, прерывистый телефонный звонок.

— Междугородная, — сказал Кораблев.

Солнышкин взял трубку.

— Здравствуй, — сдержанно ответил Денис, не называя Фаину по имени, и она тотчас же уловила его настроение.

— Я не вовремя или ты разлюбил меня? — спросила она.

— Просто у меня маленькая пресс-конференция, принимаю зарубежного гостя, — ответил Денис.

— Я так боюсь потерять тебя...

Фая умолкла, и Солнышкин в эту секунду отчетливо увидел, будто Фая стояла напротив, ее сияющее печалью лицо и готов был сейчас, немедленно, забыв обо всем на свете, мчаться в аэропорт, лететь туда, на неведомую Чукотку, где стрелки часов уже показывали полночь.

— Я в пятницу буду в Москве, — сказала Фая.

И Солнышкин подумал о том, что, следовательно, в субботу и воскресенье он обязательно должен быть с Фаей.

— Как у тебя дела, что нового? — спросил он.

— Все по-прежнему. Артем принял заставу на Чукотке. Прислал первое письмо за полгода. Платону полегчало, он все пишет воспоминания, не знаю, что из этого выйдет.

— Платон? — переспросил Денис и взглянул на Пферда. — Я буду тебя встречать в аэропорту. Тогда все расскажешь...

— Простите, — извинился Денис, вешая трубку и стремясь скрыть волнение. — Я готов продолжать беседу. Петр Пантелеевич, да будет позволено мне вас так называть.

— Позволено... — горько усмехнулся Степунин.

— Флагман, вы разрешите мне бросить якорь в своем отсеке? — уловив сложность и тонкость создавшейся ситуации, попросил Кораблев. — Дел по горло, да и господин Пферд не нуждается в переводчике.

Кораблев распрощался с Пфердом и, уходя, плотнее прикрыл за собой дверь.

— Вы произнесли одно имя, — с тревогой в голосе сказал Пферд. Теперь он буквально впился немигающими черными глазами в лицо Солнышкина. — Если я не ослышался, вы произнесли имя Платон.

— Да, это Платон, ваш сын, — твердо произнес Денис. — На фронте мы были с ним в одной батарее. Он старший сержант, я младший. Потом он попал в штрафной батальон. Вернулся с войны с двумя орденами Славы.

— Значит, третьего не заслужил, — медленно, даже тягуче произнес Степунин.

— Просто не успел, — поправил его Денис. — Война закончилась.

— Я слышал и читал о штрафных батальонах, — сказал Степунин. — Он что, проявил трусость?

— Нет. Он был храбрым человеком.

— И он действительно совершил такое, что подпадало под суд военного трибунала? — все настырнее продолжал расспрашивать Степунин. — Или его могли оклеветать?

— Это исключено, — твердо ответил Денис, закуривая сигарету. — Просто суровые законы войны.

— Простите меня за назойливость, — поняв, что Солнышкину не хочется углубляться в существо дела, прервал его Степунин. — Но это же сын...

— Может, вы хотели бы встретиться с ним? Это, пожалуй, возможно. Вызвать его телеграммой...

— Я отдал бы все за эту встречу — свои сбережения, дачу близ Мюнхена, машину, абсолютно все, — растроганно произнес Степунин. — Он у меня единственный. Я не должен его компрометировать. Сожалею, что не сдержал себя. Вопрос о Платоне вырвался из души. Это должно было оставаться там, в груди, за семью печатями, до самой моей смерти. Полагаюсь лишь на вашу честность. Ведь вы не используете мое невольное признание во вред Платону?

— Разумеется, — сказал Денис.

— Там, в Михайловской, Платон отрекся от меня. Но он сделал это по моему желанию. А если бы он сделал это сейчас, вопреки и во вред мне, я бы ни единым словом не осудил его. Увы, ничего нельзя повернуть вспять. Вот и хотел бы повернуть, а не поворачивается!

Поздно, а жизнь у человека одна. И приходит время исповедей. Живу вроде в достатке, а земля под ногами — чужая. Друзей нет, любить — никого не люблю. Вам этого никогда не понять... Жизнь прожил, а что нашел? Что найдено? Впрочем, к чему говорить о личном? Дело не во мне. Такие, как я, — дети своей трагедии. Да, тогда была война. Вы моложе меня, но, возможно, мудрее. А я уже стар и одинок на этой земле. В душе светлячком светит один Платон, да и тот как на другой планете.

— Как все это произошло? — не выдержав, полюбопытствовал Денис.

— На склоне лет я стал к себе беспощаден, — с чувством печали и отрешенности сказал Степунин. — Как я очутился у немцев, я понял ваш вопрос? Признаюсь честно: надеялся на их «новый порядок», думал, что возвернутся былые времена. Но вскоре увидел, что они хотят на нас, русских людей, надеть ярмо, как на быков, да еще с таким налыгачем, что враз шею до крови. Одумался — поздно было. Была и другая причина: надоело испытывать свою судьбу. После гражданской меня считали красным комэском, а ведь я служил у Краснова, хоть и сбежал от него. Служил у немцев переводчиком. Жена моя, видать, вы уже не помните ее, под бомбежкой погибла, когда мы с Кубани драпали, с тех пор я одинок. Помоложе был — любовницы спасали, бордели, теперь ни к чему. Глубоко верующим стал, хотя и Маркса осилил, и Энгельса, и Ленина читал. Титаны мысли, согласен. Однако на будущее ставку делают. А людишки — им все подавай сегодня, тотчас. Вот сколько лет вы о коммунизме говорите, а кто скажет, в каком году построите?

— Точное время назначают только для свиданий, — ответил сдержанно Денис. — А в то, что обязательно построим, мы верим. Да если бы нам не мешали, уже бы построили.

— Мы снова начинаем дискуссию, — разгладил колючие усы Пферд. — Я искренне благодарен вам за откровенный разговор. Такое бывает нечасто. Вы мыслите реально. Это убеждает лучше, чем фейерверк прописных истин. Вы знаете и свою силу и свою слабость. Не люблю спорить в лоб. А сейчас о личном. Опять о личном. Через каких-то десять минут я покину вас, и, видимо, навсегда. Поверьте, я больше не буду напрашиваться на встречу. Поэтому и спешу узнать как можно больше о Платоне. Как он живет? Где? Здоров ли? Преуспевает

или бедствует? Не подвергается ли гонениям из-за своего непутевого отца? Есть ли у него дети?

— Живет на Чукотке. А слово «бедствует» давно вычеркнуто из нашего лексикона. Есть у него сын — Артем. Служит на погранзаставе.

— Мой внук... — растроганно вымолвил Степунин. — Да... Он был бы моим внуком, — тут же поправился он.

— Я полагаю, что беседа окончена, господин Пферд, — сказал Денис и холодно протянул руку на прощание, как бы подводя черту под этот затянувшийся разговор.

2

Денис, робея, будто за порогом его ждали выстрелы, шагнул в землянку. Там стоял полумрак, и он почувствовал запах сырости и хвои. Денис не сразу разглядел сидевших в землянке людей, а главное — вначале вовсе не заметил Платона. В слабевшем с каждым мгновением полумраке сперва обозначились контуры трофейной железной бочки из-под бензина с ребристыми ободьями, приспособленной, как это делалось повсеместно, под печку, затем стол и скамья из горбылей, гильза от артиллерийского снаряда, кучка березовых поленьев.

Денис увидел капитана, сидевшего на скамье, и только потом Платона, примостившегося в углу на каком-то сучковатом обрубке. Денис сразу же приметил в его глазах всплеск надежды, жажду освободиться от того неизбежного и неумолимого, что могло его ожидать здесь, в этой землянке, и потом, перед строем своей батареи.

Молчаливая мольба Платона была столь всесильна, что Денис сразу же ощутил ледяной холод, подступивший к самому сердцу, и ему передалась такая же возбужденность, которая владела сейчас Платоном.

Денис знал, что он увидит Платона, причем именно в этой землянке, но до того мгновения, когда встретились их глаза, он даже не мог предположить, насколько мучительной будет их встреча и какой жесткий, несмываемый отпечаток оставит она на всю их будущую жизнь.

Незадолго до рассвета, очнувшись от нахлынувшей на него дремоты, уставший и оглохший от ночной стрельбы, Денис пытался разыскать Платона, но безуспешно. Он будто со света сгинул. Денис с волнением в душе предположил, что с ним произошло нечето трагическое: может, ранен, а может, и убит во время ночной перестрелки.

Никто не мог ему ответить на вопрос, куда запропастился Платон, и только Бурлесков, отводя глаза в сторону, сказал, что ночью за ним приходили двое — капитан и сержант — и увезли его с собой, куда — неизвестно, и увезли, видно, неспроста. Кроме того, понизив голос до шепота, добавил Бурлесков, капитан строго-настрого предупредил, чтобы он держал язык за зубами.

Теперь в землянке, увидев обреченное, за ночь постаревшее лицо Платона, Денис всеми своими нервами ощутил серьезность происходящего.

Капитан, пристально, изучающе взглянув на Дениса, жестом руки показал, где ему сесть. Полноватое лицо капитана не было суровым и отчужденным, но безмерно усталым и озабоченным, будто и он отвечал за то, что произошло на батарее старшего лейтенанта Возвышаева.

— Младший сержант Солнышкин, — наконец негромко произнес капитан, но Денису почудилось, будто прогремел выстрел, — я вызвал вас, чтобы допросить по делу старшего сержанта Степунина Платона Петровича, который обвиняется в том, что, получив приказ вести огонь прямой наводкой по немецкому танку, врытому в землю и превращенному в дот, покинул огневую позицию своего орудия, чтобы встретиться с санинструктором артдивизиона Фаиной Березовской. В результате чего огнем немецкого танка орудие старшего сержанта Степунина было выведено из строя, двое бойцов расчета убиты, наводчик Малышкин тяжело ранен...

Денис слушал, напрягая внимание, чтобы не пропустить ни единого слова, и ему казалось, что капитан не читает все это, держа листок едва ли не вплотную к близоруким глазам, а произносит с суровой и мрачной торжественностью фразы, заученные наизусть.

— Степунин Платон Петрович оправдывает свои преступные действия тем, что якобы он покинул огневую позицию задолго до открытия огня, будучи глубоко убежден в том, что орудие полностью готово к бою, и рассчитывая вернуться на позицию к открытию огня. Тем более что он был якобы в двухстах метрах от орудия. Однако по не зависящим от него обстоятельствам в момент встречи с санинструктором Березовской Фаиной произошел случайный выстрел из пистолета ТТ, что демаскировало огневую позицию и вызвало огонь по ней из немецкого танка. Степунин Платон Петрович утверждает, что случайный выстрел произведен им лично при внезапном

падении в лесу, где он наткнулся на корягу, скрытую снегом. — Капитан устало снял очки в жестяной оправе и облегченно вздохнул: — Вам, младший сержант Солнышкин, ясно, в чем обвиняется Степунин Платон Петрович?

— Ясно, — поспешно сказал Денис, все еще не поняв глубинной сущности того, что произошло той памятной ночью, и высветлив в своем сознании из всей длинной фразы капитана лишь имя Фаины без всякой связи с тем, о чем шла речь.

— Эта часть обвинения, — протирая стекла очков, сказал капитан, — подтверждена свидетелями. Так как вы, младший сержант Солнышкин, в ту ночь выполняли другую задачу, поставленную старшим на батарее, то следствие сейчас не будет касаться этой стороны дела. Я попрошу вас ответить на другие вопросы. Верно ли, что Степунин Платон Петрович в своих разговорах с подчиненными или же с другими бойцами батареи утверждал, что в тот период, когда наши войска занимали у линии государственной границы активную оборону, якобы происходила настоящая паника, смятение и бойцы подвергали сомнению действия Верховного командования? Правда ли, что Степунин заявлял, будто немецкие танки, самолеты, как и вообще вся немецкая техника, лучше нашей?

Денис вслушивался в вопросы капитана и с горьким чувством безнадежности сознавал, что сейчас, именно в эти минуты, решится и судьба Платона, и судьба его, Дениса, совести. Все, что содержалось в вопросах капитана, действительно имело место и в тех многочисленных рассказах об отступлении наших войск, которые столь живописно и зримо, с трагическими и комическими деталями часто рисовал Платон. Разница была лишь в том, что капитан как бы передал его мысли в обнаженном виде, вне связи с другими его мыслями, а Платон, рассказывая о том, чему сам был свидетель, неизменно выражал то чувство, которое владело всеми, даже в самые горькие дни отступления: все равно наша возьмет.

— Я знаю Платона Степунина как человека, который верит в нашу победу, — начал было Денис, но капитан прервал его.

— Следствию нужны не абстрактные тезисы, а конкретные ответы на вопросы, которые я вам задал, а посему, младший сержант Солнышкин, потрудитесь отвечать.

Платон, напружинившись, вобрав голову в плечи, нацелился в Дениса. В этом пристальном взгляде таилось все, что можно было выразить, не прибегая к словам: и благодарность за то, что Денис своим ответом на первый вопрос уже как бы смягчил удар, и ожидание новых доводов в свою защиту, и ясное понимание того, что Денис не из тех людей, кто может произнести ложь во спасение.

Никогда еще в своей жизни Денис не попадал в столь сложную обстановку, которая требовала от него сделать единственный выбор. И этот выбор зависел не от напряжения мысли или от физических усилий его мышц, и даже не от голоса сердца, а лишь от голоса его совести. Предстояло подтвердить, что Платон действительно говорил те слова, которые произнес капитан, и тем самым усугубить его вину, или же отрицать выдвинутое против него обвинение, и тем самым если не избавить Платона от грозящего ему приговора, то хотя бы облегчить его участь.

Первый раз в жизни Денису приходилось делать такой выбор. Он был словно в тисках, которые сжимали его все теснее и неумолимее, чем дольше он медлил с ответом. Платон был другом его детства, и хотя не из тех друзей, без которых тускнеет жизнь и к которым человек тянется духовно, но все же их связывало нечто более значительное и прочное, чем простое знакомство и учеба в одном классе. Но все же Денис не мог отрицать то, что говорил Платон, и не только потому, что другие свидетели, видимо, уже подтвердили или же подтвердят эти факты. Просто он перестал бы считать себя человеком, если бы допустил лицемерие и ложь. Даже если бы ему пришлось защищать самого себя.

Молчание Дениса затягивалось, и по нетерпеливым жестам капитана, то надевавшего очки в жестяной оправе и становившегося похожим на деревенского учителя, присевшего перед немудрящим светильником проверить ученические тетради, то снимавшего очки, чтобы протереть стекла платком, и тогда становившегося просто безмерно уставшим человеком, — по всему этому Денис понял, что терпение капитана не беспредельно.

— Старший сержант Степунин говорил, что у немецких танков, возможно, лучше броня, чем у наших, — холодея от произносимых слов и чувствуя, как деревенеет язык, медленно выдавил из себя Денис. — Говорил всего один раз, и то, как я понял, не утвердительно, а размышлял...

— Так, — удовлетворенно сказал капитан, как бы по-

ощряя Дениса к дальнейшим откровениям и давая ему некоторую передышку.

Но Дениса уже будто намертво сковало льдом. Он сидел, сгорбившись, чувствуя себя каким-то мерзким существом, подписавшим страшный приговор своему другу.

— Понимаю, — мягко и даже участливо посмотрел на него капитан близорукими, красными и припухшими от бессонницы глазами. — Я все понимаю, младший сержант Солнышкин. Вам не хочется подводить своего друга, такого же фронтовика. Но вспомните: «Платон мне друг, но истина дороже». Видите, даже имя совпадает. Я вас очень хорошо понимаю, Солнышкин. Вы ведь как рассуждаете? По народной пословице: «Над другим посмеешься, над собой поплачешь». Только не в смехе здесь дело, — возвысил хрипловатый голос капитан, — в истине! А истина эта — интересы государства. И куда было бы проще извлечь эту истину, если бы сам Степунин честно признался во всем. А он вопреки показаниям свидетелей вертится как бес перед заутреней. Ему давалась возможность спасти самого себя честным раскаянием. К сожалению, он избрал другой путь, и это усиливает подозрение в том, что он плел все эти пораженческие побасенки вовсе не без умысла.

Денис слушал, что говорил капитан, и удивлялся не столько стройной логике его умозаключений, сколько тому, что он перешел от сухого, протокольного языка к живой речи, став сейчас перед ними не следователем, а обыкновенным собеседником, стремящимся доказать и объяснить им свою правоту. В то же время Денис был удручен молчанием Платона, смотревшего сейчас на капитана с дерзкой усмешкой.

— Итак, я вынужден вновь повторить, — уже тверже сказал капитан, заметно смущенный взглядом Платона. — Давал ли Степунин такую же оценку и немецким самолетам, а также характеризовал ли он первые бои на государственной границе как беспорядочное отступление и панику?

— Да, — только и смог произнести Денис.

Платон вскочил со своего места, ошалело взмахнул тяжелыми руками, раскрывая на себе ворот гимнастерки, будто его давило удушье. Глаза полыхнули злыми, прожигающими насквозь огоньками.

— Он клевещет! — со всей силой ненависти, на которую был способен, почти крикнул Платон. — Да, ты

лжешь, Солнышкин! Ты никогда не был моим другом! Твое лицо, глаза, улыбка — в них одна подлость, только подлость! Ты был трусом и всю жизнь будешь трусом! — Он передохнул, словно исчерпал запас накопившихся в нем гневных, уничтожающих слов, и продолжил уже спокойнее, хотя голос его дрожал: — Прошу внести в протокол допроса, что младший сержант Солнышкин клевещет на меня неспроста. Он мстит мне, да, я абсолютно убежден в том, что он мстит! — Платон повернулся в сторону Дениса, и тому показалось, что он грозно и неотвратимо надвигается на него. — Да, ты мстишь мне, Солнышкин, мстишь за Фаю! Фая Березовская — все дело в ней! Ты хочешь убрать меня с дороги! Радуйся, ликуй — ты достиг своей цели!

— Все ваши эмоции, Степунин, не по существу, — отчужденно и нервно остановил его капитан. — Тем более что младший сержант Солнышкин не единственный свидетель...

— Единственный! — с тем же неостывшим гневом возразил ему Платон. — Для меня — единственный! Человек, в которого я верил, как в себя. Да, верил, Денис, хоть ты еще необстрелянный воробей, а я прошел сюда от самой границы, я иду сюда с июня сорок первого через бои, через кровь и смерть, через страдания и черную беду, и не тебе, — слышишь, ты! — не тебе обвинять меня!..

— О том, что вы были в окружении, — снова прервал его капитан, — нам хорошо известно. Это обстоятельство как раз все и усложняет. Тем более что мне лично доводилось иметь дело с людьми, которые, попав в окружение, сдавались в плен противнику, а затем, будучи завербованы, переправлялись тем же противником через линию фронта к нам. Сами понимаете, с какой целью. — Увидев протестующий, отчаянный жест Платона, капитан поспешил добавить: — Я говорю все это не в ваш адрес, а ради того, чтобы вы поняли, что все приведенные вами оправдания, в том числе и ваш выход из окружения, еще вовсе не служат в качестве неотразимого алиби. Кстати, коль зашла речь о Березовской Фаине, которая тоже проходит по вашему делу в качестве свидетельницы, то я хотел бы выяснить такой вопрос: кто же все-таки произвел этот случайный выстрел — вы или Березовская? Заранее предвижу ваш ответ, поэтому уточняю: данные экспертизы говорят, что выстрел был произведен не из

вашего пистолета, а из пистолета Березовской. Следовательно...

— Следовательно, стрелял все-таки я, — упрямо набычив шею, медленно чеканя каждое слово, произнес Платон. — Произошло это так. Березовская шла впереди меня, я в двух шагах от нее. Споткнувшись о пенек, скрытый под снегом, я упал и, падая, схватился за руку Березовской. А у нее был пистолет. Курок был взведен...

— Чем объяснить, что пистолет был не в кобуре, а в руке Березовской? — спросил капитан.

— Мы шли через лес, ночью и с целью предосторожности... Это само собой разумеется.

— В таком случае еще один вопрос, который я еще пока не задавал вам исключительно из соображений деликатности. С какой целью вы ушли с огневой позиции к Березовской?

— Позвольте мне не отвечать на этот вопрос.

Денису показалось, что в этот момент Платон с презрительной усмешкой взглянул на него.

— Я не хочу отвечать в присутствии младшего сержанта Солнышкина. Это касается интимных сторон моих взаимоотношений с Фаиной Березовской.

3

Ночью батарея старшего лейтенанта Возвышаева заняла огневую позицию на окраине деревни Чернь, а под утро сюда же нагрянул с наблюдательного пункта и сам комбат.

По натуре Возвышаев был неутомимым оптимистом. На его кругловатом, пышущем здоровьем лице вечно сияла солнечная улыбка, по любому поводу он мог искренне расхохотаться, и бойцы в самых опасных передрягах старались держаться к нему поближе. Казалось, в жизни этого человека были только одни радости, победы и никаких огорчений и неудач. И лишь когда на батарее кого-то из бойцов доставал осколок снаряда или снайперская пуля, он мрачнел и после боя старался никому не показываться на глаза.

Никто не знал никаких подробностей о жизни Возвышаева. В самых задушевных беседах он не рассказывал о себе, надежно прячась за рассказы о других... Лишь его ординарец знал, что каждую неделю Возвышаев пишет и отправляет по одному письму. На фронтовом треуголь-

нике конверта значился всегда один и тот же московский адрес и фамилия Орленко. Вместо имени и отчества стояли только инициалы, поэтому невозможно было понять, пишет Возвышаев женщине или мужчине.

В тот памятный декабрьский день Возвышаев не поехал на наблюдательный пункт и задержался на батарее. По этому безошибочному признаку батарейцы догадались, что либо весь день не придется вести огонь, либо у Возвышаева есть для них важные новости, либо произойдет что-то особенное. Обычно он пропадал на наблюдательном пункте, подавал на батарею команды для стрельбы, а если поступал приказ сменить огневую позицию, то, не показываясь на позиции, вместе со взводом управления устремлялся к месту, где предстояло выбрать и оборудовать новый наблюдательный пункт.

...Возвышаев нервно ходил между березами по тропке, вытоптанной в снегу вдоль батареи, не приближаясь к орудиям, которые неподвижно замерли в своих окопах. Время от времени он как-то возбужденно поглядывал на опушку леса, за которой виднелись крайние избы деревни и делал крутой поворот большак.

Из четырех гаубиц, составлявших батарею, на позиции сейчас стояло только три. Орудие Степунина с исковерканным противооткатным устройством, изрешеченными осколками снаряда колонками подъемного механизма осталось там, где его накрыл огнем немецкий танк.

День был ясный, солнечный и морозный. Даже издали слышалось, как под стройными, длинными молодыми ногами Возвышаева ядрено поскрипывает снег, как похрустывают новые ремни, обхватившие его полушубок, туго стянув по-мальчишески узкую талию.

Внезапно Возвышаев, будто столкнувшись с невидимым препятствием, остановился, вскинул бинокль к глазам. Он долго смотрел на окраину деревни, на черный, будто обугленный, сруб избы, притулившейся у самой опушки леса, и наконец увидел то, чего так нетерпеливо ждал. Прямо с большака, круто огибая крайнюю избу, вниз, к батарее, устремились сани, запряженные парой рыжих коней. В санях, кроме ездового, сидели еще двое военных. Сани, не доехав до позиции, свернули в островок придорожного березняка и остановились. Один военный вылез из саней, второй, с низко опущенной головой, будто застыл на своем месте.

Возвышаев, оторвав от глаз бинокль, все той же нерв-

ной, взвинченной походкой устремился навстречу вылезшему из саней человеку. Подойдя к нему почти вплотную, он откозырял.

— Капитан Глянцев, — представился военный.

— Мне звонили из штаба полка, — сказал Возвышаев. — Я в курсе дела. — И, повернувшись, пошел рядом с Глянцевым.

Это был тот самый капитан, который вел следствие по делу Платона Степунина. Он и сейчас мало походил на военного, был мешковат, шел вразвалочку и являл собой прямую противоположность подтянутому, с прирожденной строевой выправкой Возвышаеву.

— Вина Степунина не подлежит сомнению, — сразу переходя к делу и не дожидаясь вопросов Возвышаева, сказал Глянцев.

— Я хорошо знаю Степунина, — воспользовавшись паузой, которую сделал капитан, сказал Возвышаев. — Он не трус.

— Чтобы хорошо знать человека, нужно прожить с ним всю жизнь, — спокойно, будто рассуждая, сказал Глянцев. — Что касается вас, то вы знаете его всего три месяца. Как говорится, без году неделя.

— На фронте каждый день равен году, — пылко возразил Возвышаев. — Я видел Степунина в разных ситуациях. И всегда он выделялся своей храбростью.

— Не сомневаюсь, — все так же мирно, не принимая пылкости Возвышаева, согласился капитан. — Вы знаете его, очевидно, лишь с одной стороны. Есть люди, которые могут совершить смелый поступок только тогда, когда они уверены, что совершают его на глазах у других, и прежде всего на глазах своих командиров.

— Не вижу в этом ничего противоестественного. Если человек смел по натуре, он остается таким в любых обстоятельствах.

— Отчего же Степунин, получив самостоятельное задание, вместо того чтобы выполнить приказ, счел возможным покинуть огневую позицию?

— Вы же знаете. Девушка. Любовь.

— Степунин демаскировал орудие своим выстрелом, — возразил Глянцев. — А выстрел произошел лишь потому, что Степунин вместо того, чтобы точно и наилучшим образом выполнить приказ, вздумал крутить любовь. В самое неподходящее время. Все абсолютно ясно.

— У меня на батарее и без того не хватает двух командиров орудий, — сказал Возвышаев. — Их заменяют наводчики.

— Старший лейтенант Возвышаев, — капитан не мигая посмотрел Возвышаеву прямо в глаза, — я приехал сюда не для того, чтобы вести этот бесплодный разговор. Приговор трибунала состоялся, и мне осталось только объявить его на вашей батарее.

— А мне надо объявлять приказ о награждении отличившихся в бою! — упрямо сказал Возвышаев. — И как все это прозвучит в один и тот же день?

— Это прозвучит в высшей степени поучительно. Каждый пишет сам себе представление к награде. А может написать и приговор военного трибунала.

— Метод контраста, — констатировал Возвышаев. — Когда построить батарею?

— Желательно сейчас. У меня совсем нет времени.

— Хорошо, — сказал Возвышаев. — Мне сказали в штабе полка, что Степунин приговорен к отправке в штрафной батальон. Позвольте задать только один вопрос.

— Я отвечу, если смогу.

— Он будет воевать на нашем участке фронта?

Капитан развел руками:

— Вот тут я бессилен сказать вам что-либо конкретное. Возможно, да. Вы, очевидно, знаете, что штрафников посылают в самое пекло. Когда построите батарею, объявите сначала приказ о награждении, а уж потом я дам команду подвести к строю Степунина.

— Командиры орудий, ко мне! — зычно пропел Возвышаев и, подождав, пока батарейцы — кто из орудийного окопа, кто из землянки, — утопая по колено в снегу, подбегут к нему, сказал капитану, пытаясь улыбкой скрыть досаду: — Первый раз в моей батарее такое... Вот уж чего не ожидал, так не ожидал.

— Понимаю вас, — сочувственно отозвался Глянцев, то надевая, то снова снимая очки в жестяной оправе. — Приятного мало.

Расчеты построились возле своих орудий.

— Надо бы соединить всех в один строй, — высказал пожелание Глянцев.

— Хорошо, — сурово и коротко сказал Возвышаев. Он подошел ближе к орудиям и, став к ним спиной, громко скомандовал: — Батарея, в две шеренги становись!

Глянцев неторопливо подошел к строю. Сейчас Денис

узнал в нем того самого следователя, который допрашивал его в землянке. Сердце застучало громче, отчетливее, словно рвалось из грудной клетки на волю. Денис понял, что сейчас произойдет самое непоправимое и что теперь Платона уже ничто не спасет.

Возвышаев торжественно и возбужденно объявил, что младший сержант Солнышкин Денис Терентьевич и рядовой Барыбин Архип Антонович за проявленное мужество при стрельбе прямой наводкой по вражеским танкам награждаются медалью «За отвагу».

Денис вышел из строя и, повернувшись кругом, застыл, ожидая, когда к нему подойдет Возвышаев. Комбат отстегнул пуговицу полушубка и, вытащив из нагрудного кармана гимнастерки медаль, показал ее бойцам. Медаль сверкнула на солнце как крохотная молния. Возвышаев нацепил ее на телогрейку Дениса, полюбовался своей работой, крепко стиснул горячей рукой ледяную ладонь Дениса:

— Чтоб не последняя!

— Служу Советскому Союзу! — Эти слова Денис произнес негромко, сдавленно, будто задохнулся.

Если бы эту награду Денис получил в обычной обстановке, когда на батарее все шло хорошо и когда не было никаких причин для угрызения совести, счастье его было бы ликующим. Сейчас же он испытывал чувство, которое трудно было определить как счастье, — это было смешанное, текучее состояние радости, которую можно было сравнить разве что с солнечным лучом, с тяжким трудом пробившимся сквозь хмурые неподвижные тучи, и в то же время состояние горького стойкого стыда, который заглушал это робкое проявление счастья и причины которого были еще трудно объяснимы и осознанны.

Денис возвратился в строй, с трудом удерживая равновесие, будто шел по бревну, перекинутому через бездонную пропасть. Сейчас ему хорошо были видны черные сани меж белыми стволами берез и черная фигура Платона, каменно возвышавшаяся из этих саней и, казалось, несовместимая с синим, почти весенним небом.

Возвышаев, вручив вторую медаль, обратился к застывшему в напряженном ожидании строю:

— Братья-артиллеристы! Артиллерия — бог войны, а значит, мы у этого бога дети! Воевать будем так, чтобы черти задышали на ладан. Чтоб у каждого на богатырской груди горела награда! Артиллерия — это держава!

Она дала миру великих людей. Братцы, сам Лев Толстой был артиллеристом! И вести огонь нам надо так, чтобы на то место, по которому саданули наши снаряды, пришла матушка-пехота, по команде свернула курки, и чтоб земля зашипела, и чтоб пар — до самых небес!

В другой обстановке батарея ответила бы ему дружным, одобрительным хохотом, а сейчас лишь слабые кривые улыбки чуть забрезжили на хмурых, напряженных лицах.

Возвышаев увлекался все больше и больше, его уже порядком «занесло», и он не замечал, что капитан Глянцев, нервничая, переминался с ноги на ногу и бросал в его сторону нетерпеливые, осуждающие взгляды.

«Зачем он все это говорит? —чувствуя озноб, охвативший все его существо, подумал Денис. — И как можно сейчас, именно сейчас говорить все это, будто после его слов больше не произойдет ничего чрезвычайного, а прозвучит обыденная и привычная команда «разойдись!» и друзья бросятся пожимать руки награжденным, поздравлять счастливчиков. Или этой бравурной речью он хочет заглушить в самом себе чувство горечи и досады? И почему жизнь так беспощадно смешивает в одно и то же время столь несоединимое, почему она бывает непостижимо жестокой?»

Глянцев, наконец дождавшись, когда Возвышаев сделает паузу, и как бы опасаясь, что он снова продолжит свою речь, обернулся к саням и нетерпеливо подал знак рукой.

Денис все видел отчетливо и до малейших подробностей. И как ездовой поспешно и неуклюже отошел от коней, которых держал за уздечки, к саням, и как Платон тоже торопливо и неуклюже взмахнул руками, вылез из саней и, не ожидая, когда ему велят идти, пошел прямо к огневой позиции, заложив руки за спину, и как он, всегда подвижный и ловкий, двигался сейчас старческой, нетвердой походкой, ежась и стараясь убрать поглубже голову в плечи. Остановившись перед строем, он устремил неживой взгляд куда-то поверх людей, где за дальний лес скатывалось холодное солнце.

Глянцев снял варежки, которые остались висеть у него подле рукавов полушубка, полез негнущимися пальцами в полевую сумку, извлек оттуда вчетверо сложенный лист бумаги и тут же начал читать приговор. В приговоре были слова, которые следовало бы читать чеканно и суро-

во, но суровости в голосе Глянцева не было и в помине, он читал текст напевно и мягко, как читают стихи. И оттого, что жесткий и неумолимый смысл приговора произносился столь мягко, на душе у Дениса стало еще безутешнее.

Платон слушал приговор так, словно суровые слова относились не к нему, а к кому-то другому, и, хотя он продолжал смотреть все так же на синюю черту горизонта, Денису чудилось, что он смотрит только на него одного, на сверкавшую живым серебром медаль, смотрит с укоризной и завистью.

Глянцев закончил читать, Возвышаев, не медля ни единой секунды, подал команду «разойдись!», и вдруг случилось непредвиденное: откуда-то, будто спустившись с самих небес, на тропке появилась Фая. Денис даже не сразу заметил ее и, лишь когда она помчалась к не успевшему еще смешаться строю, устремил на нее диковатый взгляд. Длинноногая, худенькая, стремительная, она бежала так легко в своих фасонистых сапожках, будто летела над снежным настом. Вся она сейчас была как бы соткана из чего-то огненного, текучего и исчезающего. Морозный воздух был недвижим, но чудилось, что ее подгоняет ветром.

Платон уже двинулся к саням, но, завидев Фаю, точно врос в землю. Она остановилась в трех шагах от него и смотрела молча и удивленно.

— Как же так? — наконец глухо спросила Фая, и было непонятно, к кому она обращается. — Это же я, я виновата!

Капитан повернулся к Возвышаеву, как бы призывая его сделать что-то такое, чтобы никто не мешал ему выполнять свои обязанности, но тот даже не шевельнулся, настолько он был поражен внезапным появлением Фаи и ее словами.

— Прошу следовать к саням, — негромко, но твердо сказал Глянцев, и Платон, жалко улыбнувшись Фае, тут же выполнил это требование.

— Я вернусь, — оглянувшись, сказал Платон. — Клянусь тебе, Фая.

Денис видел, как Фая кивнула ему и молча, медленно, как во сне, пошла вслед за ним, смотрела не отрываясь, завороженно, как он садится в сани, как кони с ходу пошли рысью и вымахнули из березняка на дорогу. Она

стояла в глубоком снегу, пока сани не скрылись за черным замшелым бревенчатым срубом избы, потом резко, стремительно обернулась и пошла назад, к батарее. Фая нашла Дениса среди группы бойцов, повелительным жестом отозвала его в сторону.

Они пошли по той же самой тропке, петлявшей среди берез, по которой совсем недавно ходили Возвышаев и Глянцев.

— Ты предатель! — почти выкрикнула она в лицо Денису. — Предатель! И медаль не спасет тебя!

— Фая! — сдавленно начал Денис.

— Молчи! — оборвала его Фая. — Ты думаешь, что погубил его? Нет, он будет жить!

— Я не произнес ни одного слова лжи, — с внезапно нахлынувшей яростью сказал Денис. — Моя совесть чиста.

— Ее нет у тебя, нет, слышишь? — истерично рассмеялась Фая. — И больше не подходи ко мне. Прощай. — И Фая опрометью помчалась от него к дороге, в сторону большака, будто хотела догнать сани, скрывшиеся за крутым поворотом.

Денис стоял, не находя сил сдвинуться с места. Присел на подвернувшийся рядом пенек, сгреб дрожащей рукой снег с пушистой елки, сунул в рот, глотнул талой студеной воды. Солнце, скатившееся на острые черные зубцы дальнего леса, было багрово-красным. Близились сумерки.

«Она права?.. — спрашивал себя Денис, мысленно множество раз воспроизводя эти хлесткие, как бич, слова, и отвечал на вопрос утвердительно, и отвергал его, поражаясь человеческой жестокости, взрыву страстей. — Да, она права. Я мог встать на защиту Платона, мог отвергнуть все, что ставилось ему в вину. Но как можно было доказать, что Платон не оставлял своей гаубицы, или утверждать, что немцы обнаружили ее и открыли огонь еще до выстрела Платона? В чем же его, Дениса, предательство? В том, что он ложью не защитил Платона, или в том, что правдой усугубил его вину? Фая, Фая... Как же она, кого он считал честной, искренней и справедливой, как же она могла бросить ему в лицо, в сердце самые страшные, уничтожающие слова? Неужто любовь может так ослепить человека? Неужели и любовь приводит к жестокости и несправедливости? Зачем же она нужна, такая любовь, зачем?..»

4

— Нет, я не могу встречаться с тобой в Покровском, — сказал Денис тоном, не допускающим иных решений. — И ты знаешь почему.

— Ну что ж, пусть будет так. — Голос Фаи звучал в трубке почти спокойно, но Денис хорошо знал цену этого спокойствия. — Завтра я улетаю в Софию.

— Завтра?! — с тревогой воскликнул Денис. — И ты до сих пор молчала?

— Я могла бы и отложить эту поездку. А теперь поняла, что лучше поехать.

— Я все понял, — помолчав, с грустью сказал Денис. — Сейчас приеду. Но на дачу меня не зови. Хочешь, мы весь день проведем в лесу?

— На Чукотке я вижу этот лес даже во сне, — сказала Фая. — И чтобы успокоить твою совесть, встречу тебя не в Покровском, а в Пестове. Ты знаешь эту деревеньку? Царство ромашек и тишины. Как вызов цивилизации. — Она помолчала и неожиданно добавила таким тоном, словно это не относилось ни к ней, ни к Денису: — Чудаки-человеки. Все равно, где бы мы ни пытались укрыться, всюду одна планета по имени Земля, кругленькая, как детский мячик...

— Прекрасно, — сказал Денис. — Прекрасно, что на этом мячике еще есть такие деревеньки. Даже не верится.

— Я буду ждать тебя на лавочке возле первой избы, — сказала Фая. — Она стоит над самым оврагом, а рядом растет высоченный вяз. Наверное, ему сто лет.

Солнышкин положил трубку и задумался. День в редакции предстоял напряженный, по графику пришла пора отправлять макет в типографию. Кроме того, Денис на вторую половину дня назначил встречу с двумя писателями, в которых журнал был в какой-то мере заинтересован. К тому же на завтра приходился день рождения дочери, а Солнышкин еще не успел купить ей подарок, он пообещал жене сделать это и теперь пожалел, что сам отговорил ее ехать в магазин. Все складывалось так, что вступало в непоправимое противоречие с его намерением провести этот день с Фаей. Всю жизнь получалось так, что сама судьба нагромождала одно препятствие за другим на пути к женщине, такой же единственной для него, каким было солнце для всей этой загадочной, трагичной и прекрасной земли.

Солнышкин не стал вызывать служебную машину, спустился в метро и поехал в свой гараж, где уже давно скучали его «Жигули». На своей машине он ездил главным образом по субботам и воскресеньям, и то не по городским улицам, а, как выражались остряки, огородами — на рыбалку, страсть к которой сохранил еще с самого детства. Сейчас он как-то особенно отчетливо вспоминал себя мальчишкой с облупленным на солнце носом, с рыжими, цвета пшеничной соломы, волосами, с босыми ногами, в синих выцветших трусишках, с тюбетейкой на голове. Таким он был тогда, в тридцать четвертом, на рыбопитомнике. Целыми днями бродил с самодельной удочкой по утопавшему в камышах берегу Синюхи, ловил плотву, красноперку, а иногда сазанов или руками вытаскивал из нор раков и возвращался домой в сумерках голодный, пропеченный солнцем и счастливый. Как мало нужно было тогда для полного счастья! И сейчас Солнышкин не просто ощутил в себе мгновения той далекой поры — в нем проснулось чувство вольности, безоблачной радости и безмятежности, которое дарит людям только детство.

В гараже Солнышкин спустился на нижний этаж. Там было прохладно, пахло бензином и искусственной кожей автомобильных обшивок, машин было мало, и в боксе, где зимой и почти всю весну стояли «Волга», «Москвич», а посередине «Жигули» Солнышкина, теперь было просторно. Денис похлопал машину по капоту, как когда-то на фронте вот так же ладонью ласково трепал по холке коня, и сел за руль. Еще минуту назад проклинавший цивилизацию, он с радостью вслушивался, как вначале неуверенно, а потом все надежнее и ритмичнее заработал мотор. Солнышкин представил себе, что он живет в мире, где нет автомобилей и самолетов, а есть лошади и быки, прикинул, сколько часов тащился из Москвы в Покровское отец Герцена. По хорошей дороге выходило почти весь день, от рассвета до темноты, а если по плохой да коль возок загрузнет в непролазной глине, то, может, и целые сутки. Получалось так, что и повидаться бы с Фаей не успел, если бы тащился в повозке. И потому почти с нежностью, отмечая про себя странные и неожиданные превращения человеческого мышления, посмотрел на зеленые, будто живые и все понимающие глазки приборов и, отпуская сцепление, плавно нажал на акселератор.

Солнышкин вымахнул наверх по эстакаде и, попрощав-

шись с дежурным по гаражу, выехал за ворота. Остановившись на минуту, опустил стекло дверцы и с удовольствием ощутил на себе дыхание прохладного ветерка. «Теперь вперед, только вперед, — нетерпеливо подумал он. — С Волоколамки поворот на кольцевую, а там до Минского шоссе, и через полтора часа ты будешь смотреть в глаза Фаи, и слышать ее голос, и губы ее прикоснутся к твоим губам».

В мечтах о встрече, начисто отключившись от всего остального, Солнышкин не заметил, как выехал на Минское шоссе. На развилке (вправо вела Можайка) он раздумывал лишь секунду. Тогда, пять лет назад, после неожиданного звонка Платона, он ехал по Можайке, потому что предпочитал ее шумному, всегда ошалело грохочущему и местами основательно разбитому Минскому шоссе. Сейчас он не хотел, не признавал за собой права повторять тот же маршрут. Тогда он ехал к Платону, к другу детства, фронтовому товарищу, с искренним желанием повстречаться, теперь же он ехал как человек, способный украсть чужое счастье.

Самым странным и чуждым всему его духу было то, что он, считая себя человеком, неспособным на подлость и не желающим причинять людям ничего даже отдаленно схожего с несчастьем, силою этой удивительной и мучительной любви принужден был, помимо своей воли и вопреки своим убеждениям, причинять несчастье другим. Самым ужасным и самым счастливым было сознание того, что никакие силы не смогли бы заставить его отречься от этой любви — одна только смерть способна была это сделать, одна только смерть. «Я живу в тебе, значит, пока живешь ты, живу и я, а ты живешь во мне, значит, пока живу я, живешь и ты». Эти слова ему хотелось повторять и повторять при каждой встрече с Фаей, но он стеснялся их, потому что, несмотря на пронзительную искренность, они звучали слишком красиво, вспыхивали как фейерверк, а он любил Фаю земной любовью — счастливой, исступленной и грешной.

Все звенело и пело в нем, в его душе от предчувствия этой встречи, и это звенящее счастье заглушалось лишь мыслью о том, что они, вновь и вновь встречаясь друг с другом, вынуждены опять разлучаться, и снова громадное пространство — едва ли не половина планеты — будет разделять их в этом огромном, бушующем и суровом мире.

Его всегда приводила в отчаяние мысль о том, почему

люди, пройдя сквозь тысячелетия своей истории, испытав войны и землетрясения, муки и смерть, так и не научились понимать друг друга, так и не очистились от стремления злословить, завидовать, изменять, лгать, клеветать, подличать, малодушничать, жадничать, хвастаться, льстить, ябедничать, предавать. Чем объяснить, что люди так часто готовы посмеяться над любовью?

Самый близкий друг Солнышкина Костя Рябинин, с которым Денис делился своими чувствами, и тот не понял его — назвал его страсть к Фае слюнтяйством, болезнью, вроде ветрянки, которая быстро пройдет. Может быть, им руководило стремление испытать Дениса или скорее всего желание сохранить его семью, распад которой он расценивал как трагедию, в итоге которой все несчастны, даже тот, кто в своем ослеплении чувствует себя счастливым. Костя считал, что Денис, уйдя из семьи, обретет лишь временное, призрачное счастье, а потом всю жизнь будет казнить себя за содеянное. Денис жарко спорил с ним, приводил даже слова Энгельса о том, что жить без любви безнравственно, но Костя был непоколебим.

После того как Денис проехал Голицыно, дорога понесла его через массивы лесов, в которых еще дремотно и тяжело таилась сама древность, нечто абсолютно несовместимое с суетностью и нервным ритмом цивилизации и, более того, прямо противоположное и враждебное ей. И Солнышкин в душе порадовался, что леса эти стоят века, являя собой пример жизнестойкости.

Покровское открылось ему неожиданно, на небольшом взгорке, прижавшееся к лесу и как бы отдавшее себя под его защиту. Машина миновала пруд, полуразрушенную церковь, пришедший в ветхость дом Герцена. И вот в эту самую секунду Денис почувствовал гулкий, трепетный перестук сердца и еще раз сказал себе, что уже всю жизнь он будет вот так же беззащитен и робок при каждой встрече с Фаей. Несмотря на то что дорога в дачном поселке была сплошь в рытвинах, Денис проехал по ней быстро, стараясь не смотреть на дом, в котором впервые после многих лет, пронесшихся с войны, увидел Фаю. И все же не удержался, взглянул. Дом стоял отрешенно и безжизненно, будто грустил о том времени, когда он был очень нужен двум людям, живущим в нем и думавшим, что всегда будут жить так, как жили.

Дачный поселок отделял от Пестова лишь небольшой перелесок, спустившийся к глубокому оврагу, по которому

проложила свое русло речушка Островна. Дорога здесь никогда не просыхала после дождей. Солнышкин очень опасался, что машина начнет буксовать. Опасения его тут же подтвердились. Брызги и жидкая грязь разъезженной колеи выметнулись из-под задних колес, натужно загудел мотор и заглох. Вокруг не было ни души, некого было позвать подсобить. Солнышкин, чертыхаясь, вылез из машины, увязая в глине модными лаковыми туфлями, обошел ее вокруг. Ничего не оставалось делать, как идти в лес, набрать веток, подбросить их под колеса и попытаться выбраться на дорогу.

В овраге он довольно быстро набрал охапку сухих веток и вылез наверх. Склонившись у машины, принялся подкладывать ветки под переднее колесо. И испуганно вздрогнул, когда чьи-то горячие ладони внезапно прижались к его глазам. Он вмиг понял, чьи это ладони. Волна трогательной нежности окатила его, но он усилием воли постарался не показывать этого.

Фая опустила ладони, Денис стремительно обернулся, и они молча, почти не дыша, будто впервые знакомясь, посмотрели друг на друга. Ее глаза, узковатые, цыганистые, блестели радостью.

Фая рассмеялась и порывисто открыла дверцу машины, готовясь сесть за руль.

— Подожди, — будто боясь, что Фая исчезнет навсегда, обнял ее за плечи Денис.

Она поцеловала его и отвернулась, пряча лицо. Денис не видел, но знал, что на глазах ее блестят слезы.

Фая мягко освободилась от его рук и села в машину.

— А ты на заднее сиденье, — сказала она, включая мотор.

Денис послушно выполнил ее требование. Фая поколдовала с переключателем скоростей, босой ногой нажала на акселератор, и машина, вначале заупрямившись, вдруг медленно, с натужными вздохами мотора поползла из гиблого места.

Фая вывела машину на лужайку, выплеснувшую к солнцу целую стаю крупных ромашек, заглушила мотор, порывисто выскочила на землю и по-детски стремительно упала в цветы.

— Ну как? — задорно спросила она. — Куда же тебе без меня?

Денис опустился рядом.

— Как же она устроена, наша земля, — сказала

Фая, — и мы на ней? Почему с нами всегда и все происходит вопреки тому, к чему мы стремимся?

— Мы хотели этот день провести в лесу, — не давая Фае продолжить начатую мысль, сказал Денис. — Пойдем?

Они встали с земли и медленно вошли в березовый, уже старый, доживающий свой век лес. Березы были высокие, и, как солнце ни старалось омолодить их широкие стволы, они оставались такими же тускло-шершавыми.

— А Герцен видел их еще молодыми, — с грустью сказал Денис.

Фая подошла к старой березе, погладила ее рукой.

— Почему же все идет наперекор?

Денис вздрогнул и почувствовал, как от этого холодно и рассудочно прозвучавшего вопроса земля заколебалась у него под ногами, словно при землетрясении.

— Ты не решилась? — не то спросил, не то утвердительно произнес он, боясь посмотреть ей в глаза.

— Я привезла записки Платона, — сказала Фая, будто Денис и не обращался к ней с вопросом. — Почти двести страниц. Он очень спешил их закончить. И просил передать тебе. Он очень спешил.

— Спешил? Почему?

Фая пристально посмотрела на него, и в ее взгляде Денис увидел совсем новое, неведомое ему выражение тихой печали и робкого страха.

— Не знаю. Мне кажется, что-то надломилось в нем, — сурово, словно оба они — и Денис и Фая — были повинны в таком состоянии Платона, сказала она.

— Значит, и ты стала другой?

— Наверное.

Денис прислонился к березе, чувствуя, как его теснит и не дает свободно дышать мысль о том, что всегда, всю жизнь, и там, на той страшной войне, и сейчас, когда она уже далеко позади, Платон стоит между ним и Фаей, словно грозный призрак, как тяжелая туча между землей и солнцем. Уже по тому тону, с каким Фая сказала ему о состоянии Платона, Денис понял, что она имеет в виду что-то серьезное. Он не успел ощутить в себе жалости к этому человеку, с которым все время так беспощадно и нелепо перекрещивался его жизненный путь, потому что, как оглушающий выстрел, как извержение вулкана, в самое сердце ударили те самые слова, которые так беспощадно и жестко произнесла Фая тогда, в январе сорок

второго, на батарее старшего лейтенанта Возвышаева: «Ты предатель!»

Он испуганно посмотрел на нее, настолько явственно прозвучали эти слова, которые, как клеймо, горели на нем и смыть которые оказалась бессильной даже любовь. Ему почудилось, что Фая снова и снова повторяет их, повторяет почти враждебно, и он был потрясен тем, что она стояла сейчас молча, с плотно и горестно сжатыми губами. Много лет он убеждал себя в том, что эти страшные слова Фая никогда не произносила, что они почудились ему, почудились, как в горячечном бреду, или что он придумал их сам в минуты лютой злобы на Фаю за то, что она предпочла ему Платона. Но сейчас, несмотря на то что Фая молчала, ему казалось, что она беспрерывно, все отчаяннее и непреклоннее выкрикивает ему в лицо эти убийственные, гневные слова, чтобы он все-таки услышал их и до конца осознал истинное значение фразы, звучавшей как проклятие.

— Может, он болен? — неуверенно спросил Денис. — У меня есть знакомый профессор. Светило в медицине.

— Может, и болен, — уже спокойнее сказала Фая. — Но ты же знаешь его. Он никогда не сознается. Он изображает самого благополучного человека. И часто повторяет, что, пока я с ним, ничего не случится.

«Так вот почему она сказала о неустроенности жизни, — вспыхнул Денис. — Вот почему...»

— И ты жалеешь, что покинула его в такой момент? — искренне стараясь, чтобы нотки сожаления отчетливее проступили в голосе, сказал Денис.

— Я знала, что ты спросишь именно так. Я заранее знаю, о чем ты спросишь, я слышу все твои слова задолго до того, как ты их произнесешь.

Фая сказала все это без малейшей иронии, очень серьезно и даже с оттенком гордости. И он понял, что она не обвиняет его в этом, а только подчеркивает неразрывное родство их душ.

— Я тоже знаю все, что ты скажешь мне сегодня, завтра, через десять лет.

Фая улыбнулась.

— Сейчас мне очень хочется очутиться далеко-далеко отсюда, — будто самой себе, тихо сказала Фая.

— Далеко?

— Да. Где-нибудь на Бермудах. Там гибнут самолеты и корабли. И никто не знает почему.

— Пойдем в лес, подальше от этой старой березы, — решительно сказал Денис, беря Фаю за руку. — Это она нашептывает тебе сумасбродные мысли.

Они пошли медленно. То Денис, то Фая изредка останавливались и наклонялись над веточкой земляники, с которой свисали еще недозрелые ягоды, или над сыроежкой с зеленоватой, будто акварельной, шляпкой, показывали все это друг другу как невиданное чудо и все дальше и дальше углублялись в лес.

Денис еще на опушке сориентировался по солнцу, оно светило им в спину, в правое плечо. Значит, выходить из леса нужно будет обратным порядком — оно станет светить им в грудь, в левое плечо. Этот способ был самым простым и надежным, Денис всегда пользовался им, когда ходил один или с женой за грибами. Но этот ориентир годился только в солнечную погоду.

Сегодня солнце светило так молодо и жарко, что верилось, что на чистом, будто омытом студеной водой небе не может появиться ни единой тучки. Денис шел уверенно, не утруждая себя замечать окружающее, потому что сейчас был всецело поглощен теми мыслями, которые возникали у него во время встречи с Фаей.

— Ты читала записки Платона? — Этот вопрос вырвался у Дениса помимо его воли.

— Нет, — поспешно ответила Фая. — Он требовал, чтобы я прочла. И хотел прочитать мне вслух. И каждый раз я искала причину, чтобы этого не случилось.

— Почему?

— Я боюсь.

— А обо мне ты подумала? — пытаясь скрыть обиду, спокойно спросил Денис.

— Да. И пришла к выводу, что ты должен прочесть.

Она говорила это почти равнодушно, будто и не пытаясь убедить Дениса, а просто высказывала мнение, с которым можно было и не считаться. Но Денис с холодной трезвостью осознал, что за этими словами скрывается другой, не имеющий никакого отношения к этому мнению смысл, суть которого состоит в том, что, прочитав, он узнает ту правду, о существовании которой он еще и не подозревал.

— Он в подавленном состоянии? — спросил Денис.

— Да.

— А ты прилетела?

— А я прилетела.

Фая произнесла эти слова без вызова, без надрыва. Она остро ощущала свою вину перед Платоном, но так глубоко прятала это принадлежавшее только ей чувство, что Денис был поражен ее спокойствием и выдержкой.

— А теперь полетишь в Болгарию?

— Теперь полечу.

— Надолго?

— Нет. На неделю.

— Я прилечу к тебе. В каких городах ты будешь?

— Кроме Софии, в Чирпане. Ты знаешь болгарского поэта Пейо Яворова?

— Немного.

— Чирпан — его родина. Я должна там побывать. Трагическая судьба. Трагическая любовь. Меня неудержимо тянет понять его.

Она задумалась, нахмурив брови. В такие мгновения она казалась старше своих лет.

— Ты не должен туда лететь, — решительно, даже резко сказала Фая.

— Я понимаю, — обреченно прошептал он, зная, что она ни за что не изменит своего решения.

Они шли и шли по лесу. Старый березняк сменился такими же старыми елями.

Денис и Фая не заметили, как над высоким лесом тяжелые облака сменили мрачные тучи. Стремительно потемнело, по поляне штормовой волной прошел ветер. Огненным копьем пронзила небо молния. Казалось, в самые вершины ворвался грохот грома, ревущий и мощный, способный смести с лица земли и этот лес, и дальние деревни, ударяя в колокола церквей, в мачты электропередачи, в многолюдные улицы больших городов.

Почти одновременно с новым раскатом грома по листьям деревьев автоматными очередями ударили первые капли дождя. Надо было поскорее возвращаться к машине.

Дождь усиливался, потоки воды лились на них с мокрых веток. Не прошло и пяти минут, как они вымокли насквозь. Они шли быстро, почти бежали, но лес не расступался, а все плотнее смыкался перед ними. Казалось, ему не будет конца и края. На крохотной полянке они остановились отдышаться. Потом снова побежали, и снова перед ними возникали, преграждая дорогу, старые березы, шумели и гудели над ними ураганом листьев, как бы стращая их и не пуская из лесу.

«Заблудились», — подумал Денис, переживая не за

себя, а за Фаю. Она время от времени с надеждой поглядывала на него, не смея спросить, почему они никак не выберутся из этого мрачного, охваченного пожаром грозы леса.

Денис решил не менять направления. «В конце концов, это же не сибирская тайга, всего-навсего подмосковный лес, — успокаивал он себя. — Куда-нибудь выйдем».

Он не ошибся в своих предположениях. Опушка леса возникла перед ними так внезапно и стремительно, что даже трудно было поверить в реальность копешки сена и большой поленницы березовых дров, на которую они едва не наткнулись.

Денис осмотрелся вокруг. Ни Пестова, ни другой деревни вблизи не было. В окружении молодых берез пенилось от дождевых струй черное торфяное озерцо с топкими камышовыми берегами. Денис когда-то рыбачил здесь и знал, что оно приблизительно в трех километрах от Пестова.

— Ну, кажется, все, — сказал он возбужденно, вытирая ладонью мокрое лицо. — Теперь вот эта тропка выведет нас прямо к деревне.

— В детстве я совсем не боялась грозы, — сказала Фая. — Помню, бежала вот так же из лесу домой, хохотала от счастья и пела песни... А после войны пугает даже самый слабый раскат грома.

— Да, после войны все стало иным, — сказал Денис. — И мы стали другими.

— Толстой считал, что человек меняется через каждые семь лет, — сказала Фая. — Ты не замечал этого?

— Нет, — машинально ответил он, думая совсем о другом.

«Сейчас мы придем в Пестово, сядем в машину, а что дальше? — мучительно раздумывал Денис. — Как мне вести себя? Распрощаться и уехать, чтобы уже никогда не встречаться? Это выше моих сил, это равнозначно самоубийству. Тогда что же? Остаться на даче у Фаи? Но как на это посмотрит она? И как это объяснить дома? Что ж, пусть за нею останется последнее слово».

Усталые, мокрые и растерянные, они наконец добрались до Пестова. Машина стояла на полянке с ромашками.

— Вот и все, — сказала Фая. — Спасибо тебе за этот день.

— Я подвезу.

— Нет, — сказала Фая, отжимая воду с копны густых

и вьющихся черных волос. — Я пешком. А ты поезжай через Пестово. Сейчас даже я не смогу вызволить машину.

— Хорошо, — согласился Денис, не поняв до конца, к чему клонит Фая. — Жди меня у своей дачи.

— Поцелуй меня, — попросила она.

Денис стал порывисто целовать ее мокрые губы, глаза, щеки.

— Вот и все, — снова повторила Фая, когда Денис остановился. — А теперь мы расстаемся. Навсегда.

Денис ошалело посмотрел на нее, не веря словам, которые она произнесла столь спокойно и просто.

— Нет! — крикнул он. — Нет!

— Будь она проклята! — стараясь перекричать удар грома, воскликнула Фая.

— Кого ты проклинаешь? — судорожно спросил Денис.

— Любовь! — с неожиданной яростью крикнула она. — Любовь, которая всех нас сделала несчастными!

Денис почувствовал, как вмиг захолонуло сердце...

Он вырулил на проселочную дорогу. Потоки воды заливали лобовое стекло. Машина медленно ползла к окраине деревни. Он мельком взглянул на дом вблизи оврага и увидел высокий раскидистый вяз. Даже грозовой ветер не смог раскачать его, настолько он был еще крепок и могуч.

«Наверное, ему сто лет», — вспомнил Денис слова Фаи и тут же, не веря себе, услышал ее громкий, отчаянный крик. Он резко нажал на педаль тормоза и выскочил из машины.

Фая мчалась к нему, наперекор ветру, ливню, под сумасшедший грохот грозы, совсем юная, поразительно похожая на ту девчонку, какая встретилась ему на фронте в заснеженном морозном лесу. Подбежав, обхватила его и, рыдая, повторяла и повторяла одни и те же слова, тем же тоном, каким несколько минут до этого повторяла проклятие:

— Ты мой! Мой! Только мой!

Эти слова вмиг вернули его к реальной действительности, и он отчетливо понял весь трагизм положения, в котором они находились. Все, что происходило с ними, было похоже на бунт. Они с отчаянностью обреченных шли наперекор сложившимся судьбам, заранее зная, что, добывая свое счастье, несут беду и горе другим, в сущности, ни в чем не виноватым людям.

Не сговариваясь, они медленно подошли к крайней избе с той самой скамейкой у дощатого забора, на которой Фая ждала его приезда.

— Попросимся обсушиться? — спросил Денис, распахивая калитку.

— Да, — согласилась Фая. — Только осторожно, во дворе наверняка есть собака. Я ужасно боюсь собак.

Денис поднялся на крыльцо. С крыши потоками мчалась вода. Все вокруг бурлило и звенело.

Денис постучал в дверь, сработанную из некрашеных досок. Никто не отозвался. Он забарабанил по двери кулаком. Наконец звякнула щеколда. На пороге появилась подвижная, бойкая старуха с моложавым и хитроватым лицом.

— Господи, никак туристы! — жалостливо пропела старуха. — Заходите, заходите, да порезвее. Ишь как вас, родименьких, прохватило. Потоп, истинный потоп. Мы со стариком уж в подпол собрались лезть, спасу нет от этой огненной колесницы. Война, чистая война.

Она еще раз оглядела их с ног до головы, мокрых, смущенных, и всплеснула руками:

— Батюшки, озябли небось? До костей, чай, прошибло? Ну, не беда, дождик вымочит, красно солнышко высушит. Ступайте к печке, как знала, протопила. Сырость выгоняем. Ступайте, снимайте одежу-то, обсушитесь. — Старуха лукаво зыркнула на них: — Дождь на молодых — счастье!

— Да какие же мы молодые? — улыбнулся Денис. — Не успеем оглянуться — полсотни стукнет.

— Эх, соколики вы мои милые, — защебетала старуха, — самый расцвет, самый смак ваши годы. Мефодьевич, встречай гостей. Да пойди в баньку, угольку подкинь. Без баньки-то их хвороба загрызет. Туристы — народ хилый, все по врачам, по дохтурам да по аптекам шастают, химикатами травятся. А лекарство-то не в аптеке, в чистом полюшке, на волюшке лекарство да в лесу березовом. Рак, слышь, все по телевизору грозятся вылечить, да где им, дохтурам нонешним! От полюшка да от лесочка в каменные терема упрятались, бумагой шелестят, перьями скрипят. Благо чернил-то вдоволь. Пишут... эти самые, запамятовала, как называются...

— Диссертации? — подсказал Денис. — Вот и она, — кивнул он на Фаю, — диссертацию пишет.

— Во-во! Сертации! А толку чуть. Травку надо искать,

сердешная, травку! Ходим мы по ней, ножками топчем, а она, может, рак изничтожает. Сертации!

— Ты чего, Аникеевна, шебуршишь? — неслышно вошел в горницу крепкий еще, легкий на ходьбу старик. Он был весь седой и лишь лохматые брови чернели на сухоньком, вертком лице. Приветливо поздоровавшись, старик принес к печи две некрашеные табуретки, усадил на них Дениса и Фаю, с интересом спросил: — Из Москвы или дальние?

Узнав, что из Москвы, удовлетворенно подытожил:

— Считай, восемь миллионов. Цельное государство. Не Москва — магнит. Ты, Аникеевна, карасей поджарь да лисичек, а я банькой займусь. А кличут меня Мефодьевич.

Мефодьевич деловито вышел из избы, а Аникеевна принялась накладывать в большую чугунную сковороду выпотрошенных карасей.

— Сынок наш к себе зовет, в Сургут, дорогу строит, — снова заговорила она. — А на кой нам на край света бежать? Изба у нас есть. Какая-никакая — дождем покрыта, ветром огорожена, а все своя. А еще самолета боюсь, страсть как боюсь.

— Самолет — самый надежный вид транспорта, — авторитетно сказала Фая. — Я вот, Аникеевна, налетала уже больше, чем Валерий Чкалов. С Чукотки в Москву. Из Москвы на Чукотку.

— Да я ведь не самолета — высоты боюсь, — уточнила Аникеевна. — Я сроду выше нашей груши не залазила. И то девчонкой была, за грушами полезла, ветка-то обломилась. Упала, чуть горбатой не стала. С той поры и боюсь.

Аникеевна все делала ловко и споро. Она принесла Денису чистую льняную рубаху в крупную клетку, а Фае фланелевый халат. Потом нарезала на деревянной доске репчатый лук и перемешала его с жарившимися на большой чугунной сковороде лисичками. Тут же накрыла на стол, выставив из крохотного холодильника бутылку «Экстры». Делая все это, она беспрерывно бросала лукавые, понимающие взгляды на своих нежданных гостей, стремясь по исконной бабьей привычке, рассказывая о себе, выпытать как можно больше подробностей из жизни доселе незнакомых ей людей. Так, вроде бы мимоходом, она узнала, что у Фаи есть сын. Поохала, что служит далеко, у черта на куличках, восхитившись тем, что у такой

молодой женщины уже взрослый сын, и успела высказать упрек Денису, что один сын не семья, вот улетел на край света — и что есть он, что нет. Денис не стал говорить о своих детях, чтобы не разжигать и без того обостренное любопытство Аникеевны. Покончив с приготовлениями к обеду, она уселась напротив гостей, не спуская с них глаз, будто смотрела интересную передачу по телевизору.

— Ну вот, и все ладненько, вот уже вы и согрелись, щеки-то возле печки разрумянились, — удовлетворенная результатами своих хлопот, певуче тараторила Аникеевна. — А тебя, милая, я гдей-то видела, уж больно мне твое личико знакомо, — всматриваясь в Фаю цепкими глазами, сказала она.

Фая улыбнулась, подумав, что и впрямь могла ее видеть Аникеевна, вполне возможно, что в деревенской лавке, но не призналась в этом. Сейчас, после суматошного бега через мрачный и страшный лес, над которым, казалось, разверзалось небо, она почти ничего не воспринимала из того, что сыпала, будто из решета, Аникеевна, смотрела на все отрешенно и неприкаянно, с чувством человека, провинившегося и перед Денисом, и перед Платоном, и перед этими старыми русскими людьми, приютившими их. К этому добавлялся какой-то нестихающий стыд, ощущение того, что эта старуха видит их насквозь и уже, вне всякого сомнения, пришла к выводу, что никакие они не муж и жена, по всему видать, любовники, озоруют, пользуясь тем, что Москва не деревня, в которой все знают друг дружку наперечет, да и тем, что имеют свою машину, для которой сто верст не расстояние.

Во всем этом Фая не ошибалась. Аникеевна про себя с первых минут решила, что внезапно появившиеся гости не состоят в законном браке. Тертый калач, она сразу учуяла это по мимолетным взглядам, которыми обменивались между собой Денис и Фая, по вроде бы незначительным их словам, по незаметной для неопытного глаза манере поведения, в которой смущение перемежается с настойчивым желанием вести себя смело и раскованно, не вызывая ненужных догадок. Она жаждала их вопросов — о житье-бытье, о сыне, что в Сургуте, о Мефодьевиче, и то, что гости не спешили с расспросами, еще более утвердило ее в своем предположении. «Знать, своими думками забиты ихние головушки, — сокрушенно отметила она про себя, — не до нас, грешных. Вишь, печаль какая на всем

ее обличье разлита, как туман на реке. Да и он сам не свой, суетится, егозит, а к чему — понятия нету».

— Вот так и живем, хлебушко жуем, — не дождавшись вопросов, разоткровенничалась Аникеевна. — Нонче таких, как мы, не скоро сыщешь. Мечутся людишки по белу свету, за подол силком никого не удержишь. Снуют, как муравьи, снуют!

Денису, как и Фае, не хотелось говорить, было такое ощущение, будто шальная молния в лесу оглушила их и отняла язык. Он слушал Аникеевну рассеянно, невпопад улыбался, кивал, изображая согласие с тем, что она говорит, но не мог заставить себя вникнуть в смысл ее слов. И конечно, не гроза была виновата в его странном, отрешенном состоянии. Дениса потрясли те резкие, внезапные и взаимно уничтожающие друг друга перемены в настроении и словах Фаи, которые прежде не были столь несовместимыми и которые сейчас предвещали нечто новое, тревожное в их жизни и в их судьбе. Редкие встречи, в самом ожидании которых заключалось счастье, проходили как вспышки дальних зарниц, и снова после расставания наступало мучительное состояние тревоги и печали, необходимости двоиться в своих чувствах и лишь догадываться о том, какими мыслями и интересами живет любимый человек, отделенный от него огромным пространством и стремительным временем. Письма, хотя и частые, тоже были похожи на отблески молний, когда свет способен ослепить глаза, а грома не слышно. К тому же письма шли много дней, и к моменту, когда наконец преодолевали с трудом поддающийся пространственный барьер, все, что в них отражалось, уже уходило в прошлое, становилось историей, и невозможно было полностью довериться им, не рискуя стать жертвой иллюзии. Самое страшное состояло в том, что такое положение в их взаимоотношениях складывалось, по всему было видно, надолго, если не навсегда.

Фая много раз порывалась честно и искренне открыться Платону во всем, но что-то всегда удерживало ее от этого решительного шага. То вдруг она проникалась чувством острого сострадания к жене Дениса, хотя никогда не видела ее и не расспрашивала о ней, то ей снились дети Дениса — растерянные, жалкие, обделенные судьбой. То неожиданно теряла веру в решительность Дениса, зная, что у него на работе из-за нее могут быть очень большие неприятности, и не всякий мужчина способен по-

жертвовать тем, чего ему удалось достичь в своем общественном положении за многие годы нелегкого труда. То представляла себе изумление своего сына, который нежно и самозабвенно любил мать и считал ее образцом чистоты и верности. Она понимала, что, получая счастье для себя, могла сделать несчастными близких. Удивительно, но каждый раз, решаясь на откровенный разговор с Платоном, она исключала из числа тех, для кого ее шаг будет неотвратимым ударом, самого Платона и вспомнила о нем только тогда, когда он заболел.

Денис, в свою очередь, хорошо понимал, что и он, мучимый сомнениями и колебаниями, повинен в том, что истинное сближение с Фаей отступает за неведомые пределы, исчезая в омуте неопределенности. Фая интуитивно догадывалась, что Денису страшно пожертвовать своей работой; она знала, что он, как и большинство мужчин, не мыслит себя вне своих любимых и привычных занятий, и, будучи внезапно лишен их, потеряв то, ради чего человек живет на земле и что именуется привычным словом «призвание», он потеряет свою жизненную устойчивость, будет охвачен смятением, станет совсем другим, непохожим на самого себя.

Они никогда не упрекали друг друга в нерешительности, в том, что не идут на любые жертвы ради своей любви; но тем мучительнее складывалась их жизнь, тем беспросветнее казалось все, что ждало впереди. Новые надежды оживали в дни встреч, но встречи исчислялись днями, в разлуке же проходили недели, месяцы и целые годы, из которых и складывался тот миг, что принято называть жизнью.

Теперь, когда Денис узнал о болезни Платона, он и вовсе потерял всякую надежду на счастье. Он был убежден, что Фая никогда не покинет Платона в такой момент, а если с Платоном случится самое непоправимое, то и вовсе не решится соединить свою жизнь с Денисом. Ведь он может подумать, что она придет к нему не потому, что не мыслит себе жизни без него, а потому, что в положении еще сравнительно молодой вдовы нет иного выхода, как обрести себе опору в новом замужестве. И выходило так, что им не хватит всей жизни, чтобы осуществить то, к чему стремились.

Денис и Фая очнулись от своих горестных раздумий только тогда, когда в горнице появился Мефодьевич. Пушистый кот с сердитой мордой плелся вслед за ним. Ста-

рик молча остановился посреди горницы, не решаясь тревожить закручинившихся гостей. Но едва Денис обернулся в его сторону, Мефодьевич сухонькой ладонью разгладил жиденькую рыжеватую бороденку и торжественно, как с амвона, возгласил:

— Банька готова!

Денис и Фая нерешительно переглянулись, но Мефодьевич не дал им открыть рта.

— Банька, она все грехи смывает. Все печали-горести. Идите побаньтесь, старому солдату благодарность объявите...

...После бани они как именинники сидели за столом, а Аникеевна и Мефодьевич наперебой угощали их солеными грибками, сочной редиской, огурцами в пупырышках, только что с грядки, и жареными карасями в сметане с приправой из лисичек. И на душе у них было какое-то обновление, какого они оба давно ждали, ощущение того, что уже много лет живут они в этом доме, не зная разлук.

— Аникеевна, милая, вы так заботитесь о нас, будто мы ваши дети, — растроганно сказала Фая.

— А как же, дети и есть, — радостно подтвердила помолодевшая от вина Аникеевна. — По другому-то мы и не приучены. Ведь русские мы...

Мефодьевич, не слушая ее, рассудительно и степенно вел свою линию:

— Жизнь, она какая? В точности как земля. Тут — чисто поле, там — река без броду, а рядышком — гора неприступная, а то пропасть бездонная. А ежели ты человек — превозмоги. Живешь на земле, стало быть, она твоя прародительница. И ты, Аникеевна, мне не перечь, твоего верху все одно не будет, потому как ты баба, хоть и моя законная жена...

Вышли они от радушных стариков поздно вечером. Дождь давно перестал, над дальними лощинами лег туман, и небо еще никак не могло избавиться от последних туч. Там, где за горизонт опускалось солнце, багровыми языками пожара горела вечерняя заря.

— Ты останешься на даче? — спросил Денис, когда они сели в машину.

— А куда же я денусь? Ты же не повезешь меня к себе домой?

Денис промолчал. Его больно ударил этот вопрос, слов-

но пуля из внезапно выстрелившего оружия. Прежде Фая никогда не укоряла его.

— А хочешь, поедем? — с ошалелой решимостью предложил Денис, и Фая, взглянув на него, подумала, что он и в самом деле способен сейчас на такой шаг. — Поедем — и все разом, была не была!

— Нет, нет! — испуганно сказала Фая. — Это только на фронте я не была трусихой. А сейчас не война.

Денис включил мотор, машина тронулась. О том, чтобы поехать сейчас вместе с Фаей к себе домой, все честно объяснить Лиде, — об этом он мечтал сейчас как о желанном избавлении от дикого состояния, в котором так ненадежно, унизительно и ненавистно сплелись любовь и обман, искренность и лицемерие, радость и горе.

У калитки Фаиной дачи Денис остановил машину. Фая молча прикоснулась губами к его щеке. Он печально смотрел, как она, выйдя из машины, открывала калитку, шла по тропе, ведущей к крыльцу, поднималась по ступенькам.

Фая скрылась за дверью дачи, а Денис все никак не мог принудить себя тронуться с места. Он ждал чуда, ждал, что Фая передумает, вернется, опомнится. Но она не появлялась и не зажигала огня, будто исчезла бесследно и навсегда.

И все же чудо произошло. Денис уже включил первую скорость, отпустил педаль сцепления, машина медленно поползла от калитки. Он оглянулся — и не напрасно. Фая вихрем — второй раз за этот безумный день — мчалась к машине, размахивая зажатым в высоко поднятой руке листком бумаги, и что-то кричала. Денис затормозил так, что завизжали тормоза, и распахнул дверцу. Запыхавшаяся Фая повалилась на сиденье, протянула ему листок. Это была телеграмма.

— «Платон больнице сердечный приступ Артему сообщили», — вслух прочитал Денис.

— Сообщили Артему? — дрогнувшим голосом прошептала Фая.

— Успокойся, — сказал Денис. — Пока нет оснований для такой тревоги. Приступ может случиться с каждым. Он в больнице — значит, под контролем врачей. Успокойся.

— Прочти еще раз, — попросила Фая. — Что там об Артеме?

— «Артему сообщили», — прочитал Денис.

— Артему сообщили, — повторила Фая. — Как ты не

понимаешь, что весь смысл в этой фразе. Значит, это очень серьезно...

— Не надо догадок, они убийственны, — мягко остановил ее Денис. — Возьми себя в руки.

Он пытался успокоить Фаю, а между тем сам был в полной растерянности. Какой совет ей дать? Срочно лететь к Платону? Ждать новых сообщений? Как поступить самому? Остаться с ней на даче, чтобы не покинуть ее в одиночестве в такой тяжелый момент?

Как и всегда, все решила сама Фая.

— Я еду с тобой, — твердо сказала она, выпрямляясь на сиденье.

— Ко мне? — быстро спросил он.

— В Домодедово, — сердито ответила Фая, поражаясь его недогадливости. — В Москве я возьму такси.

— А как же Болгария? — невпопад спросил он.

— Ты ничего не хочешь понять. Или не можешь, — грустно сказала Фая.

— Я сам отвезу тебя в Домодедово, — поспешно предложил Денис.

— Нет, только до Москвы. Мне нужно побыть одной.

— Хорошо. И прости меня, Фая.

— Не выношу кающихся мужчин, — отчужденно и глухо сказала она.

Денис промолчал. Она уже не раз сегодня наносила ему такие чувствительные удары, наотмашь. Разве он это заслужил? Наверное. Но неужели в человеческих отношениях нет ничего прочного, все так хрупко, призрачно и ненадежно?

— А знаешь, тогда... — вдруг сурово и холодно сказала Фая, — никакой вины тогда за ним не было...

— За кем? — вырвалось у Дениса. Он не сразу понял смысл сказанного.

— За кем же еще? — обиженно отозвалась Фая, поражаясь его вопросу. — Известно за кем... Это я, дуреха, отбивалась от него как могла. Отбивалась — зачем? Чтобы потом, вечером, самой к нему прийти?

Денис хорошо знал эту черту Фаи — беспощадную откровенность во всем, откровенность, доходившую порой до жестокости. Но сейчас, вскоре после того, что с ними произошло, эта откровенность, казалось, превзошла саму жестокость.

Она помолчала и, будто раскаявшись, продолжила:

— И сейчас никакой его вины нет, только моя вина, — решительно сказала она.

И все вдруг в нем прояснилось с беспредельной отчетливостью: значит, даже в тот момент, когда он обхватил ее своими жаркими объятиями, она была не той Фаей, которая прежде безрассудно и ошалело дарила ему свои ласки, а совсем другой женщиной, в которой что-то главное неуловимо изменилось, погасло и исчезло навсегда. Да, это неудивительно, это так естественно, пытался успокоить себя Денис. Сейчас, когда жизнь Платона, видимо, под угрозой, было бы странно видеть Фаю неизменившейся, прежней, он бы и сам упрекнул ее в бессердечии. Ну а если дело не только в болезни Платона? Если все, что потом, через много лет после войны, произошло с ними, все это был мираж, пусть сладостный, желанный, но все-таки мираж? И оба они приняли этот мираж за свою мечту, более того, за цель своей жизни, а теперь это невесомое, выдуманное ими облачко рассеялось в небесной выси так же внезапно, как и родилось? И что главным, истинным и реальным было вовсе не то, что длилось между ними вот уже много лет, а то, что произошло всего лишь в один день, там, на батарее старшего лейтенанта Возвышаева, между Фаей и Платоном? Кто мог ответить на эти вопросы, обрушившиеся сейчас на Дениса? Он знал, что не сможет ответить на них, и был уверен, что не ответит на них и Фая.

— Ты не обижайся, — будто угадав его мысли, попросила Фая. — Я злая, непутевая баба, и все горе от меня.

— Знаешь что... — вдруг с бешеной ненавистью выдохнул Денис. — Если бы тебе не в аэропорт, я бы вышвырнул тебя из машины!

— И правильно бы сделал, — устало и горько сказала Фая. — И я была бы тебе благодарна.

До самой Москвы они не произнесли больше ни слова. Несмотря на протесты Фаи, Денис довез ее до аэропорта. На его счастье, в кассе нашелся один билет на ночной рейс. Он протянул его Фае, хотел тут же уехать, не попрощавшись, но не сдержался, обхватил ее голову ослабевшими ладонями и, как одержимый, целовал и целовал глаза, щеки, губы, волосы... Потом, резко отшатнувшись, побрел к машине, сел в нее и уехал, так и не оглянувшись на Фаю, словно застывшую на том самом месте, где он оставил ее.

5

— А помнишь нашу батарею? — нетороплиpво ожидая ответа, вскинул на него потускневшие, ищущие глаза Платон, и Денис тотчас до осязаемой точности вспомнил, какие у него были глаза тогда — в сорок втором. Что-то диковато-хмельное играло в них почти непрерывно, как восторженное, детское восприятие тех радостей, которые ждут его в этой совсем другой, полной неизвестности жизни.

— Еще бы не помнить, — сказал Денис, боясь, что Платон начнет вспоминать все, что происходило на их батарее день за днем, безжалостно говоря и о том, что мило сердцу и от чего даже теперь хотелось бы отречься.

Но Платон вдруг спросил совсем о другом:

— Пишешь что-нибудь?

— Редко, — махнул рукой Денис. — Как стал редактором, так и перестал почти. А то всюду летал — был на Чукотке, и на Курилах, и на Камчатке, на Сахалине. В Закавказье летал, и в Мурманск, на Рыбачий. На Амуре и в Средней Азии тоже довелось быть. Легче сказать, где не был. А сейчас читаю, что другие пишут.

— Кощунственно это, — убежденно сказал Платон. — В высшей степени кощунственно. Десять лет в жизни, это, брат, целая эпоха, капитально. Пять раз по десять, вот тебе, считай, и вся жизнь. Ленину сколько было, когда умер? Всего пятьдесят четыре. А Дзержинскому — сорок девять. Пушкин в тридцать семь погиб. Бросай свою канцелярию, придет время — волком взвоешь, на что творчество свое разменял. В мире есть лишь одна ценность величайшая — время.

— Все верно, — согласился Денис. — А поворачивать уже вроде бы и поздно.

— Я бы на твоем месте повернул, — твердо произнес Платон. — Вот мне-то действительно поздно.

— Зачем ты так? — начал было Денис.

Платон невесело усмехнулся, промолчал.

— Писанину мою прочел? — не глядя на Дениса, негромко, почти равнодушно спросил он.

— Прочел, конечно, прочел, — торопливо ответил Денис, боясь, что Платон не поверит и в искренность его слов. — Как же я мог не прочесть, ты же просил.

— Писал, что думал, как на душу ложилось, — все тем же отрешенным тоном сказал Платон. — Всю свою

жизнь хотелось описать — с самого первого дня, который в памяти остался. И как в детстве рос, в Михайловской. Как с отцом все закрутилось. И как воевал. Штрафбат тоже хотел запечатлеть. И вообще, как жизнь прошла — без всякой утайки. И те дни, когда героем ходил. И как полюбил... Да только подумал: кому это нужно, кого это обрадует, чью душу разбередит? Да и не моя это стихия — писать, каторжное дело...

— Думаю в журнале напечатать твои записки, — сказал Денис. — Для молодежи это будет интересно.

— А вот это уж зря, — резко возразил Платон. — Ничего интересного в моей жизни нет. И молодежь сейчас совсем другая, все другое... И слово это — «интересно» — ненавижу. Что-то подленькое в нем, корыстное.

— Напрасно ты так.

— Не будем об этом, — решительно прервал его Платон. — Я для тебя все это написал. И для нее...

Денис, сгорбившись, слушал его, ожидая, что он скажет что-то самое главное, самое существенное.

— Я вот что тебе хочу сказать, — с трудом начал Платон. — Ты ее не бросай, Фаю. Она — великая женщина, великая. Таких, может, на всей земле одна. Спросишь почему? Я и сам не знаю. Знаю, что великая, что единственная — и все.

Платон надолго умолк, прикрыв глаза. Денис тоже молчал — его будто сковало тисками. Что он скажет еще, этот своенравный, так и не понятый им человек?

— И ты не усмехайся над моими словами, ты пойми их, душой пойми, — снова заговорил Платон. — Небось думаешь: вот, влюбленный идиот, ничего не видит, ничего не шурупит. Возлюбленную свою прославляет, великой ее объявил, а она, эта возлюбленная, сколько раз уже предала его, на костре сожгла и пепел развеяла...

Он едва не задохнулся от нахлынувших на него чувств, но тут же вновь сжался, как перед прыжком в бездну.

— И все равно — проклинаю и люблю, можешь ты это понять?

— Могу...

— Нет, не можешь! — почти выкрикнул Платон. — В чем ее величие? В том, что в любви для нее только один человек на всей земле существует? Но разве она единственная такая? В том, что сострадать умеет? А сколько женщин, которые, сострадая, на подвиг способны пой-

ти? Так в чем же величие ее? Убей меня, ответить на этот вопрос не могу. А только с того дня, как живу с ней, других женщин не знаю и знать не хочу...

— Прости меня, Платон. Прости, — сдавленно, чувствуя себя клятвоотступником, прошептал Денис.

— И потому прошу тебя, — будто не расслышав слов Дениса, продолжал Платон. — Очень я тебя прошу — не покидай ее. Не покидай до самого смертного своего часа... Она не как все. Она не выдержит, если покинешь. Можешь ты это понять?

Платон вскинул горячечные глаза на Дениса, как бы желая даже в молчании его услышать ответ на свою просьбу, похожую на заклинание.

— Молчишь... — сурово заключил он. — А только запомни: теперь только ты за нее в ответе. — Он снова надолго замолк и, как бы очнувшись от страха, нависшего над ним, спросил уже спокойно: — Ты Артема моего видел?

— Нет, не довелось.

— На заставе он. Тут близко. Может, заглянешь к нему?

— Загляну.

— Спасать его надо. Понимаешь, спасать.

— Случилось что? Заболел?

— Заболел. Только непонятной болезнью. Второй год как служит, а уже увольняться собрался. Это как же понимать? Его четыре года государство учило, погоны на плечи с двумя звездочками надело. Доверие оказало, а он с границы дезертировать надумал. Рапорта строчит, благо читать и писать научили, бумаги и чернил вдосталь. Может, направишь его на истинный путь?

— Попробую, — согласился Денис, радуясь, что разговор перешел в другое русло.

— А главное, тебе, как журналисту, интересно там будет побывать. Когда еще доведется. Я вот, знаешь, как жалею, что мало по земле поездил, считай, что и не повидал ничего. Поползал — это вволю там, на фронте, капитально, по-пластунски. А в мирное время даже в Рязани не был.

— Я тоже не был, — подхватил Денис. — Полсвета облетал, а в Рязани не был.

— А зря. Вот и на Кубань мы с тобой так и не собрались. Я бы сейчас за детство всю свою прожитую жизнь отдал. И оставшуюся... Вот лежу тут и думаю.

Много думаю, капитально. Самое непоправимое в том, что мы время не ценим. Как деньги, когда их много. А надо ценить! Минуты, секунды. Вычитал где-то: каждую минуту на нашем шарике рождается двести человек.

— И в тот же миг на уничтожение каждого новорожденного тратится две тысячи долларов, — жестко добавил Денис.

— Понимаешь, зла не хватает, — возмущенно сказал Платон. — А что до меня, так я бы всех, кто ратует за войну, со всей планеты в одно место собрал, да и шандарахнул по ним хорошей бомбочкой, капитально.

— Так же мудро, как и наивно, — улыбнулся Денис.

— А что делать? — запальчиво спросил Платон. — Не обуздаем их, так эта расчудеснейшая планета станет такой же, как Луна, — одна лунная пыль и никакой радости. Ты не задумывался: что будет, если какой-нибудь дотошный конструкторишко ради того, чтобы мир удивить, а то и просто желая себя потешить, сообразит этакую маленькую элегантненькую штучку-дрючку — атомный пистолет? В качестве личного оружия. Тогда как? Каким международным соглашением ты его запретишь?

Денис не очень внимательно слушал Платона, но все время думал о Фае, которая в вестибюле больницы ждала, когда он выйдет из палаты. И все же не мог не поражаться тому, что Платон, уже приговоренный врачами к смерти и, видимо, сам сознающий, что неминуемо идет к своей последней черте, способен сейчас думать и размышлять о мировых проблемах, забывая о своей собственной судьбе.

— А вот тебе сюжетик, — вдруг открыл глаза Платон, и они засияли у него, как прежде, в молодости. — Живет человек, который способен продлевать жизнь другим. Или исцелять от любой болезни. Один-разъединственный на всей Земле. И вдруг люди узнают, что он, этот волшебник, должен умереть или исчезнуть. Или его собираются выкрасть марсиане, поскольку он им тоже позарез нужен. Представляешь, что будет?

— Представляю, — автоматически ответил Денис, удивляясь не тому, что Платон высказал нечто фантастическое, а тому, что из души его вырвалась такая необычная мольба о спасении, жажда жить.

— Какая чушь! — почти радостно воскликнул Платон, качая тяжелой головой и как бы отгоняя от себя назойливое, неприятное видение. — Какая чушь! Гута-

рю, — Денис поймал себя на мысли, что на язык Платону вдруг попало забытое казачье словечко и что у него с годами выветрилось это колоритное, ядреное наречие. — Гутарю бог знает о чем, а главное все отбрасываю на потом. Видал, как роскошно живу, капитально. Совсем позабыл о пространстве, о времени. А ведь они суть материя. — Он помолчал, прикрывая глаза, и вдруг продолжил ожесточенно и резко: — Видишь, Денис, как далеко я упрятал ее, дальше некуда, дальше — край света и пропасть и ад, ну и что из того, что? Вот увези я ее сюда, скажем, в девятнадцатом веке, когда бы вы свиделись? Сколько бы в кибитке пришлось трястись, какими злыми морозами морозиться, от дюжих жандармов скрываться... А теперь? Теперь все спрессовалось, и шарик наш совсем крохотный стал, как детский мячик. Все стало другим, все. Разве что морозы такие же остались...

Денис молчал, потому что из многих мыслей, проносившихся в голове, и из многих слов, которые просились на язык, не было таких, которые хотя бы чуточку помогли этому трудному, нескладному разговору.

— Пытался я здесь читать Достоевского, — глядя теперь в лицо Дениса, сказал Платон. — Медленно читал. Две страницы в день, больше не получалось. То вроде бы силы в тебе — на века, а то вдруг как пулей сраженный. Человек у него во мраке живет, истязают его, и он сам себя истязает. И до того этот Федор Михайлович тебя доведет, что жизнь проклянешь, и не просто так, вроде бы отрешенно, походя, нет — с радостью проклянешь, с исступленной радостью. Я все думал: зачем он так? Долго бился над этим вопросом. И вдруг озарило: появись в таком вот дьявольском мраке хоть краешек солнца — и человек счастлив! А когда все время солнце светит, и ни единой тучки, и ни ветерка — он второе солнце потребует, ему все мало!

Платон вдруг рывком приподнялся на подушках.

— Скажи, Денис, почему мы, как звезды, вспыхиваем и сгораем? Кто объяснит нам тайну рождения и смерти? Человечество возомнило, что оно всесильно — какая гордыня! Чем человек отличается от обыкновенного муравья?

— И все же человек велик, — мягко возразил Денис.

— Велик? — с яростью в голосе переспросил Платон. — Зачем же и ты... Зачем? Твои глаза не способны видеть в ультрафиолетовой части спектра. Ты не уме-

ешь видеть в темноте, как это умеет обыкновенная сова. Ты не можешь воспринимать ультразвуки, как это может дельфин. Ты не способен ощущать магнитное поле, как это ощущает самый растреклятый комар. Кстати, ты знаешь, какие здесь комары? Голенище ялового сапога насквозь прожигают. А собака? Собака превосходит тебя в обонянии, ясно? И после этого ты говоришь, что человек велик?

— Мозг! — воскликнул Денис. — Человеческий мозг — это высшая ценность природы.

— Мозг... — с грустью повторил Платон. — Разве что мозг... Мыслит человек. И смертные муки от тех мыслей... — Он вдруг без всякого перехода расхохотался — молодо и задорно. — Ни черта, Денисушка, мы еще подышим ветром, помнишь, как тогда, на кургане.

Денис вздрогнул. Всегда, в любое время воспоминания детства обдавали его душу светлой грустью, как все прекрасное, что осталось далеко позади и стало недосягаемым и невозвратимым. А сейчас слова Платона о кургане силой какого-то неземного волшебства мгновенно перенесли его в тот день, именно в тот день и час, когда они вдвоем взбежали на курган с хохотом, с восторженными криками, а взбежав, остановились на нем, полные счастья. Шальной степной ветер, тот самый ветер, который от кавказских предгорий несет в стéпи дыхание снежных вершин, несет, не встречая преград, высокая — выше их мальчишеских плеч — буйная трава, жаркое солнце над бескрайним — куда ни поверни голову — ошеломляющим простором, — все то, что постоянно окружало их и было хорошо знакомо, вдруг открылось им совсем по-иному — во всем своем величии, красоте и значении. Будто именно отсюда, с этого кургана, должна была начаться для них какая-то совершенно новая, еще незнакомая и непознанная, но дьявольски прекрасная, заманчивая и потрясающе интересная жизнь. Все вдруг стало другим — значительным и необходимым. Так и стояли они на том кургане — улыбчивые, разгоряченные солнцем и стремительным бегом, безмолвные и потрясенные своим открытием мира — большого, зовущего и таинственного. Подчиняясь какой-то непостижимости, отринулось прочь все, чем жили они до этой минуты, — детские шалости, веселые игры, задиристые драки, рыбалка, школа, друзья, родители, — и на смену этому пришла тревожная и радостная мысль о том, что они уже юноши, пришла

пора стать на собственные ноги, чтобы идти в жизнь, полную неизвестности и новых открытий. Да, не зря, вовсе не зря вспомнил сейчас об этих минутах и об этом кургане Платон...

— Помню, Платон, очень хорошо помню, будто все это сейчас, ну совсем будто сейчас, — растроганно сказал Денис.

— А знаешь, Денис, я ее, эту свою проклятущую болезнь, все равно одолею. Не может того быть, чтобы я ее не одолел. Неужто она, зараза треклятая, сильнее человека? Расправлюсь я с ней, помяни мое слово. Не хочу в этой больничной кровати жизнь свою не за понюх табаку отдавать. Знаешь пословицу: не рад больной и золотой постельке? Встану вот на ноги — и снова в тундру, на безбрежный простор. Руду искать! Ты знаешь, Денис, как она мне, тундра здешняя, степь напоминает! Помирать, так с музыкой — это, брат, совсем другой разговор. Верю я в свою судьбу. Прочитал тут книгу одну, о Наполеоне. Везучий был человек! Под ядрами стоял! А еще такой случай был. Бомба неподалеку от солдат упала. Так он пришпорил коня, подъехал, дал ему понюхать горящий фитиль, дождался взрыва. Взлетел в воздух, конь погиб, а Наполеон хоть бы что. Хвастался: «На той пуле, что меня убьет, будет начертано мое имя». Каков молодчик, а? Завидую таким.

— Ты успокойся, Платон, тебе вредно, — пытался остановить его Денис.

— Распрощаюсь с этим богоугодным заведением — совсем по-другому жить начну, — задумчиво продолжал Платон. — С нулевой отметки. Правда, поздновато уже, но начну. Какой это мудрец сказал: опыт приходит со скоростью уходящих лет. А скорость у них какая-то космическая. Зато я теперь каждую секунду знаешь как ценю? Ого-го! Ведь если вдуматься — жизнь из секунд состоит. А как мы расточительны, как возмутительно расточительны! Сложи-ка все часы, которые мы проводим в бездействии, в лени, в празднествах, в перепалках, в пустопорожних разговорах, в бесплодных мечтаниях, в никчемных деяниях, — ей-богу, больше половины жизни получится. А прибавь к этому те часы, что бесследно исчезают во сне, — да это чуть ли не вся жизнь! Завидую тем, кто одержим одной страстью, одной целью, кого даже наедине с любимой вдруг озаряет радость открытия. Он — счастливейший человек!..

Платон вдруг оборвал себя на полуслове, замер, напряженно вглядываясь в проем двери. Там неслышно и внезапно появилась Фая. Нервный и пристальный взгляд Платона обжигал ее, но она медленно и неотвратимо шла к его кровати, не отводя больших удивленно-радостных глаз, в которых, переборов все остальные чувства, отчетливо и искренне светилось лишь ожидание чуда.

— Фая, — просто и обыденно сказал Платон, будто все это происходило в отсутствие Дениса и не здесь, в больничной палате, а у себя дома. — Фая, ты опять пришла. Я же просил тебя, Фая. У тебя диссертация. Чего ты ходишь? У меня все в порядке, капитально. Видишь, создали прекрасные условия, перевели в отдельную палату.

При этих словах Фая тяжело опустилась на белый больничный стул и отвела глаза, чтобы Платон не увидел слез. И только в этот момент до сознания Дениса дошел страшный смысл этих слов: «перевели в отдельную палату».

Фая мягко положила свою ладонь на худую костлявую ладонь Платона, и в сердце Дениса вдруг хлынул весь ужас того, что происходило сейчас в этой крохотной тихой палате, в которой стояла всего лишь одна кровать, и в этой кровати лежал лишь один человек, тот самый человек, жизнь которого он, Денис, так вероломно разрушил. Зачем же он прилетел сюда, зачем, бросая вызов им обоим, здесь появилась Фая, появилась так, словно ничего не произошло, будто все в жизни остается так, как было всегда, и будто все сейчас сосредоточено лишь на том, чтобы спасти Платона. «Это кощунство, это подло, — казнил Денис самого себя. — Да, это гнусно и подло, и если все это нам повелевает делать любовь, то и она сама тоже подлость и гнусность».

— При чем тут диссертация? Ну какое отношение к тому, что я прихожу к тебе, имеет эта моя диссертация? — между тем в тон Платону говорила Фая, радуясь, что слезы быстро высохли у нее на щеке и Платон не успел заметить их. — Когда я вижу, что ты бодр и что здоровье твое идет на поправку, у меня и диссертация лучше пишется. Честное слово.

— Я верю, верю, — как-то по-особенному молодо улыбнулся Платон. — Только ты не преувеличивай моего влияния. Просто ты вросла в тему, капитально.

— Нет, еще не вросла, — огорченно сказала Фая. —

Вот поправишься, отпустишь меня в Болгарию. Надо побывать в Чирпане, в городе, где родился Яворов. Без этого совесть не позволяет считать работу завершенной. Нет, это только начало.

— Отпустишь... — грустно повторил ее слово Платон. — Вольному воля. Да ты не жди, прошу тебя, не жди, пока я с этой проклятой койкой расстанусь. Лети сейчас. Тебе это нужно, ты этим живешь. А я выкарабкаюсь, вот увидишь.

Фая молчала, боясь, что, если заговорит, голос ее сорвется. Они, казалось, совсем забыли сейчас о Денисе, и он испытывал чувство взволнованной радости, слушая то, что они говорили друг другу, так, будто он, Денис, и не существовал вовсе. Теперь, в эти минуты, он мысленно дал себе слово уйти из их жизни, уйти незаметно и навсегда.

— Есть у меня к тебе еще один разговор, — приглушенно, будто кто-то стиснул его горло, сказал Платон. — Не знаю, как его и начать...

Платон осекся, отвел горячечные, странно блуждающие глаза в сторону, к стене, и Денис терпеливо ждал, когда он снова заговорит.

— Ты помнишь моего отца? — натужно говорил Платон, все так же не глядя на Дениса, словно боялся, что тот увидит его страдальческие, ждущие ответа глаза.

— Жив твой отец, — твердо сказал Денис, заставив себя открыть Платону правду.

— Жив?! — Платон вздыбился над высокой подушкой, и снова Дениса опалили жаром его шальные, с безуминкой, глаза. — И ты до сих пор молчал?

— Да, жив, — упрямо повторил Денис. — И я с ним говорил недавно. В Москве. А живет он в ФРГ, в Мюнхене.

— Так, понятно... — чувствуя, как силы покидают его, устало и отрешенно протянул Платон. — Значит, в Мюнхене...

— Вспоминал о тебе, мается, что все так повернулось. По всему видать, жизнь его не балует, а повернуть назад — пути нет.

— Я так и думал, — устало сказал Платон. — Очень это логично... Перед Советской властью он еще тогда, в Михайловской, был виноват. Да я-то не знал. Был момент, заподозрил неладное, так он меня, сопляка, вокруг пальца обвел. Такой спектакль разыграл... Ведь он меня

подговорил, — Платон рывком приблизил свое лицо к Денису, и тот видел сейчас каждую жесткую щетинку на его небритом пожелтевшем лице. — Он подговорил, чтобы я его при всем честном народе как врага выставил. Это, говорит, для тебя как трамплин будет, а я перебьюсь. И я пошел на это, понимаешь, пошел!

Платон отвернулся, но и сейчас Денис видел мученическую гримасу на его худом, вытянувшемся лице. Что-то схожее с сопричастностью к беде Платона отозвалось в сердце Дениса, он раскаивался в том, что разбередил его, заставил его страдать...

— Ну что ты, что... — почти ласково проговорил Денис. — Не терзай свое сердце, успокойся. Все это уже история, все потухло и пеплом покрылось. Все позади...

— Нет! — исступленно воскликнул Платон. — Не позади! И пеплом не покрылось! Ничто не проходит, нет! Все остается с человеком — и горечь остается. Только с годами горечь эта как соль на живую рану. И никакой нынешней радостью ее не заглушить. Это я тебе точно говорю, потому как сам на своем горбу изведал, капитально... Откуда же оно, счастье, после всего, что было, возьмется? Счастье, брат Денисушка, не выгорюешь...

Платон надолго замолчал, будто забыл о том, что Денис терпеливо сидит на стуле рядом с его койкой. Денис полуобернулся к Фае, как бы советуясь с ней — не пора ли уйти.

— Тебе нельзя волноваться, Платон, — тихо сказала Фая. — Лучше мы уйдем. Сестра уже два раза в дверь заглядывала.

— Нельзя волноваться, — горько усмехнулся Платон. — А где ты видела такую жизнь, чтоб не волноваться? Может, человек только тогда и живет по-настоящему, когда волнуется? Не уходите пока, я еще не всю душу излил. А когда вот так, как я, лежишь один, и вправду поверишь, что нет на всей земле ни души. Сердце может взорваться, когда тебя думы одолевают, за горло душат, а слова сказать некому...

Фая очистила от толстой кожуры апельсин, разделила его на дольки, протянула к сухим губам Платона. Тот взял дольку в рот, медленно, безучастно разжевал. В палате остро запахло апельсинами.

— Денис привез, — пытаясь отвлечь Платона от обуревавших его мыслей, сказала Фая. — И арбуз привез. Огромный. Завтра я тебе принесу.

— Не надо, — остановил ее Платон и повернулся к Денису. — Арбуз, если нетрудно, отвези Артему. Там, на острове, это будет событие. Всей заставой полакомятся.

— Конечно, отвезу, — поспешно отозвался Денис. — Действительно, это будет событие.

— Добрый ты человек, Денис, — задумчиво проговорил Платон. — Очень добрый.

Ничто не ужалило бы Дениса так чувствительно, как эти слова Платона, произнесенные сейчас искренне, без скрытого намека или издевки.

— Нет! — уничтожающе по отношению к самому себе, жестко и непримиримо воскликнул Денис. — Не добрый я, Платон. Страшный я человек, страшный!

Он вдруг вскочил со стула и, закрыв лицо дрожащими ладонями, отошел к глухой стене, куда едва пробивался свет. Фая бросила стремительный, полный отчаяния взгляд на Дениса, потом на Платона и выбежала из палаты...

— Вот и правильно, что ушла, — как бы говоря эти слова самому себе, протянул Платон. — Незачем ей здесь быть. Нам поговорить надо...

Денис слушал его, притулившись плечом к стене.

— Значит, говоришь, в Мюнхене он? — неожиданно резко повернул разговор на другую тему Платон. — Так я и предполагал, сердцем чуял, капитально. Об одном не жалею, что отрекся от него. Отрекся... Отрекайся не отрекайся, а от того, что он меня породил, — от этого куда уйдешь, куда скроешься? Какой силой омерзение это из себя вырвешь? Еще надежда теплилась — думал, что на войне сгинул этот страшный человек. Так нет, таких и война не берет. Такие и в чуму выживут, и в пекле не сгорят. — Платон осекся, жадно хватнул воздуха открытым ртом. — И то, что такие в Мюнхене, — это, Денисушка, страшно. Такие мирового пожара жаждут. А чем палить — пушкой ли, ракетой ли — им все едино — лишь бы палить. Помнишь, власовцы на фронте что делали? По жестокости самих фашистов перещеголяли.

Денис вернулся на свое место, боясь, что Платон заметит его еще мокрые, покрасневшие глаза.

— Фронт я часто вспоминаю, — негромко сказал Денис.

— Фронт... Сколько лет уже в мире живем, а фронт и сегодня остался, — убежденно сказал Платон. — Без вы-

стрелов, а все равно фронт. Два мира на шарике, а значит, фронт. И знаешь, Денисушка, может, и я не в ту сторону гну, но не слишком ли много мы голубей пускаем? А потому такой, как Артем, вымахает в сажень ростом и мыслит, что мир ему на блюдечке с золотой каемочкой кто-то преподнесет. Блаженствует под мирным солнышком, благодушием своим упивается. Помнишь, как мы мечтали в военное училище попасть? За высшее счастье почитали! Артему моему, оказывается, служба на границе в тягость. Возмутительно это! Здоров, ему в космос хоть сегодня можно лететь, а он уже об отдыхе гутарит. И таких немало.

— Не могу с тобой согласиться, — спокойно, без запальчивости сказал Денис. — Ты бы письма одного парня с Камчатки прочитал. Моей дочке пишет. Тоже на границе служит. И в свое дело влюблен.

— Побольше бы таких, — упрямо продолжал Платон. — А иные только гривы пораспустили, поп-музыкой всякой ублажаются. Служба в армии им — годы, вычеркнутые из жизни. А ты тоже виноват! — еще громче выкрикнул Платон. — Журнал твой как называется? «Мужество»? Так учи мужеству, учи героизму! А ты чему учишь? Всякие «Алые паруса», «Голубые залы», «Веселые и находчивые» на своих страницах развел. Байки разные печатаешь, хохмочки, анкеты дурацкие. Письмишки глупые обсуждаешь: «Я его люблю, а он меня не любит, посоветуйте, как мне быть...» А результат? О народном герое Василии Ивановиче Чапаеве анекдоты дурацкие насочиняли. Думаешь, случайно это? Идеологическая диверсия, капитально! Попытка героя народного, человека из легенды, в сознании таких, как мой Артем, развенчать. Мы с тобой сколько раз на «Чапаева» бегали?

— Я восемь, — улыбнулся Денис, чувствуя, каким теплом отозвалось в его душе одно из ярких воспоминаний о детстве.

— А я тринадцать! — с гордостью сказал Платон. — А на какую картину сейчас по тринадцать раз бегают? Нет такой картины! Забыли, что героизму учить надо, что сегодня голубь над головой, а завтра — ястреб!

— В тридцать девятом я в Москве был проездом, — снова отдался воспоминаниям Денис. — Увидел на вокзале пограничника. На гимнастерке у него медаль «За отвагу» была. Так я за ним по пятам ходил.

— А чего ж ты свой журнал таким пустым сделал? —

накинулся на него Платон. — Дегероизацией заболел? Много ветеранов у тебя выступает? Разве что ко Дню Победы.

— Критика справедливая.

— Помню, до войны в Карацупу играли. В Чапаева. Газеты учили нас бдительности. Песни какие пели. А ты послушай, какие сейчас песни солдаты в строю поют: «Отслужу два года и вернусь!» Беспечность это наша, и виноваты во всем мы сами — старшее поколение! Устали мы от выстрелов, от бомбежек, на гибель людей насмотрелись, сами едва живыми из этого ада выбрались — вот и размечтались, детишек своих от всех этих мук уберечь. Мужество — лучшая им защита, а не родительский зонтик над головой. Кто виноват в том, что Артем норовит военную форму сбросить? Я виноват! Целиком и полностью. От всех невзгод его оберегал, прихотям разным потакал, за ручку водил. Вот и вырастил защитничка.

— Не петушись, — умиротворенно сказал Денис. — Все еще образуется, поймет твой Артем, что к чему. Мы с тобой разве не ошибались? Еще как ошибались!

— Все верно, — немного смягчаясь, продолжал Платон. — А только круто менять наше воспитание нужно. Иначе как бы потом не раскаяться. Ты думаешь, Америка изменилась? Мечтает, чтоб всех в упряжку, а самой на колеснице восседать, да еще с кнутом. Я вот все думаю, чего это она такая воинственная, чуть что, ихний президент грозит всем, атомной бомбой размахивает? Пороху они не нюхали, вот в чем вопрос. А если бы хоть разочек им довелось свои разрушенные небоскребы восстанавливать — познали бы, почем фунт лиха...

Платон сомкнул усталые глаза, как бы давая понять Денису, что больше не в состоянии продолжать эту затянувшуюся беседу.

Денис тихо поднялся со стула.

— Я пойду, — сказал он. — Поправляйся, Платон. И главное — гони от себя дурные мысли. Завтра я полечу к Артему, если погода позволит. Что ему передать?

— Передай, что думаю о нем и надеюсь, что не уйдет с заставы, — не открывая глаз, сказал Платон. В голосе его впервые за весь разговор проступили тепло и ласка. — Скажи, что отец выкарабкается...

Он помолчал несколько минут и, чувствуя, что Денис все еще стоит у койки, устало добавил:

— Вот так-то, Денисушка. Вчера не догонишь, а от завтра не уйдешь. Прочитал я как-то такие слова: бойся жить, а умирать не бойся. Мудро сказано...

6

Подходило время отпуска, и Денис мечтал провести его где-нибудь вдали от шумного города, от людей и всего того, что взваливает на человека цивилизация. Часто Денису даже снился остров с березовой рощей, с тихими бухтами и глубокими омутами. Остров, где нет больше ни единого человека, кроме него, Дениса, нет ни радио, ни газетных киосков и как предел мечты — нет ящика с голубым экраном, который так ненасытно пожирает время. Нет всего этого, а есть река, лес, небо, есть воздух и негромкие посвисты птиц, отблеск дальних зарниц и багровое солнце, неслышно опускающееся в воду, есть луна, плывущая над березами и поочередно зажигающая каждую из них, как зажигают праздничные свечи. И наконец, есть желанное чувство слияния человеческой души с природой.

Лида позвонила ему на работу как раз в тот момент, когда, оставшись на короткое время наедине со своими мыслями, Денис думал об отпуске. Слушая Лиду, он не пытался вставить в поток ее взволнованных слов ничего своего, так как это не изменило бы того, что уже за него продумала и предрешила жена. Она говорила о болезни дочери, о необходимости везти ее в Карловы Вары, подчеркнуто обходя все, что касалось лично ее самой.

«Какие неожиданности, однако, таят в себе телефонные звонки, — отметил про себя Денис, пытаясь понять смысл того, о чем ему говорила Лида. — И какую силу! Бывают звонки, которые делают переворот в человеческой судьбе!»

— Ты меня слушаешь? — вдруг спросила жена, обеспокоенная его молчанием.

— Да, да, конечно...

— И как ты на это смотришь? — строго спросила она, будто была уверена, что он ответит отказом или же начнет неуклюже искать причины, из-за которых не сможет выполнить ее просьбу. — Хотя бы раз в жизни пожертвуй собой ради детей, — не преминула упрекнуть его Лида. — Впрочем, что спрашивать с отцов? Только мы, матери, способны на самопожертвование. Я живу ради своих де-

тей, и только ради них. А думаешь, не могла бы, как некоторые, заняться собой? — Голос ее осекся, будто ей не хватало воздуха, чтобы продолжать говорить все в том же настойчивом и возбужденном тоне, и она, помолчав немного, воскликнула: — Дочь надо спасать!

Денис понял, что все его мечты о необитаемом острове, где нет ни поездов, ни машин, ни людей, над которым не проносится ни один самолет, рушатся, как горный обвал. Да и какой, к дьяволу, отдых, если, говоря словами Лиды, надо спасать Надю. Теперь главное — достать путевки, и, как настоятельно рекомендовала Лида, именно в Карловы Вары.

Денис всегда был убежден, что лечить желудочные болезни можно с успехом и у себя где-нибудь в Ессентуках, Железноводске, в Миргороде и что стремление попасть обязательно в Карловы Вары — просто блажь, причуда и погоня за модой. Но просьба Лиды была столь определенна, а отзывы людей, уже побывавших в Карловых Варах, столь восторженны, что Денис постепенно и сам начинал верить в то, что помочь дочери можно только там.

Поезд до Карловых Вар уходил с Белорусского вокзала поздно ночью. Весь день моросил дождь, и потому ночь была влажной и душной. Разноцветные огни суетливо мигали, отражаясь в еще не высохших лужицах. Цвела липа, и ее едва ощутимый, приглушенный дождем запах доносился к перрону со стороны улицы Горького. Денис взял чемодан дочери, и они медленно пошли вдоль стоявшего у перрона состава к своему вагону.

Как всегда, на вокзальном перроне у Дениса возникло щемящее чувство тоски. Вокзалы и аэропорты уже в течение многих лет стали для него символом разлук, в нем глубоко затаилась неприязнь к самолетам, жаждущим поскорее оторваться от взлетной полосы и взмыть в безбрежный океан, к поездам, смиренно стоявшим у платформ, но ждущим только сигнала, чтобы забвенно стучать колесами, дышать тугими порывами чужих ветров, мчаться в звенящей мгле навстречу неизведанным пространствам.

Денис поднял голову, надеясь увидеть небо, но навес платформы прочно скрывал его.

— Ты не рад, что едешь со мной? — встревоженно спросила дочь. — Я нарушила все твои планы?

— Нет, нет, что ты, — поспешно ответил он. — Ты не думай об этом.

Надя долго молчала и вдруг задала ему вопрос, которого он не ожидал:

— Папа, скажи, ты действительно очень любишь ее?

— Кого? — скорее по инерции переспросил он, сознавая, что выглядит сейчас не только глупым, но и неискренним.

— Эту женщину, — почти шепотом произнесла Надя.

— Не надо об этом, — умоляюще попросил Денис.

— Прости. Но мне это необходимо знать.

Денис молчал, а потом сказал тихо, как бы самому себе:

— Пойдем в вагон. Уже началась посадка.

— Сейчас. — Жалко и виновато взглянув на отца, дочь почти бегом устремилась к своему вагону.

Ночью Денис спал беспокойно, то и дело в памяти возникали странные вопросы дочери, он искал и не находил на них ответа. Смутная тревога за детей, их будущее не уходила. Денис ворочался, приоткрывал оконную штору, надеясь по каким-нибудь признакам понять, где идет их поезд, и снова забывался в коротком сне.

Брест встретил их солнцем. Пока состав переводили с широкой колеи на узкую, Денис с дочерью присоединились к экскурсии, направлявшейся в крепость. Денис был здесь впервые спустя пять лет после войны. Тогда особенно зримо впечатались в его сознание руины ярко-красного кирпича, того кирпича, из которого еще в прошлом веке руками умельцев возводились эти стены и форты. Война пыталась протаранить крепость силой фашистского войска, но там, где не выдержал, рушась и плавясь, кирпич, выдержали люди.

Тогда, вскоре после войны, Дениса поразили то спокойствие и умиротворенность, которые как бы излучала собой разрушенная крепость. Она напоминала израненного человека, который, несмотря на мучительную боль не заживших еще ран, знает, что война кончилась и солнце над головой уже не заслонит черные крылья хищных самолетов. Если бы не щербатые отметины, оспой избороздившие кирпичные стены, если бы не тронутые ржавчиной каски, зияющие рваными отверстиями, если бы не груды кирпича и не гильзы снарядов, позеленевшие от сырости, и если бы не документы и фотографии на стендах полутемных залов создававшегося музея, трудно было бы поверить, что здесь,

в этой притихшей, будто притаившейся на острове крепости, гремел бой, рвались снаряды, гибли люди...

«Неужели созидание немыслимо без разрушения? — настойчиво спрашивал себя Денис, глядя на руины крепости. — Неужели люди строят, чтобы разрушать, и разрушают, чтобы строить? И чем объяснить, что процесс созидания долог, тернист и мучителен, что он требует огромных усилий человеческого мозга, мускулов и терпения, а процесс разрушения стремителен, безжалостен и для него достаточно злой воли и садистского желания разрушать? Удивительно, что и природе свойственна эта неутихающая страсть к разрушению; нет дня, чтобы на планете не было бы землетрясений или наводнений, ураганов или засух, горных обвалов или смерчей, снежных лавин или песчаных бурь.

Само рождение человека, как и рождение тонкого стебелька травы или тучи в предгрозовом небе, — это уже созидание. Но умирает человек, засыхает стебелек, тает в небесных просторах когда-то грозная туча — все это происходит, подчиняясь алчущей силе разрушения, — и снова природа руками своих невидимых мастеров созидает шедевры, которыми так богата земля. Каждый миг жизни, как и вся история человечества, — это непрерывная смена созидания и разрушения, но то, что происходит в природе, не во всем зависит от действий человека, а то, что мир порой внезапно разносит в клочья адское землетрясение войн, — всецело сопряжено с человеческой волей, подчинено ей и зависит от нее.

Было странно и необъяснимо, что именно здесь, в разрушенной Брестской крепости, Денисом овладели мысли о мире, простершемся не только над этими некогда грохотавшими, а сейчас притихшими руинами, но и над всей землей, над всеми государствами, над всеми людьми планеты.

Теперь, когда он приехал сюда вместе с дочерью, крепость была совсем другой. Высился, будто подпирая небо, граненый обелиск-штык, издали был виден изваянный из камня боец, изваянный так, что даже камень смог передать страдальческое, упрямое и гневное выражение его лица. Все стало величественным, торжественным и строгим, и все же Денис с щемящим чувством жалости вспомнил о том, какой была крепость тогда, сразу после войны. Та крепость — без мемориала, без мелодии, лившейся сейчас из динамика, взволновала его больше, чем эта, нынешняя, когда человек возомнил, что искусственно создан-

ные скульптуры сильнее потрясут воображение, чем сами скромные руины, чем израненные стены, похожие на израненных людей.

Дочь же искренне восхищалась мемориалом, и в ее глазах зажглось неподдельное удивление, когда отец сказал:

— Не знаю, кому как, а мне вот эта тропка говорит больше, чем иной обелиск. По ней ползли бойцы. По-пластунски. Чтобы зачерпнуть котелком воду в Мухавце. Ползли назад, в крепость, чтобы донести хоть глоток. Ты видишь — они и сейчас ползут.

— Сейчас? — Дочь с беспокойством посмотрела на Дениса.

— Сейчас... Тебе никогда не приходилось ползти попластунски?

— Нет. Никогда... — тихо ответила Надя.

— Вот и хорошо. Чтобы никогда не пришлось.

— Ну почему ты так? И ты, и все твое поколение. Вы только и умоляете: чтобы нам не довелось. Это похоже на заклинание. Но даже самые фанатичные заклинания всегда были бессильны перед судьбой.

— Это не заклинания. Это наша цель.

— И ты веришь, что на земле не появится новый Гитлер?

— Хочу верить. Вот мы проехали с тобой от Москвы до Бреста. И поедем дальше, до Праги. И весь этот путь устлан костьми наших бойцов... Этого не пережил ни один народ на земле. Если бы американцы пережили его, они бы ценили мир. Разве их матери рыдали, обезумев, над ребенком, которого фашист, подбросив над головой, расстреливал из автомата? Разве они собирали по кирпичику свои разрушенные небоскребы? Мой друг недавно был в Нью-Йорке, брал интервью прямо на улице у молодых парней и девушек. Из десяти только один сказал, что знает о Сталинграде.

Они подошли к площадке, на которой стояло несколько артиллерийских орудий. Денис подбежал к ним как к старым знакомым.

— Смотри, это пушка. Калибр семьдесят шесть миллиметров. А эта пушка-гаубица. Сто пятьдесят два миллиметра. Я начинал службу в таком артдивизионе. А вот и моя, родимая, — растроганно проговорил он, чувствуя, как спазмами перехватывает горло. — Гаубица... Моя гаубица...

Денис подошел к орудию, осторожно, словно боясь по-

тревожить, прикоснулся ладонью к горячему от солнечных лучей стволу и ощутил себя тем девятнадцатилетним пареньком, на той столь памятной огневой позиции на окраине заснеженной деревушки со странным названием Чернь. Увидел комбата Возвышаева. Увидел Платона перед строем батареи. Увидел Фаю, бегущую за ныряющими в сугробах санями...

Денис почти бессильно опустился на станину гаубицы. И, боясь, что дочь увидит его глаза, он отвернулся. Девушка стояла молча. Сейчас, когда отец встречался и прощался со своей юностью, она вдруг заметила, что он уже совсем не тот моложавый, неутомимый и неунывающий человек, каким она знала его прежде. Совсем не тот...

Взгляды их встретились, и Денис увидел добрые, все понимающие глаза дочери и с горечью подумал о ней почти то же, что и она о нем. Выросла дочь, выросла самостоятельно, без его влияния и опеки, и что тогда, когда она, видимо, очень нуждалась в нем как в человеке, который помог бы ей яснее и отчетливее взглянуть на мир, преодолеть сомнения и утвердиться в своих взглядах и убеждениях, он, отец, думал совсем другое и был занят совсем другим, а точнее, самим собой. И то, что она теперь, став взрослой, смотрела на мир так, как и нужно было на него смотреть, и то, что в нее не проникли бациллы инфантильности и скептицизма, — в этом не было никакой его заслуги.

— И еще мне захотелось сказать тебе, папа, — проникновенно, будто угадав его мысли, сказала Надя, но, прежде чем продолжить, смутилась и умолкла. — Знаешь, если бы не Брест, не эта крепость... — Она замялась, подыскивая необходимые слова... — Ну, короче говоря, ты всегда, даже когда тебя и не было дома, рядом... ты был для меня как огонек в ночи...

— Спасибо... — Денис растроганно обнял дочь и до боли прикусил нижнюю губу, чтобы не дать волю этому чувству: он и сам не мог терпеть слезливых мужчин. — Спасибо тебе...

Позже Денис не раз вспоминал это солнечное утро в Брестской крепости, эти откровения дочери, утро, в которое они ощутили духовное родство.

В Варшаву они приехали около двух часов дня. Здесь было еще жарче, чем в Бресте. Денис был взволнован. О том, что он будет проездом в Варшаве, знал его давний друг, редактор польского журнала Здислав. Конечно же,

он со своей женой Зосей обязательно приедет к поезду, чтобы повстречаться хотя бы накоротке.

Едва поезд остановился, Денис тут же увидел Здислава с Зосей.

За те пятнадцать минут, что стоял поезд, друзья успели многое: произнести тосты, выпить и закусить, обменяться друг с другом новостями, договориться об обмене материалами для своих родственных по профилю журналов и даже вспомнить веселые случаи из их предыдущих встреч.

Карловы Вары оказались старинным курортным городком, раскинувшимся по обе стороны узкой долины. Казалось чудом, что на скалах растут громадные деревья — дубы, сосны, бук, чинары. Внизу, в долине, бурлила река Тепла. Отсюда, с набережной, все выше и выше, едва ли не в поднебесье, карабкались дома, главным образом отели и пансионаты, отвоевывая друг у друга крохотные участки земли.

Колоннада с целебными источниками напоминала Кисловодск. Здесь так же было полно людей с длинноносыми кружками, так же город рассекала река, правда в Кисловодске их было две — Ольховка и Березовка, так же сияло солнце среди моря зеленых ветвей. Но было и то, что резко отличало Карловы Вары от Кисловодска, — это готическая архитектура зданий с именами древних богов и богинь на фасадах пансионатов. К тому же Кисловодск на своих взгорьях раскинулся привольнее, размашистее, а Карловы Вары, словно самими лесистыми горами, были стиснуты с двух сторон, и в этом умении чехов на крохотной площади возвести целый город ощущалось что-то волшебное, идущее от сказки.

Денис с дочерью поселились в доме отдыха «Мысливна», что в переводе на русский означало «Охотничья хижина». Дом забрался почти на самую вершину лесистого хребта, возвышавшегося над городом, и находился неподалеку от скалы с бронзовым олененком, приготовившимся к отчаянному прыжку. Скала называлась Олений скок. Тишина, нарушаемая лишь перекличкой птиц, шелестом листьев столетних дубов да эмоциональными всплесками чешской, немецкой и русской речи, когда мимо по тропинке шли еще выше в горы группы туристов, пришлась по душе Денису. Единственное, что огорчало его, — здесь не порыбачишь. В Тепле водилась форель, серебристыми молниями сверкавшая в хрустальной

воде, но ловить ее было нельзя. И потому Денис с дочерью целые дни проводили в городе.

Город был похож на музей под открытым небом. Кто только не побывал здесь, начиная с ушедших уже в историю лет и кончая нашим временем! Наверное, поэтому каждый день, бродя по все новым и новым улочкам Карловых Вар, Денис с дочерью совершали открытия. А потом вечерами у себя в номере Денис читал вслух книги и брошюры о Карловых Варах. Мысленно они шли по пути тех великих людей, которые, устав от праведных трудов своих и желая исцелиться от болезней, приезжали сюда, к этим волшебным источникам.

Всего источников было двенадцать. По преданию, Карл IV, охотясь в здешних местах, на одной из полян увидел оленя — огромного, темно-бурого, с богатырскими рогами. Луч солнца, проникавший через непроходимые заросли, золотил его гибкую, мощную спину. Карл в изумлении затаил дыхание, любуясь прекрасным оленем. И вдруг, не выдержав, почуяв добычу, нервно тявкнула охотничья собака. Карл мгновенно натянул тетиву лука, выстрелил. Просвистела стрела. Раненый олень вздрогнул и гигантским прыжком перелетел на другую скалу. Когда Карл со своей свитой, продираясь сквозь колючие заросли, подбежал к тому месту, куда скрылся олень, он увидел его барахтающимся в воде горячего ключа, тугой струей бившего из-под скалы. Еще мгновение — и исцелившийся олень исчез в зарослях, куда не могло пробиться даже солнце. Карл повелел ключ назвать Гейзером, а селение — Карловыми Варами.

Здесь побывало много великих людей — Петр Первый, генералиссимус Суворов, Гёте, Шиллер, Карл Маркс, Горький и Шаляпин, Рихард Зорге и Юлиус Фучик... Однажды, спускаясь из «Мысливны» к колоннаде, Денис остановился как вкопанный у одного из домов, мимо которого он уже проходил много раз. Дом этот ничем не выделялся среди других таких же старых строений, плотно прижавшихся друг к другу на этой улице, но сейчас Денис приметил на его стене небольшую и скромную мемориальную доску, прикрепленную под окном. На ней было написано: «Здесь жил Иван Сергеевич Тургенев в 1874 и 1875 годах».

И Денису почудилось, как дряхлеющий Тургенев с львиной гривой седых волос, мучаясь от приступов подагры, выходит из дома на костылях, чтобы увидеть восходя-

щее солнце. Что виделось ему там, за хребтами Крушных гор, о чем мечталось, о чем думалось? Виделось ли ему отсюда его родимое Спасское-Лутовиново, то самое, через которое война провела Дениса и вблизи которого он встретил Фаю, встретил, чтобы снова потерять ее в вихре жизни...

Однажды хмурым утром Денис с дочерью, совершив привычное путешествие к источникам, решили подняться на гору, возвышавшуюся над Теплой, к памятнику Петру Первому. Где по каменным ступенькам, а где по крутым извилистым тропкам, они поднялись к памятнику. Пожилой чех в пиджаке, на котором были прикреплены разноцветные колодочки орденов и медалей, на чистом русском языке рассказывал туристам о приезде в Карлсбад русского царя.

Приехал он сюда в почтовой карете, совсем больной.

В то же время в Карловых Варах существовало Стрелковое общество. Петр был метким стрелком и однажды получил первый приз — бочку самого лучшего вина.

Но Петр отказался принять награду и предложил продолжить соревнование на лучшего стрелка. Теперь победил карловарец Франц Брейтенфельдер. А он, в свою очередь, подарил приз — бочонок вина Стрелковому обществу. Общество продало бочонок с аукциона. Вырученные деньги были положены в банк, а проценты — двадцать восемь гульденов — почти в течение двух веков выплачивались Стрелковому обществу.

— Занятнейшая история... — громко сказал чей-то очень знакомый голос.

Денис посмотрел по сторонам, но не увидел ни одного знакомого лица.

Туристы схлынули со скалы, на которой высился памятник, их уже влекло к другому историческому объекту, а Денис с дочерью, обрадовавшись одиночеству, присели на скамье вблизи памятника.

Город, раскинувшийся где-то внизу, скрывало от глаз плотное полотно тумана.

— Мне чудится, будто мы где-то на небесах, — задумчиво проговорила дочь, чувствуя легкий озноб от сырости и потому плотнее прижимаясь к отцу.

— Так и должно быть, — сказал Денис. — Горы приближают человека к небесам. Но не спуститься ли нам с небес? Этот веселый гид так заманчиво изобразил бочо-

нок с вином, что и мне захотелось спуститься на набережную и пропустить стаканчик доброго десертного вина.

— И закусить тем цыпленком, который жарится на вертеле. Ты видел на витрине? — подхватила дочь.

— Решено! — воскликнул Денис.

Он не успел подняться со скамьи: совсем поблизости от них, скрытый ветвями каштана и туманом, вновь послышался тот самый голос, который поразил Дениса и показался ему очень знакомым. Человек, обладающий этим голосом, медленно, с глуховатой торжественностью читал строки Вяземского, высеченные на постаменте памятника:

Великий Петр, твой каждый след
Для сердца русского есть памятник священный,
И здесь, средь голых скал, твой образ незабвенный
Встает в лучах любви, и славы, и побед.

Человек умолк, и Денис прислушался, будто ждал, что дальнее эхо, отразившись от гор, снова вернет его голос сюда, на скалу, но вокруг было тихо.

— Кто это? — возбужденно спросила дочь, ощутив какую-то непонятную тревогу.

— Не знаю, — еще не веря в свою догадку, в смятении, пытаясь не выдать своего волнения, произнес Денис. — Ведь здесь никого не было... Пойдем отсюда...

И снова, будто не давая им уходить, раздался все тот же голос:

Нам святы о тебе преданья вековые,
Жизнь русская тобой озарена.
И памяти твоей великий Петр, верна
Твоя великая Россия!

Казалось, этот голос исходит из самой скалы. Денис вскочил со скамьи, крепко держа дочь за руку, и стремительно шагнул в сторону памятника. Навстречу ему из густого облака тумана медленно вышел человек в мягкой фетровой шляпе, с тяжелой тростью в руке. Денис всмотрелся в него, и первым желанием было круто повернуть назад и скрыться с глаз этого человека. Но тот уже подошел вплотную, учтиво приподнял двумя пальцами шляпу:

— Добрый день, господин Солнышкин...

Это был Петер Пферд, он же Петр Пантелеевич Степунин.

— Здравствуйте, — растерянно проговорил Денис.

— Вероятно, это очаровательное создание — ваша дочь? — спросил Степунин.

— Да, моя дочь, — холодно ответил Денис. — А вы приехали лечиться?

Он тут же пожалел, что своим вопросом может затянуть эту встречу, о возможности которой он не мог даже и предположить и которая ему была неприятна. Там, в Москве, он вынужден был принимать этого человека. Здесь же, на отдыхе, встреча со Степуниным была не только нежелательной, но и таила в себе нечто непредвиденное. Что-то противоестественное было в этой неожиданности, ставшей реальностью здесь в это туманное, промозглое утро.

— Лечиться мне уже поздно, — равнодушно сказал Степунин, и только сейчас, вглядевшись в его лицо, Денис заметил, как он обрюзг и постарел. — Да и не к чему. Чем больше я смотрю на эти толпы людей, желающих исцелиться, тем сильнее меня гложет вопрос: зачем? Какую цель преследуют люди, стремящиеся исцелиться? Чтобы умереть здоровыми?

— Я привез сюда на лечение свою дочь, — сердито сказал Денис.

— Простите великодушно, — снова приподнял шляпу Степунин. — Я как-то не подумал об этом. Обстоятельства сложились так, что я давно лишен возможности проявлять заботу о своих детях. Простите меня еще раз за столь внезапное вторжение в вашу жизнь. Не скрою, я искал этой встречи. Понимаю, что в вашей душе нет чувства радости при виде моей персоны, но, поверьте, я не мог поступить иначе.

— Не понимаю, к чему нам этот, в сущности, бесцельный разговор, — все так же отчужденно произнес Денис, чувствуя, как настойчиво тянет его за рукав пиджака дочь. — Нам остается попрощаться с вами...

— Нет! — испуганно воскликнул Степунин, и в голосе его прозвучало искреннее отчаяние. — Я слышал, вы собирались пойти погреться вином. Ради всего святого, позвольте мне побыть с вами хоть несколько минут. И вы поймете, что значит для меня эта встреча!

В черных, ввалившихся глазах Степунина была такая мольба, что Денис понял, что им не отвязаться сейчас от этого человека, и решил, что они спустятся в ближайшую таверну, угостят его вином и под удобным предлогом уйдут.

— Мы очень спешим, — уже мягче сказал Денис. —

И потому действительно сможем уделить вам лишь несколько минут.

— Сердечно вам признателен, — в низком поклоне склонился Степунин. — Бывают минуты, равные вечности.

Спускались они долго. И не столько из-за густого тумана, сколько из-за того, что тучный Степунин, грузно опираясь на трость, переступал со ступеньки на ступеньку и все время отставал. Он молчал, но по его тяжелому дыханию чувствовалось, что он боится, как бы Денис и Надя, воспользовавшись его неповоротливостью, не исчезли в непроглядном тумане.

— Кто он? — с тревогой спросила дочь, когда они оказались на некотором отдалении от Степунина. — Что ему надо от нас?

Денису не хотелось, чтобы дочь узнала о Степунине, поэтому он как бы между прочим сказал:

— Это журналист из ФРГ. Во время войны бежал из России. А несколько лет назад приезжал в Москву, и мне довелось принимать его у себя в редакции.

В таверне, расположившись у камина, в котором потрескивали угольки, они заказали вина и цыплят. Официант стремительно выполнил заказ. В маленьком зале тускло светили лампочки, имитирующие свечи, и вино в бокалах неярко горело рубиновым огнем.

— Позвольте мне по праву старшего произнести первый тост. — Голос Степунина звучал взволнованно. — Я хотел бы выпить за судьбу, которая подарила мне эту встречу. Это мое последнее свидание с Россией. Со всем, что я предал и растоптал...

Голова его затряслась, рука дрогнула, и он, боясь, что выронит бокал с вином, залпом осушил его, опалив Дениса и Надю взглядом сухих, совсем почерневших глаз.

Денис продолжал смотреть на него отчужденно и неприязненно. Странно, но несмотря на то, что покаянные слова в устах Степунина прозвучали искренне и что в них вовсе не чувствовалось тонко рассчитанной игры, несмотря на это, они не вызывали в душе Дениса ответной жалости. Нет, он никогда не был жестоким или равнодушным к чужим страданиям, более того, он воспринимал чужие страдания даже более мучительно, чем свои, но Степунин был исключением из правила. Он выбрал свой путь, тот самый путь, который сейчас проклинал, не по заблуждениям молодости или по незрелости, а по точно продуман-

ному и взвешенному расчету. У него было множество возможностей круто изменить свою судьбу, но он сознательно не пожелал ее изменить. Так почему он, Денис, должен был сейчас жалеть этого человека, наконец осознавшего, что всю жизнь он жил не так, как нужно.

Степунин быстро захмелел.

— Я выпил бы еще за свое собственное чутье, — хрипло проговорил он. — За чутье, как у немецкой овчарки. Да, да, как у овчарки, которая, как известно, различает четыреста запахов. Четыреста! Каким-то собачьим чутьем я почуял, что вы приедете в Карловы Вары, задолго до того, как вы появились здесь. И не ошибся! — Он громко захохотал, обнажая крепкие, по-молодому белые зубы. — Я каждый день ходил на вокзал к поезду и увидел вас, когда вы только выходили из вагона. Ходил следом за вами. А подойти не решался.

— Почему вы не вернулись в Россию? — в упор спросила Надя.

Степунин с тихой лаской смотрел на нее, любуясь ею, как любуются умирающие люди звездой, заглянувшей в ночное окно, или солнечным зайчиком, и молчал. Потом порывисто отхлебнул глоток вина и, закрыв скуластое лицо большими, все еще сильными руками, прошептал:

— Потому, что я проклят. И нет мне прощения... И никогда не будет. — Он тяжело встряхнулся, будто отгоняя от себя кошмарный сон, и заговорил уже спокойно, почти буднично: — А за что прощать? Не за что! За то, что у атамана Краснова служил, а красным комэском прикидывался? За то, что сына потерял? За то, что к заклятому ворогу переметнулся? За то, что писал не чернилами, а помоями и грязью? Простить за все это? Да я и сам, доведись судьей над самим собой быть, ни за что не простил бы. И не прощу! — выкрикнул он так громко, что сидевшие за соседними столиками удивленно оглянулись.

— Играйте этот спектакль без нас, — мрачно сказал Денис, готовясь встать из-за стола. — И пожалуйста, прекратите ваши преследования.

Степунин укоризненно и жалко посмотрел на Дениса и медленно допил свое вино.

— Не беспокойтесь. Уверяю вас, я больше не позволю своим чувствам повелевать собою, — почти растроганно произнес он. — И пожалуйста, не уходите, пока я не поведаю вам свои самые сокровенные мысли. Послушайте старого, прожженного человека. Послушайте, — он заго-

ворил негромко, доверительно, будто сообщал нечто тайное, не подлежащее разглашению. — Вы очень добрые, слишком гуманные люди. Поверьте, они, — он вскинул руку куда-то в сторону, — все равно пойдут на вас новой войной. Не верьте их лицемерным словам. Каждое такое слово скрывает атомную бомбу, ракету, нацеленную на Москву. Да, да, среди зеленых рощ и гор — миллионы тонн смертоносных ракет, в лазурных водах океана — армады гигантских авианосцев, в голубом, как прекрасные глаза девушки, небе — сверхзвуковые пираты с ядерным зарядом на борту... Не верьте тем соглашениям, что они подписывают с вами. В один прекрасный день новоявленный Гитлер разорвет эти соглашения в клочья. Я знаю это, потому что живу в их логове, я знаю, что они и во сне жаждут смести с лица земли вашу страну. С молоком матери, еще в люльке, они всасывают антисоветизм, вы у них как кость в горле...

— Спасибо за информацию, — насмешливо произнес Денис. — Все это хорошо известно. Надо лишь регулярно читать газеты и слушать радио.

— Нет, нет, вы слишком доверчивы! — еще встревоженнее заговорил Степунин. — Вы судите о других так, как судите о себе. Отрекитесь от этой пагубной доверчивости, отрекитесь! — Он пожевал сухие обветренные губы. — А те вопросы, помните, я ими вас бомбардировал в тот свой приезд в Москву, они меня, поверьте, уже не волнуют. Ваши писатели правы, что так много пишут о минувшей войне.

— Вряд ли этот момент самый подходящий для подобных дискуссий.

— В мире нет ничего, во что можно было бы верить, — оставаясь глухим к словам Дениса, продолжал Степунин. — Ничего! Вы знаете, отчего погибнет земля? От атомной бомбы? Нет! От космической катастрофы? Ерунда! Может быть, от того, что в один прекрасный момент погаснет солнце? Весьма мало вероятно! Человечество погибнет от самого адского, самого дьявольского оружия — от страха! Да, да, от самого обыкновенного и вроде бы всем привычного и знакомого страха! Вспомните Чингисхана. Перед нашествием он направлял «послов страха» впереди своих полчищ, и те заранее наводили ужас на людей, парализовали их волю к сопротивлению. Вам приходилось читать трактат о войне древнекитайского ученого Суньцзы? Он писал: «Война — это путь обмана».

А Геббельс? Вот уж был поистине виртуоз лжи. Но они,— Степунин вновь с повелительной резкостью вскинул указательный палец куда-то в сторону, — они превзошли самого Чингисхана! Они создали миф о советской военной угрозе. И этот миф нагоняет страх на бедного обывателя. Истинные бедствия рождаются из боязни мнимых. Они разработали целую науку. Ее название — «стратегия устрашения». Почему? Не мне вам это говорить. Логика проста, как круглый мяч. Им страшны не ваши танки, а ваши идеи. Страх стал у нас болезнью. Страх патологический, смертельный. Мы как волки, попавшие в западню. Меня тоже обуял страх. Я стал бояться людей. Бояться восхода и захода солнца. Друзей, которые лгут и предают. Врагов, которые норовят превратить тебя в прах. Так называемых нейтральных, которые молча смотрят на то, как тебе на шею привязывают груз, чтобы ты быстрее и надежнее ушел на дно. Я стал бояться самого себя! То, как мы живем, нельзя назвать жизнью. Это ужас, ужас без конца и края. Так не лучше ли ужасный конец, чем ужас без конца?

Степунин продолжал говорить, уже не глядя ни на Дениса, ни на Надю, будто говорил сам с собой, утверждая одно, отрицая другое, соглашаясь с третьим.

— Запад — это клоака, — жестко, словно объявляя приговор, сказал он. — Мифический рай, трясина, из которой не выбраться. Сколько бы ни барахтался — не жди протянутой руки. Идол — деньги. За любовь — деньги. За дружбу — деньги. За то, что тебе разрешают дышать, — тоже деньги. Я как изюбр, бегущий в пасть тигру, который искусно имитирует рев изюбра. Я уже в пасти, меня осталось лишь разжевать и переварить.

Он умолк, незряче глядя прямо перед собой. Казалось, он пытается рассмотреть себя в зеркале, но не верит, что это отражение принадлежит именно ему.

— Сейчас я все отдал бы... — наконец тихо, едва слышно вымолвил Степунин. — Все отдал бы за один день, нет, за один час жизни в своей родной Михайловской. За то, что уже отшумело и чего не вернешь. — Степунин неожиданно резко оборвал мысль, глаза его засверкали одержимостью и страхом. — Всего боюсь, всего! Смотрите, небо над головой. Оно рушится! Видите: горят звезды? Астрономы назвали их вспыхивающими. В одно мгновение в них освобождается энергия, равная взрыву миллиарда водородных бомб. А вон там и там, — он

попеременно вздымал дрожащую ладонь к потолку, — видите? Там сверхновые звезды! Там все время грохочут адские взрывы! Энергия их равна той, что излучает солнце за сотни миллионов лет! Спасение невозможно! Слышите, невозможно!

Он снова опустил голову и закрыл лицо руками. Воспользовавшись этим, Денис с дочерью выскользнули из-за стола и поспешно направились к выходу.

Ночью их разбудили сильные раскаты грома. Казалось, совсем рядом пробудился вулкан. Молнии бесновались в небе с такой яростью, что способны были охватить пожаром окрестные леса и горы. «Охотничий домик» уподобился ветхой соломинке, готовой исчезнуть в разбушевавшейся стихии. Хлынул ливень...

К рассвету все стихло. Перед завтраком, прогуливаясь по колоннаде, Денис услышал разговор на немецком языке. Говорили о каком-то русском, покончившем с собой, — ночью во время грозы он взобрался на скалу Петра!

— Так может сделать только самоубийца! — заключила немка.

Денис посмотрел вокруг. Над Карловыми Варами всходило тихое, ясное солнце.

Они прожили в Карловых Варах еще почти три недели. И за все это время ни разу не видели Степунина.

7

Канун первого нового, после переезда на Чукотку, года Платон встретил философски. Сколько их, этих новых годов, было до нас, думал он, и сколько еще будет после?

Всю ночь, которая уже принадлежала наступившему новому году, Платон не спал. Он так и остался лежать на диване, то вглядываясь в темные окна, за которыми неслышно падал и падал снег, то прикрывая усталые глаза, пытался отогнать от себя поток тревожных, щемящих сердце мыслей, но они были сильнее его воли и не хотели исчезать.

Он вдруг ощутил себя совсем юным, мысленно перенесся в то далекое и тревожное время...

После того как перед строем батареи Платон выслушал приговор, после того как, сгорбившись, не находя в себе сил распрямить плечи и оторвать взгляд от земли, притягивавшей будто магнитом, он медленно, боясь, что не устоит на ногах, пошел к саням, чтобы уже никогда не

увидеть тех, с кем начал свой фронтовой путь, — после всего этого началась для него совершенно новая жизнь, схожая и несхожая с той, которой он жил до сих пор.

В первый момент штрафной батальон показался ему совершенно обычным подразделением, ничем особенным не отличающимся от других. Казалось, в нем были точно такие же люди, как и в батарее старшего лейтенанта Возвышаева, разве что все они независимо от того, в каком роде войск служили, стали пехотинцами. Узнав, что в штрафном батальоне нет ни одного артиллерийского орудия, Платон вначале затосковал, но потом махнул рукой. Ко всему новому, что обрушилось на него с первых дней, — многокилометровым пешим переходам, к постоянному нахождению на передовой, лицом к лицу с противником, какому-то холодному, глубоко скрытому в душах ожесточению людей, к их презрительному отношению к любой опасности — ко всему этому он привык быстро. Но нигде — ни в атаке, ни в рукопашной схватке, ни в короткие часы передышки — он не мог свыкнуться с мыслью о том, что рядом с ним или хотя бы поблизости нет Фаи. Он раскаивался в том, что поступил с ней плохо: когда она сама решила принести себя в жертву, грубо и злобно высмеял ее жертвенность, обвинив в том, что она мечется как шальная между ним и Денисом. И был потрясен, когда Фая, казалось, ничуть не была уязвлена его упреками и смогла своей лаской смягчить его сердце и заставить прикипеть к этой странной, непонятной девчонке.

— Когда ты почувствуешь, что пуля летит тебе в самое сердце, — страстно шептала ему Фая, не отнимая руки с его груди, — ты тверди мое имя. Вот так: «Фая». Понимаешь, вот так: «Фая... Фая...» — повторяла и повторяла она, как повторяет учитель несмышленому ученику одну и ту же фразу. — И пуля пролетит мимо, вот увидишь! Ты даже не знаешь, что я колдунья. Ты сразу напиши мне, слышишь? И я примчусь. В штрафбате тоже нужны санинструкторы. Даже больше, чем на батарее. Гаубицы — что? Это так, игрушки! Станут за пять верст от передовой, а еще и хвастаются: и мы воюем. А пехота — та с глазу на глаз, та штыком да прикладом. О чем фрицы говорят, как ложки о котелки стучат, как на гармошке пиликают — все слыхать! Я это хорошо знаю, я же с пехотой от Москвы шла, это уж потом к вам попала. Ты только свистни, Платон, я примчусь!

Он и сам тогда не мог со всей определенностью ответить себе на вопрос, настоящее ли у него чувство к Фае. И только здесь, в штрафбате, вдруг понял, что не может жить без нее, не может воевать по-настоящему, пока она где-то вдали от него, пока он не видит ее глаз. Сейчас, как никогда прежде, он ревновал ее к Денису, и мысль о том, что она дружила с Денисом и, по всему было видно, выделяла его, больно обжигала его душу. И единственное, что утешало, — обещание Фаи найти его, добиться перевода на тот участок фронта, где он очутился теперь.

Несмотря на то что Платон хорошо понимал свою вину и что за свой проступок он, разумеется, должен нести наказание, чувство ноющей, саднящей обиды, как бы спрессовавшейся в его сердце, не проходило. Здесь, в штрафбате, он вел себя отчужденно и обособленно от других бойцов, уходил от вопросов о том, за что был разжалован. Уязвленное самолюбие, подобно щепотке соли, которую сыплют на открытую рану, бередило его и приносило страдания.

Больше всего Платона мучили думы о Денисе. Там, на батарее, когда еще шло следствие, Платон все свои беды — и то, что вблизи позиции, в сотне метров от закопанных в землю немецких танков, прозвучал этот злосчастный выстрел (если бы Денис не приворожил Фаю, она бы не сопротивлялась ему, Платону); и то, что Денис не встал горой за него (опять-таки, видимо, надеясь убрать с пути своего соперника); и то, что приговор оказался слишком суровым (если на очной ставке Денис не опроверг все то, что приписывалось ему, Платону, то как же он вел себя на допросах один на один со следователем!), — все это Платон взваливал на Дениса. Правда, в тот момент, когда перед строем батареи зачитывали приговор, Платон, скосив глаза на Дениса, уловил в нем смятение, растерянность и отчетливо сквозившее в его глазах чувство отчаяния. Но разве люди не умеют притворяться, если им это необходимо!

Даже сейчас, когда все уже свершилось, Платон, ежась от стыда, вспоминал те долгие минуты, когда перед молчавшими, понимающими неотвратимость всего происходившего батарейцами звучали слова приговора. Странно, но даже там, на передовой, где в каждый миг пуля снайпера, или осколок мины, или взрыв бомбы, сброшенной с самолета, могли оборвать жизнь любого человека, будь он рядовой, еще совсем не обстрелянный боец или же овеян-

ный боевой славой маршал, — здесь, где никто не мог загадать свою судьбу даже на долю секунды вперед, — приговор военного трибунала воспринимался с такой же суровой неотвратимостью, как, наверное, воспринимался бы он в мирной обстановке, далекой от фронта. От тех жестких, обличающих слов будто мрачнело и без того темное небо, резче пропечатывались на нем зубцы ветвей старых, почти сказочных елей, и у всех было такое ощущение, какое бывает у человека перед грозой.

Вспоминая об этом, Платон больше всего страдал из-за того, что Фая была вместе с Денисом, и кто знает, вчера она жалела Платона, бежала вслед за его санями, клялась в том, что найдет его, а сегодня, может, забылась в объятиях Дениса? Платону с трудом давалась вера в людей. С тех самых пор, как он разуверился в своем отце, он всегда пытался разгадать тех людей, которые его окружали или же были причастны к его судьбе, пытался в их словах и поступках выявить подспудный, тайный, а значит, и истинный смысл и мучился из-за того, что это ему не удавалось.

«Человек текуч, — с мрачной назойливостью внушал он себе. — Сегодня он ангел, завтра дьявол, а послезавтра и ангел и дьявол вместе — разбери-пойми».

С тех пор как на него, вопреки предсказаниям отца, обрушивались неудачи, он все меньше верил в свою способность добиться в жизни чего-то значительного. «Обстоятельства выше нас, — рассуждал Платон. — Они — командиры, мы — подчиненные. Только глупцы да блаженненькие твердят: человек — творец своего счастья. Глупцам да блаженненьким молитва нужна, вот и сочинили молитву...»

Здесь, в штрафбате, где жизнь ежесекундно висела на волоске, Платон с какой-то особой, не щадившей его самолюбия силой осознал: все, что сделано им в жизни до этого, — совсем не то, что он призван был сделать. Стало до осязаемости ясно: жить нужно было совсем не так, как жил. Оказалось, что даже успех, достигнутый за счет сделки со своей совестью, не только не приносит счастья, но казнит душу с такой силой, что хочется любой ценой избавиться от тоски и раскаяния. Выходило, что глупо и безрассудно идти наперекор обстоятельствам. Выше себя не прыгнешь. Лучше уж плыть по течению, как понесет...

Во всех бедах своих он винил сейчас двух людей — отца, родителя своего, который сам всю жизнь ловил судьбу

за хвост, да так и не поймал, и сына вовлек в эту безрассудную игру, и Дениса, который считался надежным и верным другом, но не промолвил ни словечка, чтобы отвести от Платона хотя бы один удар.

Часто на фронте Платон думал: где он сейчас, Петр Пантелеевич Степунин, лихой казак, перекати-поле? Может, распрощался со своей бредовой мечтой, раскаялся, а может, успех врагов вновь разбередил его отчаянную душу? Кто знает: не придется ли сыну в каком-то бою схлестнуться врукопашную со своим единокровным батькой? И тогда, батя, не жди пощады от своего сыночка, не жди...

Взвод, в который попал Платон, все время бросали в пекло, на место убитых присылали новых, притулиться к кому-либо было непросто. Да и желания сдружиться не выявилось: лучше уж вовсе не дружить, чем разочароваться в друге.

Взводом командовал лейтенант. Любимой его фразой была: «Чтоб куры на лету жарились!» Она звучала из его уст по разным поводам — и когда надо было заставить бойца сделать что-либо как можно быстрее, и когда он требовал усилить огонь из автоматов, и даже вместо любой команды. Платон никак не мог взять в толк, почему так прилипла к языку лейтенанта эта злосчастная фраза. Но как-то Кузовков, уже немолодой боец со свернутой набок — то ли от рождения, то ли в драке — скулой, пояснил:

— Он до войны служил в интендантах. Служба хлопотная. Начальство его допекло. Оно какое? Угощение чтоб враз на стол. Ему, начальству, завсегда некогда. Вот он повару в ухо и шипит: «Чтоб куры на лету жарились!» А здесь не разгонишься! Здесь гляди, чтоб тебя самого не зажарили! Однако парень с головой, видали и похуже. Да и этот надолго ли? Уж на моем веку шестого меняют.

— А тут командир вроде бы и ни к чему, — отозвался сидевший по другую сторону нещадно чадившего костра. — Тут каждый себе генерал.

Весну сорок второго года Платон встречал в обороне. Леса долго не расставались с зимой. Снег таился в чащобе, откуда даже в теплые дни тянуло застоялой стужей.

Солнечным утром, когда бойцы сгрудились у полевой кухни и повар, с виду добряк, а по нраву скряга, накладывал черпачком гороховую кашу в котелки, откуда ни возьмись — будто с небес низвергнулся — появился

взводный. Никто не успел его приметить, но он уже возвестил звонким молодым голосом:

— Взвод, строиться! И чтоб куры на лету жарились!

Так, с котелками, черпая из них на ходу алюминиевыми ложками, бойцы потянулись на построение. Солнце, поднимаясь над лесом, припекало, бойцы подставляли к нему обветренные лица, спешно дожевывали гороховую кашу. В такой денек да после гороховой каши отлежаться бы здесь, на опушке ельника, погреть на солнце пузо, так нет, взводный все свое и свое:

— Взводу приказано атаковать высоту Круглая, отметка двести сорок четыре и пять. — Лейтенант потыкал пальцем в свой планшет, будто был уверен, что все стоявшие в строю разглядят на карте эту высоту. — От этого зависит успех наступления левого фланга дивизии. Мы должны взять высоту — иного выхода нет.

— А музыка будет? — весело спросил Кузовков.

— Какая музыка? — не сразу почуял подвох взводный.

— А та, что похоронный марш играет, — еще радостнее ответил Кузовков.

Но его не очень уместную сейчас шутку никто не поддержал.

— Итак, — подвел черту взводный, — первым, кто ворвется на высоту, — ордена!

— Мы не за ордена воюем, — вдруг хмуро сказал всегда молчавший Платон.

Бойцы вновь притихли, ожидая, что скажет на это командир.

Взводный цепкими глазами впился в Платона. Таким он и запомнился Платону — с румянцем во все щеки и покоряющей улыбкой, вспыхнувшей на сочных губах.

— Что касается ордена, Степунин, — дружелюбно сказал он, — то он вам нисколько не помешает. Мне тоже. Орден — это награда Родины. И тем самым вы кладете крест на штрафбат.

— А кто вам сказал, товарищ лейтенант, что я хочу положить крест на штрафбат? — мрачно спросил Платон, не принимая дружелюбия взводного. — Не все ли равно, где воевать?

— Воевать так воевать — пиши в обоз! — никак не мог утихомириться Кузовков.

Платон даже не удостоил его взглядом. Его обуяла какая-то отчаянная, гложущая душу злость, и уже сейчас, до команды «в атаку!», он уверовал в то, что будет презирать себя, если не ворвется на эту чертову высоту. Грызть землю будет, а доползет.

— Где воевать — это, конечно, все равно, — серьезно сказал взводный. — Но лучше бы вам воевать просто в батальоне, а не в штрафном.

— А я не вижу в этом ничего нелепого, — упорствовал Платон. — Значит, не зря такой батальон придумали. Значит, без него нельзя.

— Это чтоб служба медом не казалась! — восхищенно пропел Кузовков. — На то и щука в пруду, чтоб карась не дремал.

— Никто этот штрафбат не придумывал! — В голосе взводного прозвенели командирские нотки. — Не соверши вы, рядовой Степунин, и вы, Кузовков, преступлений, не понадобился бы и этот батальон.

— Я не совершал никаких преступлений, — чувствуя, как гнев закипает в душе, резко сказал Платон.

— Его сюда заместо курорта шуганули, — едко процедил Кузовков. — Малость отдохнуть, силенок набраться.

Платон, как лезвием бритвы, сверкнул по нему глазами, и тот прикусил язык.

— Вот вы, товарищ лейтенант, — уже спокойнее заговорил Платон. — Вы сейчас в бой нас поведете, а сами здесь человек временный. Как же так?

По лицу лейтенанта промелькнуло облачко смущения, он обдумывал, как бы лучше и точнее ответить на дерзкий вопрос Платона, но его опередил Кузовков:

— А мы туточки, на этом свете, все временные...

— Не вас спрашивают, Кузовков, — оборвал его лейтенант. — А вам, Степунин, я отвечу. — Голос его дрогнул, выдавая стремительно вскипевшее в нем волнение. — Это вы здесь временные! — Эти слова прозвучали с вызовом. — Пока кровью не смоете свой позор, пока не смоете... — Он едва не задохнулся.

Лейтенант произнес все это так горячо и искренне, что у Платона где-то подспудно шевельнулось чувство жалости к этому человеку, и он мысленно обругал себя за то, что затеял этот разговор. «Пока не смою... Пока не смою...» — стучало сердце Платона, и он никак не мог со всей ясностью определить, радуют его эти слова или убивают.

«В чем же мое преступление? — спрашивал он себя с такой же настойчивостью и беспощадностью, с какой мог бы его спрашивать следователь. — Да, пистолет выстрелил по твоей вине. Тогда, на прямой наводке, у тебя не должно было быть никаких других мыслей, никаких других желаний, кроме мысли и желания точно и безукоризненно выполнить приказ, огнем своего орудия уничтожить вражеский танк, зарытый в землю. Но те мысли и то желание, которые появились у тебя, ничего общего не имели с приказом и долгом. Ты снова, как и тогда, в детстве, думал только о себе...»

В Платоне сейчас жили независимо друг от друга два разных человека, и каждый не только старался доказать свою правоту, но и, главное, найти оправдание своим поступкам.

Отдавшись мыслям, Платон не заметил, что взводного вызвал к себе на наблюдательный пункт командир роты и что отовсюду — из кустарника, разбухшие почки которого еще не выбросили первый лист, из развалин взорванных домишек, которые выпростали ввысь по-кладбищенски сиротливые, обгорелые печные трубы, — на исходный рубеж — туда, где едва приметная колея полевой дороги с крохотными, сверкающими на солнце лужицами окаймляла небольшую рощу с мертво застывшими старыми березами, — короткими перебежками, пригибаясь к земле, будто она таила в себе спасение, устремились автоматчики.

— Эй ты, мыслитель! — будто откуда-то издалека донесся до Платона насмешливый голос Кузовкова. — Покуда все передумаешь, ордена расхватают!

Платон молча, выразительно погрозил ему увесистым кулаком, но Кузовков, скаля в мрачноватой улыбке желтые и длинные, как кукурузные зерна, зубы, уже надевал через голову шинельную скатку, намереваясь бежать вслед за автоматчиками первого взвода.

«Отменный сегодня денек. — Платон глубоко и жадно вдохнул воздух, таивший в себе и леденящую свежесть зимы, и тонкий, едва ощутимый, но уже стойкий запах первых травинок, оттаявшей земли, до которой дотронулось весеннее солнце. — Не хватало еще, чтобы в такой денек прощаться с жизнью. Нет, пусть уж они с этой жизнью прощаются, — с ненавистью бросил он взгляд на застывшую у черты лесного массива высотку, которую им предстояло взять. — А мы еще поживем, Файка!»

Он вдруг, казалось, совсем не ко времени, не к тому, что предстояло сейчас идти в бой, из которого можно не вернуться, до болезненной осязаемости представил себе свадебный стол в станице, прямо в саду, под цветущими вишнями, представил себя и Фаю за этим столом и даже почти услышал одобрительный говорок казачек...

Сейчас, готовясь вместе со своим взводом к броску на высоту, которую нужно было или взять, или полечь костьми, он, угнетенный, думал о Фае, казалось, потерял и слух, и зрение, и способность воспринимать что-либо другое, не имеющее отношения к Фае. Именно поэтому он не слышал тех команд, которые подавал давно вернувшийся от ротного взводный, и потому как бы автоматически повторял то, что делали сейчас другие. И лишь тогда, когда все припали к мокрой, еще по-зимнему студеной земле, когда прошлогодняя стерня колюче впилась в тело, едва не пронзая ткань гимнастерки, когда они поползли по-пластунски, с каждой минутой неотвратимо приближаясь к коварно молчавшей высоте, лишь тогда видение Фаи исчезло, растворилось в дрожащем мареве.

«Значит, прямо на пулеметы, при свете солнца», — молнией сверкнула мысль у Платона. Без артподготовки. «Штыком и гранатой», как в песне, которую он часто пел со своими ребятами на пионерских сборах в Михайловской. Тогда этот матрос Железняк казался героем, пришедшим из глубины веков, и было невдомек, что от гражданской войны их отделял всего-навсего какой-то десяток лет. «Вот и ты, Платоша, чем не Железняк? Останешься на этой высотке, может, и о тебе песню сложат...»

Пулеметная очередь, будто тысячи дятлов, подчиняясь команде, одновременно ударили железными клювами по стволам деревьев, с внезапной ураганной силой пронеслась над головой Платона.

— Обнаружили, гады... — прохрипел кто-то слева от Платона. — Хрен их теперь возьмешь...

— Кончай мурлыкать! — тут же раздался веселый говорок Кузовкова. Трудно было понять, отчего он такой веселый — то ли он этим пытается унять и поглубже запрятать страх, то ли вовсе не дорожит своей жизнью. — Такую высоту — да не взять!

— Пошел ты!.. — огрызнулся сосед слева.

— И ты поползешь, милок, — без злорадства, певуче пообещал Кузовков. — Поползешь, куды денешься! А не

поползешь — я первую пулю тебе подарю, а уж фрицу вторая достанется. Так-то, Уздечкин.

— Это мы еще поглядим... Это еще бабка надвое сказала... — с мрачной угрозой проговорил тот, кого Кузовков назвал Уздечкиным.

— Ну, персонаж! — опять развеселился Кузовков. — Верно люди говорят: лучше с умным потерять, чем с дураком найти.

— Умник ты... — прохрипел Уздечкин. — Ты лучше скажи, какое такое право, что с голыми руками на пулеметы посылать? А я еще жизню эту как следовает не понюхал. Это как же понимать?

— А понимать надобно так, Уздечкин: ежели ты не наелся, то и не налижешься. Кто тебя в штрафбат силком загонял?

— Заткнись, подлюка! — прорычал Уздечкин. — Чем ты лучше меня?

— А ничем, — равнодушно ответил Кузовков. — За исключением: банк советский я не грабил, на богатство народное не посягал.

— Чистенький, да? — с ненавистью спросил Уздечкин. — Все одно подохнешь! В одной яме будем!

— Нет, Уздечкин, ты меня в свою яму не тащи, — разделяя слова, внятно возразил Кузовков. — У нас с тобой и могилы разные...

Умолкнувший было на высоте пулемет дал еще очередь — то ли немцы действительно обнаружили наших, то ли брали на испуг. Вначале, когда взводный ставил задачу, Платон возмущенно подумал о том, что где-то в штабе нашлась горячая голова, придумавшая бросить штрафбат на высоту в светлое время суток, к тому же не придав ему ни пушки, ни танка. Видимо, весь расчет был сделан на внезапность, на то, что противнику в голову не придет, что пехота без артподготовки, среди бела дня полезет штурмовать высоту. Но кто мешал той горячей голове в штабе распорядиться, чтобы батальон сосредоточился на исходной позиции для атаки под покровом темноты, до рассвета? Никто, видимо, не мешал. «Нет, ни в грош не ставят штрафника, — с горечью отметил Платон, вслушиваясь в перебранку Кузовкова и Уздечкина. — А эти нашли время языки чесать. Без них тошно».

Солнце поднималось все выше, небо слепило чистой, первозданной голубизной, по ветвям деревьев легким дуновением прошелестел ветерок. Высота снова простира-

лась перед ними, тихая, умиротворенная, и чудилось, что на ней нет никого, кто в любую секунду может нажать на спуск автомата или на гашетку пулемета. Вставай во весь рост, взбегай на нее, высоту с отметкой двести сорок четыре и пять, радуйся весне, вдыхай свежий воздух, ори вовсю, чего захочется орать, живи!

Платон заметил, как взводный, лежавший у куста орешника, взмахнул рукой. И люди, припавшие к земле и будто вросшие в нее, снова пришли в движение, поползли, сжимая автоматы и слегка приподнимая их стволы — чтоб не попала земля — при каждом новом рывке. До тех пор, пока высота еще была метрах в трехстах от них, бойцов скрывал кустарник, наглухо опоясавший ее, и это давало возможность подползти к ней как можно ближе.

Платон полз, и вновь мысли о Фае одолели его. Сейчас, когда в любой момент гнетущую тишину мог расколоть и низвергнуть в пропасть грохот взрыва и начаться ожесточенный бой, эти мысли казались странными и даже противоестественными, но попытки Платона отогнать их были безуспешны.

В первый момент Платон не услышал, как от грохота выстрелов будто разверзлась земля. Высота, словно начиненная пулями, застрекотала, загремела, вздыбилась над синим безмятежным горизонтом.

— Взвод, вперед, ур-ра-а! — по-детски звонко пронесся над цепью голос взводного, тут же будто простреленный пулями, жужжащими над головами. — И чтоб куры на лету жарились!

Платон, не сознавая, какой силой он вскинут с такой нужной и бесценной сейчас земли, стреляя на ходу, устремился со всеми к высоте, продираясь сквозь хлеставшие по лицу, по автомату, по ногам гибкие ветки орешника. Немцы стреляли трассирующими, и он видел, как пули, будто огненные пчелы, проносились совсем вблизи от него, и было странно, что они пролетают мимо, не задевая Платона, будто он был заколдован. Сбоку от него с металлическим всхлипом хряснула мина, ему показалось, что она разорвалась прямо у его ног. Но тут же он увидел, как взводный, бежавший впереди, упруго вскидывая длинные ноги, плашмя упал на землю. Платон, подчиняясь этому, как команде, тоже упал и замер, ожидая, что взводный сейчас поползет или же подаст новый сигнал. Но тот лежал не шевелясь, не пытаясь приподнять голову, лежал так, будто земля приковала его к себе.

«Сейчас он поползет, приподнимется, — нетерпеливо ждал Платон. — Не может быть, чтобы он лежал, забыв о своем взводе, о том, что высота еще не взята и что настоящий бой, скорее всего рукопашный, еще впереди. Сейчас он встанет и, как обычно, взмахнув пистолетом в высоко поднятой правой руке, позовет их за собой на смерть или на подвиг... Вставай, взводный, вставай, сейчас дорог каждый миг, высота перед нами, и главное сейчас — ошеломить, главное сейчас — дерзость. Да, наших поляжет здесь немало, поляжет у подножия высоты, так и не побывав на ней и не ощутив пьянящего счастья победы, может, полягут все до единого, но взводный должен жить — кому, как не ему, прикреплять тот боевой орден?»

И тут Платон отчетливо увидел, что все, кто был от него и справа, и слева, и впереди, продолжают бежать к высоте, стреляя на ходу, и только один взводный недвижимо лежит, как бы испугавшись все более усиливавшегося огня немцев.

Платон рывком вскочил с земли и, пригнувшись, в несколько прыжков подбежал к взводному. Тот лежал раскинув руки, точно хотел обнять клочок земли, на которую упал и с которой теперь не мог расстаться. Щекой он накрепко прижал еще горячий ствол автомата, словно боялся, что кто-то, воспользовавшись его бессилием, отберет у него оружие. Платон вгляделся во взводного и сразу же понял, что теперь ему уже никогда не подняться с этой земли и никогда не взойти на ту самую высоту с отметкой двести сорок четыре и пять, которую он сам же приказал им взять во что бы ни стало и сам же не смог выполнить свой собственный приказ.

«Вот и отходил ты по земле, лейтенант, — прикоснувшись к плечу взводного, подумал Платон. — А ты чего же стоишь?» — спросил он самого себя и, увидев, что бежавшие по соседству бойцы уже опередили его, снова устремился вперед.

Ему самому казалось невероятным то, что едва он достиг высоты — намертво уставший, с пересохшей глоткой, уже не успевшей заглатывать воздух, — как почувствовал прилив каких-то неведомых сил, будто он сбросил с себя неземную, непомерную тяжесть. И лишь потом, значительно позже, когда и этот день, и этот бой, и эта высота были уже позади, настолько позади, что, кажется, мысль эта возникла в нем уже после войны, он понял, что

та сила внезапно родилась в нем, как, наверное, и в других достигших высоты бойцах, только потому, что они уже грудь в грудь сошлись с противником в его траншеях и здесь в считанные мгновения окончательно решалось, кому остаться в живых, а кому навечно упасть на неласковую, еще по-зимнему холодноватую землю.

А сейчас он как совершенно естественное и обычное воспринял то, что прямо перед ним, замахнувшись на него автоматом, ствол которого был зажат обеими руками, возник низкорослый немец. Платон с ходу прошил его короткой очередью, и тот как бы нехотя сполз на дно траншеи (он и казался низкорослым потому, что стоял в траншее), и вслед ему посыпалась потревоженная тяжелым телом земля.

Платон с размаху преодолел траншею, чувствуя, что врезается в груду борющихся между собой людей и что именно сейчас над ним нависает грозная опасность. Он продолжал стрелять, боясь попасть в своих, и тут в его памяти вспыхнуло заклинание Фаи, которая твердила как помешанная, что его не убьют, что он будет жив, если в минуты, когда беда станет неминуемой, он будет повторять и повторять одно и то же слово. И сейчас Платон почти бессознательно, повинуясь ее заклинанию, начал твердить то вслух, то про себя ее имя — короткое, как выстрел, и громадное, как вся жизнь. Нажал на спуск автомата: «Фая!» С размаху припечатал прикладом чью-то непомерно мощную скулу: «Фая!» Метнул гранату в черную пасть дзота: «Фая!» Казалось, он и сам был сейчас непоколебимо убежден, что не знает больше в своем родном языке ни единого слова, кроме этого спасительного, ликующего и грозного: «Фая!»

В этой грохочущей, как землетрясение, схватке уже трудно было понять, кто и откуда стреляет, овладел ли батальон высотой или только дерется на подступах к ней. Неожиданно где-то позади и слева от Платона ахнуло несколько хряпающих взрывов. Платону некогда было прислушиваться к ним. Он лишь прикинул мысленно, что немцы ведут огонь из миномета и что, вероятно, миномет установлен где-то на противоположном скате высоты. Но тут, будто из подземелья, послышался хриплый голос Уздечкина:

— Какое такое право имеется, чтоб без разведки... на гибель... Мины кругом...

— Опять каркаешь? — весело воскликнул Кузовков, и

Платон, услышав все тот же неунывающий говорок Кузовкова, воспрял духом, как бывало с ним тогда, когда он узнавал о чем-то очень радостном и приятном. — И какие такие конструктора этакого гуся сработали?

— Поговори еще... — угрожающе прогремел голос Уздечкина. — Мало нас осталось. Те, что слева бегут... не в счет... Сейчас мины опять шандарахнут... Подорвутся на минах...

— А мы-то на что! — почти восхищенно возразил Кузовков, и Платон был поражен тем, что и до боя, когда им выпала короткая передышка, и сейчас, в бою, из которого они запросто могли не выкарабкаться живыми, Кузовков был одним и тем же, неменяющимся человеком — веселым, верящим в себя и не знающим, что такое паника и уныние. — Мы живы, Уздечкин! Степунин — живой! Я — живой! И ты — живой!

— Я уже не живой, — прохрипел Уздечкин, дрожащими руками перезаряжая автомат. — Не взяла наша, нет! Ихняя взяла! — Он ткнул стволом автомата куда-то вверх. — И кончай ломать комедию, Кузов. «Я — живой!» — злобно передразнил он Кузовкова. — Был живой, был, а вот сей секунд будешь неживой!

Он судорожно направил автомат прямо в Кузовкова, стараясь унять дрожь в руках и прицелиться поточнее.

— Убери автомат, дура! — засмеялся Кузовков. — Спятил ты, что ли?

— Сейчас ты у меня посмеешься... Сейчас ты у меня попляшешь... — глухо, как молитву, твердил Уздечкин. — Сейчас ты у меня...

Он не успел докончить фразу: Платон вскинул автомат и выстрелил. Правая рука Уздечкина повисла как плеть, выронив оружие. Кузовков подбежал к Уздечкину, наклонился над ним и, оборачиваясь к Платону, сказал с укоризной:

— Наповал ты его... Зачем?

— Целился в руку, — ответил Платон, подходя вплотную. — Он же тебя хотел уложить.

— Не посмел бы! — убежденно воскликнул Кузовков. — Трусливый он, как шакал.

— Еще как посмел бы, — возразил Платон. — Шакалы — они всегда из-за угла. К фашисту хотел податься, капитально. «Ихняя взяла!» — Эти слова, принадлежавшие только что живому, а теперь мертвому Уздечкину, вырвались из его уст непроизвольно, помимо его жела-

ния, но он уже ощутил, что они вцепились в него как репей.

— Поживем еще, — будто радуясь хорошей вести, сказал Кузовков. — А высоту надо брать...

Не сговариваясь, они стали взбираться по склону, и, заметив их, немцы, окопавшиеся почти на самой макушке высоты, снова открыли огонь.

— И где это видано, чтобы родная земля огрызалась, — впервые в голосе Кузовкова послышалась тоска. — Деревня моя вон там, за речкой. А на эту высотку я без штанов бегал...

Он говорил еще что-то, будто старался потоком слов отогнать от себя пули, но Платон уже не слышал его: что-то острое, жалящее, горячее впилось ему в грудь, земля разверзлась, и он рухнул на спину, удивляясь, что пронзительно синее, сияющее, солнечное небо вмиг стало зловеще черным...

Очнулся он среди ночи, с трудом разомкнул тяжелые веки. Что-то огромное, раскаленное до голубизны нависло над ним, заставив в испуге зажмуриться. Он долго боялся снова взглянуть на это чудовище, но все же, сгорая от нетерпения, раскрыл глаза. «Так это же луна, — вдруг осознал он, задыхаясь от радости. — Луна, значит, сейчас ночь, и, значит, я живой...»

Платон почувствовал, что лежит на сене, что под ним что-то колышется и мерно поскрипывает, уловил пофыркивание лошади и понял, что его везут на телеге. Он разомкнул сухие непослушные губы, чтобы спросить, кто и куда его везет, как снова потерял сознание...

Над ним уже склонилась не луна, а Фая, но тоже такая же светящаяся и таинственная, как луна. Она нежно касалась руками его лица, что-то невнятно и горячо шептала, обнимала, прижимаясь к нему всем телом, но он не чувствовал этого, будто Фая была невесомой и бесплотной, как воздух, как черное небо над его головой.

— Ты — Фая? — внезапно очнулся он, ощущая на пылающем лбу ее дыхание, нежное, как дуновение предрассветного ветерка.

— Фая, Фая, — как-то равнодушно, безучастно подтвердил совершенно незнакомый ему девичий голос. Он звучал негромко, с опаской. — Лежи тихо, а то попадем к нему, как пить дать попадем...

Он пытался приподнять голову, чтобы разглядеть ту, что говорила с ним сейчас, и убедиться, что это действи-

тельно Фая, и хотя бы глазами или слабой улыбкой выразить ей свое восхищение тем, что она сдержала слово и отыскала его даже в этом страшном бою, но голова была словно припаяна к тому ложу, на котором он находился.

— Как... ты нашла меня? — с тревогой, боясь, что Фая исчезнет точно так же, как появилась, спросил он.

— Как, как, — неохотно повторил все тот же незнакомый голос. — В кустах ты лежал, сбочь дороги. Дюже раненный. Видать, приполз откуда-то...

— Так кого же ты любишь, скажи? — нетерпеливо, боясь задохнуться, спросил Платон и замер в ожидании ответа. — Меня или его?

— Тебя, тебя, кого же еще, — убежденно произнесла невидимая ему девушка и добавила строго: — Молчи, тебе нельзя говорить... Вот сховаем тебя, отлежишься, молочком козьим выпоим, тогда и говори...

— Спасибо, Фая... — прошептал Платон, с отчаянием глядя на стремительно угасавшую луну...

Тогда, вновь теряя сознание, он и представить себе не мог, что его спасительницу зовут вовсе не Фая, а Зина, что она, эта Зина, из той самой деревни, откуда родом Кузовков, и что с Фаей ему, Платону, доведется встретиться только через два с лишним года в маленьком немецком городке Штраусберге незадолго до конца войны.

8

Точно так же, как летчику, воевавшему всю войну, едва ли не каждую ночь снится воздушный бой и, будто наяву, слышится рев моторов схватившихся друг с другом истребителей, к Фае и во сне и наяву приходили воспоминания о том, что произошло с ней, Денисом и Платоном на батарее старшего лейтенанта Возвышаева.

Когда Платона увозили с огневой позиции, она и сама не знала, любит ли она его такой же чистой, ничем не омраченной, трепетной любовью, какой любит Дениса. То ожесточение, какое возникло в ней к Платону после того, как он пытался грубо и бесцеремонно овладеть ею, все сильнее ожесточало ее чувства. Но едва она осознала, что Платон оказался главным виновником происшедшего и что ему грозит суровый приговор, как это холодное и не знающее колебаний ожесточение вдруг стало ослабевать, затухать, передав всю силу другому, прямо противоположному чувству — чувству всесильной жалости.

И, жалея Платона, она во что бы то ни стало захотела спасти его. Теперь уже свою ожесточенность она направила на Дениса, предполагая почти с полной уверенностью, что именно он усугубил положение Платона или же, вместо того чтобы броситься в бой и защитить его, предпочел остаться равнодушным. И то и другое, при ее бескомпромиссности, низводило в ее глазах любого человека, пусть даже любимого ею, до положения, в котором любовь к нему может почти мгновенно обернуться ненавистью.

В первую ночь после того, как увезли Платона, было затишье. Немцы, будто потеряв интерес к войне, не стреляли. Даже осветительные ракеты, которые прежде в безумном рвении зависали над передним краем, пытаясь уничтожить мрак, появлялись лишь изредка. Тихо было и на огневой позиции батареи старшего лейтенанта Возвышаева. Расчеты блаженствовали в жарко натопленных землянках, и лишь ленивое поскрипывание снега под валенками часового изобличало присутствие в этой лесной глухомани живых существ.

Фае было отведено укромное местечко в землянке старшего на батарее лейтенанта Дашкова. Невысокое офицерское звание Дашкова вовсе не означало, что это был молодой, только что оперившийся птенец из артиллерийского училища. Напротив, он пребывал уже в том почтенном возрасте, в котором иные ходят в высоких чинах. Дашков в начале войны был призван из запаса и с бо́льшим трудом расстался со своей школой, в которой он преподавал математику. Школу эвакуировали из Вереи в Пермь, и Дашков попал вначале в Москву, а затем, в октябре 1941 года, в город, где из эшелона, прибывшего с Волги, выгружался тот самый артиллерийский гаубичный полк, в котором служили Денис и Платон. В батарее Возвышаева была вакантная должность командира первого взвода, и он упросил зачислить Дашкова к себе. Командир первого взвода в то же время автоматически становился старшим на батарее и вроде бы неофициальным заместителем комбата. Другие комбаты были немало удивлены выбором Возвышаева и при случае пытались бросать иронические реплики, на что Возвышаев небрежно и даже заносчиво отвечал:

— Зато не конкурент он мне. Копать не будет. Я шустриков в замы не беру!

Дашков как-то с ходу прижился на батарее, будто всег-

да был на ней. Крупный, несколько рыхловатый, с добрым болезненным лицом, он полюбился всем своей неисчерпаемой добротой. Казалось, что он и появился на свет с одной-единственной целью — делать людям добро, искать тех, кто попал в беду или нуждается в защите, помощи или утешении, а найдя их, незамедлительно мобилизовать все свои возможности, чтобы спасти этих людей или хотя бы облегчить им жизнь. Дашков отводил от своих подчиненных суровые наказания или же смягчал их, писал неотразимо доказательные письма женам, забывшим своих мужей, отдавал другим самые ценные трофеи, теплые вещи и припасенный для особых случаев спирт, а тем, кто был голоден, — свой паек. И во всем, что он делал, была явственно видна наиболее приметная черта его натуры — самоотречение.

Фае было хорошо чувствовать себя под его опекой. Дашков как бы охранял и оберегал ее от поползновений со стороны особенно ретивых любвеобильных батарейцев. Здесь, в его землянке, ей было спокойно и надежно. Дашков по-отечески заботился о ней, никогда не допускал того, чтобы она осталась голодной, и в свободное от стрельбы время поддерживал ее душевное состояние долгими разговорами о своей жизни, в которых было много поучительных фактов, но не было поучений. Дашков с грустью сетовал на то, что у него не сложилась личная жизнь и не было детей. Наверное, Фая в его глазах и была ребенком, о котором он так трогательно заботился.

Фая хорошо относилась к Дашкову и тоже в меру своих сил и возможностей старалась быть ему полезной. Казалось, никакие тучи не могли затмить их чистые и добрые отношения.

И все же такая туча пришла. Видя, что Дашков, тот самый Дашков, который готов был, даже не ожидая зова, броситься в огонь и в воду, чтобы защитить несправедливо преследуемого человека, тот самый Дашков молчал, будто начисто потерял дар речи, когда суровое обвинение пало на Платона, уязвленная его неожиданным равнодушием и безучастностью, Фая замкнулась в себе и перестала с ним разговаривать.

Вечером того дня, когда увезли Платона, Фая проскользнула в землянку раньше обычного, до прихода Дашкова, и свалилась на свою лежанку, укрывшись шинелью с головой. Как назло, батарея безмолвствовала, и то бездействие, которое влекло за собой молчание орудий, было

в тягость. Лучше бы сейчас бой, или передвижение на новую огневую позицию, или, дьявол его забери, налет фашистских стервятников. Только бы не оставаться со своими испепеляющими душу мыслями!

Дашков вошел в землянку, как всегда покряхтывая, и сразу же приметил забившуюся в темный угол Фаю.

— Ужинать, принцесса! — позвал он ее. — Пожалуйте к столу.

Фая не отозвалась. Дашков на цыпочках подошел к ней и тихонько отвернул ворот шинели, заглядывая ей в лицо.

— Принцесса! — снова позвал он ее своим слегка каркающим голосом.

— Я вам не принцесса! — вдруг истерично взвизгнула Фая, оторвавшись от лежанки и садясь.

Дашков от неожиданности вздрогнул, отпрянув от Фаи.

— Что с вами? — Дашков всех называл только на «вы». — Какая муха вас укусила?

— Эту муху зовут лейтенант Дашков! — выпалила Фая, переполненная злостью.

Дашков оторопело всмотрелся в нее, и Фаю вдруг неприятно поразил желтый отблеск пламени коптилки, изготовленной, как и на всех фронтах, из обоймы стреляной гильзы.

— Понимаю, — совершенно спокойно, будто не произошло ничего необычного, произнес Дашков. — Понимаю, вы даровали мне роль избавителя от всех бед и страданий. Напрасно. Я не спасаю людей, нарушивших свой долг. — Мягкий, почти вкрадчивый, обволакивающий голос Дашкова стал вдруг металлическим. — Таким нет оправдания, ибо в жизни нет ничего выше долга. Долга перед Отечеством, перед людьми, перед самим собой.

— Платон не нарушил долга, — в голосе Фаи уже звучали нотки смятения. — Во всем виновата я. Из-за меня все это...

— Старший сержант Степунин выполнял боевой приказ, — сухо сказал Дашков. — И нарушил его. В результате боевой приказ не был выполнен. В результате расчет орудия понес потери. И после всего этого вы осмеливаетесь его защищать! Хотите, я скажу вам, почему вы встаете на его сторону?

Фая молчала.

— Я все равно скажу вам это. Вы ослеплены сейчас своим чувством.

— Не вам судить об этом, товарищ лейтенант, — прервала его Фая.

— Любовь не в том, чтобы повиснуть на шее у любимого, — глухо, но твердо сказал Дашков. Всегда, когда он волновался, голос его звучал приглушенно. — Любовь — это вечное стремление спасти человека, уберечь его от опасности, отвести от него удар судьбы. И если бы вы любили Степунина, вы запретили бы уходить ему с позиции. Это было в вашей власти. И старший сержант Степунин не попал бы в штрафной батальон. А вы, вместо того чтобы винить старшего сержанта Степунина и себя, бросаете самые страшные обвинения другим.

— Откуда вам знать мои чувства? — возмутилась Фая. — Я прошу вас не вмешиваться в мою личную жизнь, товарищ лейтенант! И прошу отчислить меня в другую часть!

— Подайте рапорт на имя командира батареи старшего лейтенанта Возвышаева, — после непродолжительной паузы официально произнес Дашков. — А до тех пор, пока рапорту не будет дан ход и пока не будет принято решение командования, потрудитесь, боец Березовская, выполнять свои обязанности.

— Есть, выполнять свои обязанности! — Фая сверкнула на него все еще не остывшими от гнева глазами и, схватив вещмешок, вихрем пронеслась к выходу из землянки.

Над огневой позицией стояла морозная беззвездная ночь. Фая огляделась. Все, на чем останавливались ее глаза, — онемевший черный лес, мертво застывший на белом снегу, будто уснувшие в своих окопах орудия, две землянки, черневшие своими горбатыми крышами, — все вызывало в ней лишь одно чувство — чувство неприязни и неприкаянности.

Она стояла и раздумывала, в какую землянку идти, где обрести хотя бы временное пристанище. Больше всего она опасалась того, что попадет именно в ту землянку, в которой находится Денис. Она боялась, что не выдержит и, увидев его, снова обрушится на него всей силой своего гнева. Нет, после того как она бросила ему в лицо гневное, раскаленное «Ты предатель!», уже никакие другие упреки не смогли бы казнить его с такой убийственной силой, как эта короткая, схожая с пулей фраза.

Отогнав от себя все другие мысли, Фая сказала самой себе, что после всего происшедшего ей нельзя оставаться на батарее. Прежде всего потому, что она обещала Пла-

тону найти его, найти, где бы он ни оказался. И еще потому, что теперь, без Платона, между нею и батарейцами неизбежно возникнет полоса отчуждения — на нее одну падет теперь вина за гибель бойцов из расчета Степунина.

Итак, решено. Кончится эта проклятая ночь, и утром она пойдет к Возвышаеву. Та самая батарея, с которой она сроднилась в самое трудное время и без которой не представляла и дня жизни, вдруг сделалась чужой и почти ненавистной. Завтра Фая попросит Возвышаева отчислить ее из списков личного состава этой батареи и направить ее в ту часть, в которой Платон.

Приняв решение, Фая стремительно направилась к ближайшей землянке. На смену буре взрывных чувств нежданно пришло спокойствие, готовность к восприятию любых новых ударов судьбы. Пусть в той землянке, в которой она проведет остаток ночи, находится и Денис. Какое это теперь имеет значение? Она просто не заметит его, потому что отныне для нее существует лишь один человек на земле — разжалованный и униженный Платон Степунин, которого она обязана спасти, вызволить из беды и сберечь от смертельного вихря. А все остальное, в том числе и ее любовь к Денису, — мираж.

Фая плечом толкнула дверь землянки и, щурясь от ударившего ей в глаза света коптилки, спустилась по ступенькам, остановилась у стола, сколоченного из горбылей, за которым спиной к ней сидел, накинув на плечи шинель, какой-то боец. Фая подошла ближе. Боец что-то увлеченно писал карандашом на крохотном листке блокнота и даже не слышал, как она вошла.

— Хорош дневальный, — язвительно сказала Фая, небрежно бросая к ножкам стола свой вещмешок. — А если я шарахну гранатой?

Дневальный судорожно обернулся, шинель сползла с его плеч на пол землянки. Фая невольно отшатнулась: на нее смотрели широко открытые, изумленные и растерянные, полные страдания глаза Дениса. Карандаш выпал из его руки и покатился к ногам Фаи. Она быстро, будто он мог взорваться, подняла его и протянула Денису, а он, словно ему парализовало руки, не брал карандаш, а, побледнев, смотрел в глаза Фае.

— Ты не думай. — Непослушные губы Дениса едва слушались его, и то, что он сейчас говорил, было похоже на бред. — Ты не думай, я пишу не тебе. — Он справил-

ся с душившим его ознобом и несмело, виновато добавил: — Я маме пишу...

Эти слова вдруг отрезвили Фаю, и она, чувствуя, что сейчас разревется, прислонилась к опорному столбу землянки, спрятав лицо в тень.

— Не веришь? — все тем же горячечным, как в бреду, голосом продолжал Денис. — Честное слово, маме. Вот, посмотри...

— Не надо! — испуганно воскликнула Фая, отшатнувшись еще дальше, в угол землянки.

— Не хочешь, — подавленно сказал Денис. — Тогда я сам скажу, что здесь написано. Я пишу маме, что я не предатель.

Он произнес это спокойно. И оттого, что он сказал это просто и обыденно, и особенно оттого, что обращал эти слова не к ней, а к матери, Фая вдруг поверила ему и впервые ужаснулась тем страшным словам, которые бросила ему тогда, не задумываясь. И то чувство, которое жило в ней прежде и которое она старалась убить в себе, вновь вспыхнуло в ней, побеждая ее гнев.

Денис медленно встал со снарядного ящика, на котором сидел, и приблизился к Фае, страдальчески посмотрел в ее темные глаза, как бы пытаясь угадать ее мысли. Потом все так же медленно притронулся губами к ее глазам, ощущая на них трепет ее длинных ресниц, и сказал почти спокойно:

— Вот и все... Завтра ты уедешь вслед за Платоном.

— Откуда ты знаешь? — испуганно встрепенулась она.

— Ты уедешь... — не отвечая на ее вопрос, продолжал Денис. — И он тоже скажет тебе, что я не предатель.

Он резко повернулся, сел к столу спиной к Фае, как сидел, когда она вошла в землянку, и механически набросил на плечи шинель.

— Карандаш, — напомнила она, протягивая к нему руку с зажатым в ней карандашом, зажатым так крепко, что если бы Денис попытался его взять, то не смог бы преодолеть силу ее нервно стиснутых пальцев.

— Пусть он останется у тебя, — сказал Денис, не оборачиваясь. — Прощай...

Она, пошатываясь, побрела в тьму землянки, к нарам, на которых спали, похрапывая и беспокойно ворочаясь, бойцы из расчета Дениса. Теперь она снова обрела решимость, которую никто не смог бы сломить. Да, выход у нее

только один. Она уедет вслед за Платоном, и любовь к Денису, которую она, как ни пыталась, не смогла изгнать из своего сердца, останется с ней и остынет на леденящем ветру.

...Фая очнулась от своих воспоминаний и с удивлением обнаружила, что пальцы правой руки крепко стискивают тот самый фронтовой карандаш, которым Денис писал письмо своей маме. Она осмотрела его, как некую драгоценность, поражаясь его долговечности. Давно нет многих людей, живших в ту ночь, а карандаш все живет, и благодаря ему уже запечатлелось на бумаге столько мыслей и чувств в моменты их наивысшего взлета! Фая бережно спрятала карандаш, ставший за многие годы почти наполовину короче.

Часто ли вспоминала она Дениса, когда пришел конец войне? Наверное, часто, особенно когда оставалась одна. Мысленно переносилась на батарею старшего лейтенанта Возвышаева, загадывала: жив ли, погиб ли? Хотелось верить, что жив и что после войны придет такая жизнь, в которой не будет ни потерь, ни разлук, ни размолвок, а будет гармония чувств и единство помыслов. Правда, лейтенант Дашков пророчил другое.

— Горькая придет победа, — устало говорил он, поглядывая на Фаю, как бы изучая ее реакцию на свои невеселые слова. — Сколько вдов, сколько сирот, сколько калек она, проклятущая, наплодила. Сто лет пройдет, а горечь не исчезнет. Война, она в каждом сердце, в каждом доме окопалась, и ничем ее оттуда не выкуришь, нет такого артобстрела.

«Да, лейтенант Дашков считал именно так, но ведь стар он уже, этот Дашков, и смотрит он не в будущее, а в прошлое», — думала Фая.

— И все равно, победа — это счастье! Даже не верится, какое это счастье! — убеждала Фая, словно в этом нужно было убеждать Дашкова.

— Для живых, — уточнял Дашков, делая вид, что спорит всерьез. — А для тех, кто полег?

— И для тех, кто полег! — загорелась Фая, готовая немедленно доказать свою правоту. — Они тоже почувствуют ее, победу!

— Мистика, — грустно отвечал Дашков. — Но в принципе верно.

Победа пришла. И принесла с собой не просто взрывное ощущение триумфа — было такое чувство, будто и земля,

и небо, и солнце, и все, что существовало на земле, — все это родилось заново. Родилось, чтобы дышать взахлеб, смеяться от безграничного счастья, удивляться чуду, при котором исчезли горизонты и видно всю планету, летящую в космической мгле. Для Фаи ощущение счастья было наиболее полным — в немецком городке, где-то уже у самого Берлина, она встретила Платона Степунина.

Вблизи от перекрестка пустынной улочки, где неправдоподобно ужились кусты жасмина за металлической сеткой ограды и груды красного кирпича — последствия того, что снаряд разворотил угол дома, — Фая, перебегавшая дорогу, чтобы нагнать свою батарею, уже скрывшуюся за углом, вдруг увидела приткнувшийся к узенькому булыжному тротуару «виллис». Водитель его, немолодой усатый боец, менял колесо. На сиденье, неловко опершись левой рукой, лежавшей на перевязи, о спинку, сидел человек в форме пехотинца. Мельком взглянув на него, Фая, будто от шальной пули, споткнулась и замерла на месте. Она узнала Платона и опрометью бросилась к машине. Она хотела окликнуть его, но голос ей не повиновался — что-то тугое, горячее захлестнуло слова, и потому Платон обернулся к ней лишь тогда, когда услышал звонкий стук подковок ее сапог, пулеметной дробью рассыпавшийся по булыжнику. Оборачивался он медленно — быстро повернуться мешала раненая рука. Платон увидел Фаю в тот момент, когда она в бурном порыве вскинула к нему руки, словно готовясь взлететь.

— Это... ты! — только и смогла выдохнуть она и приникла к его плечу.

— Фая... Файка! — Казалось, Платон и смеется и плачет одновременно. — Жива, Файка! Жива!

Она молчала, судорожно обхватив Платона за плечо, и только смотрела на него, смотрела так пристально и с таким тревожным предчувствием, будто он мог в любое мгновение снова исчезнуть в пыли теперь уже мирных дорог, в тумане, клубившемся над водными переправами, в адском нагромождении развалин.

Слегка отстранив Фаю, Платон вылез из машины, и они, не сговариваясь, вошли в распахнутую калитку разрушенной дачи и сели прямо на траву возле кустов жасмина.

— Ну что, — уже обретая дар речи, спросила Фая, задорно глядя Платону в обветренное, продубленное солнцем лицо, — сдержала я слово? — И, не ожидая ответа,

заговорила горячо и сбивчиво: — А ты небось не верил? Думал, сумасбродная, глупая девчонка! Нет, ты не мог так думать обо мне. Если я сказала, значит, умру, но выполню. Ты еще меня не знаешь! Но как здорово, что мы живы! Кончилась война, а мы живы! Нет, невозможно, ну просто немыслимо в это поверить! А в чем-то ты изменился! И такой вроде, как был тогда, на батарее Возвышаева, и совсем не такой!

— Такой я, Файка, совсем такой...

— Нет, не спорь со мной!

Она оторвала взгляд от его лица и с улыбкой осмотрела его всего.

— Ты уже лейтенант? — погладила она рукой полевой погон Платона, чувствуя ладонью холодок двух металлических звездочек. — И орден! Да еще какой — Отечественной первой степени!

— И орден, и без руки. — Лицо Платона потемнело, как от набежавшей хмары.

— Ой, как же это про руку-то не спросила? Осколком?

Платон кивнул.

— И серьезно?

— Наверное, оттяпают.

— И что же ты? Почему не в госпитале?

— Тю на тебя! — воскликнул Платон, и Фая, не выдержав, рассмеялась, услышав его типично казачье выражение. — Победа же! Какой, к лешему, госпиталь!

— А если останешься без руки, как обнимать меня будешь? — смеялась Фая.

— Не останусь! Ты меня вылечишь, Файка! А если что, я и одной рукой тебя так прижму — пощады запросишь. Капитально!

Усатый водитель, с упитанных, будто припухших щек которого струились крупные капли пота, уставившись на них, доложил, что машина готова.

— Понимаешь, — сказал Платон, обращаясь к Фае, — уже второй прокол, пока едем. Колючей проволоки навалом, капитально. Думали, удержат нас. Дудки! — Веселое лицо Платона погрустнело. — Так что, опять расставаться? И не думай, я тебя теперь ни на шаг не отпущу.

— Хорошо, хорошо, води меня на поводке, — в тон ему ответила Фая. — Да я и сама от тебя не отвяжусь, еще не рад будешь!

— А знаешь что, — озарило Платона, — сегодня у нас в батальоне торжественный ужин. Приглашаю!

— Мне отпроситься надо.

— Какое там разрешение, если войне конец?! — беспечно воскликнул Платон.

— А дисциплина? — лукаво прищурилась Фая. — Я в штрафбат не хочу...

Она вдруг осеклась, увидев, как при этих словах потемнели и будто бы утонули в воспаленных впадинах глаза Платона.

— Вот разве что вместе с тобой... — неловко пыталась поправить свой просчет Фая.

— Штрафбат уже история, — махнул здоровой рукой Платон. — И если хочешь знать, через этот штрафбат я жизнь по-другому увидел. Совсем по-другому, капитально...

— Не надо об этом, — остановила его Фая. — Лучше подвези меня до нашей батареи, может, отпустят.

Они сели в «виллис», и машина, подпрыгивая на выбоинах, объезжая битый кирпич и мотки колючей проволоки, медленно поехала по безлюдной улице.

Платон обнял ее правой рукой, притянул к себе и как бы нехотя спросил:

— А ты... все в той же батарее?

— Нет! — поспешно ответила Фая. — Я всего-то недельку пробыла там после того, как ты уехал.

— Это хорошо, — не сдерживая радости, шумно вздохнул Платон. — Это ты хорошо сделала, Файка. А Возвышаев, не слыхала, жив?

— Погиб. Один боец рассказал.

— Значит, погиб Возвышаев, — как бы подводя черту под каким-то особым периодом своей жизни, сказал Платон.

— А больше ничего и не знаю о нашей батарее, — с прежней торопливостью сообщила Фая. — Где она воюет...

— Отвоевалась уже, — с горечью в голосе поправил ее Платон. — Празднует, как все, победу...

Фая осторожно взглянула на него, боясь, что сейчас он начнет ворошить прошлое.

Однако Платон то ли сам не захотел заводить этот разговор, то ли почувствовал напряженное состояние Фаи. Улыбнувшись во весь свой большой белозубый рот, он, отогнав прочь нахлынувшее прошлое, восхищенно присвистнул:

— Ох и гульнем мы сегодня с тобой, Файка, небу жарко станет!

Фаю вопреки ее опасениям комбат отпустил сразу. У всех и, конечно же, у командиров было приподнятое, праздничное настроение, такое, при котором не только никого не хотелось огорчать, а, напротив, всем хотелось приносить радость и делать добро. Когда Фая осторожно промолвила, что просит отпустить ее до двадцати трех ноль-ноль в расположившийся по соседству стрелковый батальон, комбат, лихо и понимающе подмигивая, рявкнул:

— Никаких двадцати трех ноль-ноль! До утра! Разрешаю! Жаль тебя пехоте отдавать, но — разрешаю!

Вечером, когда над городком начали сгущаться сумерки, Фая, как и условились, пошла в батальон. По приметам, которые ей объяснил Платон, а главное, по тому, что батальон размещался в уцелевшем неправдоподобном громоздком кирпичном сарае на берегу крохотного озерца, лениво плескавшего вздыбленной майским ветром волной в низкий, заболоченный берег, она быстро нашла Платона. Он встретил ее у ворот с радостным удивлением:

— И когда только успела так преобразиться!

Действительно, сейчас Фая выглядела совсем по-другому. Тогда, когда она, словно споткнувшись о невидимое препятствие, увидела Платона, безучастно сидевшего в «виллисе», и помчалась сломя голову к нему, на ней была измятая, забрызганная жидкой грязью юбка, заметно вылинявшая гимнастерка, а фасонистые сапожки, специально для нее сшитые батарейцем-умельцем, давно не ведали обувного крема. Теперь сапожки отливали зеркальным блеском, гимнастерка и юбка были, что называется, с иголочки, и сама Фая, казалось, вся светилась радостью встречи.

Платон несколько смущенно оглядел себя, понимая, что рядом с Фаей он явно проигрывает.

— Я и не догадался, — оправдываясь, развел руками он. — Да с моей рукой и несподручно переодеваться.

— Сегодня празднуем, а завтра — лечиться, — категорично заявила Фая.

— Это мы еще поглядим, — упрямо сжал губы Платон.

— Ну и дуралей, — взъерошила его волосы Фая. — Ну и вредный казачишка!

— Пойдем, там уже все готово.

Платон провел Фаю почти к середине стола и усадил ее рядом с командиром батальона — маленьким сухоньким майором с черными гусарскими бакенбардами, которые скрывали почти все его сухощавое, лишенное примет возраста лицо.

— Знакомься, — Платон неуклюже подтолкнул Фаю. — Командир нашего батальона майор Ненашев.

— Майор Ненашев? — удивленно, борясь со смехом, переспросила Фая.

— Так точно, майор Ненашев! — звонким молодым голосом подтвердил майор, вскакивая со своего сиденья. — Очень приятно познакомиться!

— Березовская, Фаина, — все еще борясь со смехом, проговорила Фая.

— Товарищи! — Торжественный голос майора, казалось, навылет прошел через черноту высокой деревянной крыши и вознесся к вечернему небу. — Предлагаю третий по счету тост: за женщин! За таких же красивых и юных, как пришедшая к нам Березовская Фаина. — Он передохнул, пристально всмотрелся в Фаю, как бы проверяя точность и достоверность своих слов, и продолжил: — За фронтовичек, которые вместе с нами прошли всю войну...

Фая смутилась, раскраснелась, ткнулась лицом в плечо Платона, пытаясь спрятать его от десятков глаз — любопытных, умиленных и почти влюбленных.

Всем, чем жила сейчас Фая, — волшебством нежданной встречи с Платоном, ликованием людей, от которого — пусть чуточку! — зависела эта казавшаяся такой далекой, порой несбыточной победа, — все это представляло сейчас собой то особенно дорогое и бесценное счастье, в которое было трудно поверить. И от этого каждая минута этого вечера была как бы наполнена не только ожиданием чуда, но еще более острой тревогой за то, что все, что происходит сейчас с этими счастливыми людьми, может исчезнуть в одно мгновение, точно так же, как в одно мгновение погасло тихое, мирное небо в июне сорок первого года.

Майор Ненашев с той же серьезностью, с какой произносил тост, пригласил Фаю на танец.

— Ой, я уж и танцевать за войну разучилась! — зарделась Фая, оборачиваясь к Платону и как бы спрашивая у него разрешения на танец с Ненашевым.

Платон как-то странно улыбался и не отвечал. Нена-

шев уже по-хозяйски цепко держал Фаю за локоть, увлекая ее за собой в круг танцующих. Звуки знакомого танго ворвались в душу Фаи как фейерверк, и только в эти минуты ей наконец-то поверилось в то, что война позади и с каждым мгновением уходит в прошлое, в историю, а они — и Ненашев, выделывающий сейчас немыслимые па, и Платон, неотрывно следящий за тем, как она танцует с майором, и все эти бойцы, которым нет пары и которые танцуют сейчас друг с другом, — все они стоят на пороге новой жизни, совсем не похожей на ту, в которой они жили до сих пор.

Фая танцевала словно впервые. Казалось, в душе ее живет лишь одно всевластное чувство — чувство полета, высоты, где гудят свободные ветры.

Она не помнила, когда смолкла пластинка, как Ненашев торжественно и чинно поклонился ей, благодаря за танец, и подвел к столу. Лишь когда Платон жарко дохнул ей в щеку и Фая, продолжая беспричинно улыбаться, взглянула на него и поняла, что он совсем пьян, — лишь тогда она вспомнила, где она находится.

Ненашев торопливо наполнил кружку водкой, лихо вскочил, будто намереваясь поднять батальон по тревоге. Радостное возбуждение, которое охватило его во время танца с Фаей, видимо, вселило в него радужные надежды, и он из смирного и подчеркнуто делового командира вдруг превратился в отчаянного, почти влюбленного парня.

— Дорогие друзья мои, фронтовики! — Сейчас уже было похоже на то, что Ненашев держит речь с трибуны. — Поднимем бокалы и сдвинем их разом! Мы славно выпили за всех фронтовичек. Но среди них есть одна. — Он обратился к Фае...

— Погоди, комбат. — Платон по-медвежьи облапил его и потянул к себе кружку. — Сколько тебя знаю, даже не подозревал, что ты такой речистый. Ты так весь вечер и будешь речи толкать? Несправедливо это, комбат.

— Зачем ты так, остынь, — попробовала урезонить его Фая.

Платон вырвал кружку из цепких рук комбата и, перекрывая шум, волнами катившийся над столом, возвестил:

— Прошу всех выпить за жениха и невесту!

Неожиданный тост подействовал как гром: все смолкли.

— Ты сошел с ума! — прошептала Фая, хватая его за рукав.

Платон не обратил на нее ни малейшего внимания и продолжал:

— И пусть этот торжественный вечер станет и нашей свадьбой.

И в то же мгновение раздались требовательные и восторженные выкрики:

— Горько!

— Ох, совсем горько!

— Да горько же, дьявол вас забери!

Платон опорожнил кружку, схватил Фаю в охапку и стал целовать. Ненашев обескураженно и разочарованно смотрел на эту сцену и вдруг взвился протяжным, похожим на стон воплем:

— Го-о-о-рько-о!

Фае с трудом удалось вырваться из рук Платона, она отбросила в сторону табурет, на котором сидела, и, плача от стыда и обиды, стремглав бросилась вон из сарая. Только сейчас, опомнившись, она поняла, что совсем не так представляла встречу с Платоном. Почему он так поступает с ней? Он не сказал еще ни одного ласкового слова, не спросил, согласна ли она стать его женой, а уже все решает за нее.

Фая опрометью выбежала из сарая. Стояла темная, тихая и безветренная ночь. Она всей грудью вдохнула чистый прохладный воздух и, плача, запрокинула голову к небу. Там, в немыслимой высоте, сияли звезды. Их было много — одни, казалось, горели совсем близко, от земли, другие лишь угадывались, как едва тлеющие угольки.

9

Фая возращалась домой поздно ночью. Весь вечер она сидела в поселковой библиотеке. Здесь, в книжном царстве, Фае работалось особенно хорошо. Но к ощущению радости, порожденному завершением диссертации, примешивались иссушающие думы о той своей двойственной жизни, которой она жила последние годы.

Фая была искренне рада тому, что Платон победил свою хворь. День, в который он выписался из больницы, был для них праздничным. И все же она была недовольна собой и мысленно все время ругала себя.

Теперь ей предстояло новое, еще более страшное испытание — признание Платону в своей беременности, — признание, которое может снова убить его. Пока Фая

писала диссертацию, эти мысли уходили куда-то в сторону. Но стоило ей отключиться от работы, как тревога, тоска и смятение снова терзали ее.

Сегодня Фая торопилась домой. Поглядывая на часы, она ругала себя за то, что позволила задержаться позже обычного. Платон, вероятно, волнуется. И у нее что-то ноет сердце.

Было морозно. Дорога из библиотеки к дому показалась ей вечностью. Она спотыкалась на скользких, уже покрытых тонким ледком, дощатых тротуарах, боясь упасть, перепрыгивала через замерзшие лужи, и ей казалось, что она так никогда и не приблизится к своей квартире. Сердце ее гулко заколотилось, когда, завернув за угол темной, схожей с бараком постройки, она увидела наконец дом, в котором жила, — трехэтажный, чем-то напоминающий корабль, и два окна своей квартиры на втором этаже. Они были темны!

То предчувствие, которое зародилось у Фаи еще в библиотеке, сейчас, когда окна уставились на нее своей мрачной нелюдимостью, вспыхнуло в ней с новой силой, и она, не выдержав, побежала по дорожке.

Трель звонка была схожа с громовым раскатом, но именно в тот момент, когда Фая услышала этот страшный полуночный звук, она обреченно поняла, что ей никто не откроет. С трудом найдя в сумке ключ, она распахнула дверь и вихрем ворвалась в квартиру. Щелкнув выключателем и в первый момент прищурив глаза от яркого света, она медленно, боясь увидеть что-либо страшное, открыла их и сразу поняла, что Платона в квартире нет. Щелкая выключателями, она металась от спальни к гостиной, от гостиной к кухне, от кухни к ванной — Платона нигде не было. Фая заглянула в шкаф — пальто и шапки мужа на месте не оказалось.

Она еще раз заглянула в гостиную. Там стоял письменный стол. Обычно заваленный книгами, бумагами, он был сейчас чист, и на его темном матовом покрытии отчетливо выделялась небольшая стопка белой бумаги, прижатой — чтобы не слетела на пол — массивной, из малахита, вазочкой для карандашей.

Фая схватила эти листки бумаги. Они оказались исписанными рукой Платона. Она, чувствуя, что теряет силы, медленно опустилась на диван и стала читать. То, что писал Платон, вначале совершенно не было похоже на письмо. В нем отсутствовало прямое обращение к Фае,

даже не называлось ее имя. Казалось, это были просто деловые бумаги Платона, выписки из каких-то книг.

«Две тысячи лет назад в Древней Греции, — писал Платон, — возникло сказание об Атлантиде. Целая страна в одно мгновение исчезла в пучине океана. И до сих пор никто не обнаружил ее. И не ответил на вопрос, почему она погибла. Неожиданно поднялся уровень океана? Или внезапно опустилась суша? Но если верить описанию древнегреческого философа о том, что Атлантида изобиловала горными хребтами, то могло ли это произойти мгновенно? В таком случае, может быть, гигантская катастрофа?

Утверждают, что Атлантида была больше Африки и Азии, вместе взятых. Значит, для уничтожения такой махины нужна геологическая катастрофа в тысячу раз большая, чем те, что происходили в истории человечества.

Ты спросишь, к чему я вспомнил об Атлантиде. К тому, что Атлантида — это я. Меня больше нет, и лишь один я знаю, почему я погиб. Ты оказалась той адской волной, которая меня уничтожила. Я сметен, погребен в океанской пучине, и еще много тысячелетий спустя, а точнее, столько, сколько будет существовать наша Земля, никто не узнает об этой человеческой катастрофе. В отличие от Атлантиды никто не заведет жарких дискуссий о причинах моего исчезновения. Только теперь я осознал, до каких вершин благородства и до какой низости может подниматься и опускаться существо, именуемое человеком. Нет, это не о тебе, и не обо мне, и не о том, третьем. Это о человеке вообще, а значит, и о тебе, и обо мне, и о том, третьем...»

Далее Платон обращался только к Фае...

В сущности, все было ясно. Платон принял решение, которое, наверное, давно созревало в его душе.

«Не хочу винить ни тебя, ни себя, — продолжал он. — Во всем виновата война. Правда, это облегчает развязку? Эхо войны... Оно поможет человеку найти оправдание тем поступкам, которые истязают его совесть. Объясним все это войной, которая не только разрушала города, уничтожала людей, но и калечила их души».

Чем дальше читала Фая письмо Платона, тем все больше удивлялась тому, что даже в те минуты, когда он обдумывал эти строки и, по существу, прощался с ней, его воля оставалась все такой же стойкой. Нет, она не

смогла бы написать ему последнее письмо вот так — философствуя и жалея одновременно.

«Итак, я ухожу, — завершал свое письмо Платон. — Нужны ли тебе мои координаты? Наверное, нет. Страна у нас большая, и небо над ней высокое, тайга бескрайняя — найдется, наверное, пристанище и для меня. Адрес свой сообщу Артему. Он — единственный, кто теперь остается у меня.

Я ни о чем не жалею».

Фая сидела неподвижно, не зная еще, радоваться ей или страдать. Единственное, что она твердо знала, — начинается новая полоса ее жизни. Как он написал, Платон? «Эхо войны»?.. А разве он не прав?..

10

Был апрельский день, похожий одновременно на зиму и на весну. Солнышкин неторопливо прогуливался по своему переулку, когда будто с небес опустилась к нему веселая почтальонша Сима и, озорно глядя на него, торжественно протянула телеграмму — протянула, как дар судьбы.

— Спасибо, Сима, — слабо улыбнулся Денис. — Ты меня где угодно разыщешь.

— Хоть на краю света! — засмеялась Сима и весело побежала со своей тяжелой сумкой к ближайшему дому.

Денис прочел телеграмму, все еще не веря в реальность того, что произошло там, на далекой Чукотке, в этом бушующем, как океан, мире, среди миллиардов других событий — радостных и трагических. В телеграмме было всего три слова: «Родилась дочка. Фая». И все. Но эти три слова, как внезапный раскат грома, ударили в его сердце: на земле, где жили, боролись, сияли от счастья, страдали, умирали и вновь рождались люди, где с сатанинской скоростью ослепительно ярко, как звезды в черной ночи, мчались во времени и пространстве, вспыхивали и угасали события, люди и даже целые народы, где неумолимо нацеливались друг на друга способные расколоть земной шар, как орех, ракеты, — здесь, на этой земле, появилось еще одно существо, настолько близкое ему, что с этого мгновения и солнце, и звезды, и сама земля стали иными.

Промчатся дни, пройдут годы, десятилетия, не будет уже на этой земле ни его, Дениса, ни Фаи, а та, которую создали они своей любовью, будет жить, работать, иметь

своих детей, любить и страдать, мечтать и надеяться на счастье. Как будет тогда на земле? Осилит ли людей безумство, и они наперекор законам жизни вновь предадутся взаимному истреблению, и Земля станет такой же безжизненной, как миллиарды других звезд, планет и созвездий в непостижимых глубинах вселенной? Или возобладает разум, и незакатное солнце будет дарить свое тепло все новым и новым созданиям великого и прекрасного человеческого племени, и мозг человека сотворит чудо — откроет тайну бессмертия, и новые люди будут удивляться тому, что их предшественники умирали так безжалостно быстро, не успев ощутить пронзительного счастья жизни? Будущее зависит от самих людей, как зависит от них прошлое и настоящее. И наверное, зависит и от той маленькой девочки, что лежит сейчас, стиснутая пеленками, в своей кроватке, где-то среди снегов и ледяных торосов на самом краю земли. Да, и от нее тоже!

Он сел в машину. Не заметил, как доехал до Центрального телеграфа. Приблизившись к окошку, взял телеграфный бланк и решительно вывел на нем слова, которые рвались сейчас наружу из его исстрадавшейся души: «Пусть здравствует новая Фая. Денис».

И тут, протянув в окошко бланк, протянув, словно в иной мир, он вдруг осознал, что вся его прошлая жизнь не была истинной жизнью, а была лишь подготовкой к ней. Но ведь впереди была уже не сама жизнь, а ее завершение...

Каждый новый день начинается с восхода солнца, потом оно какое-то время находится в зените, а к вечеру устало идет к своему закату. Но утром снова всходит солнце, и начинается новый день... Что принесет он людям? Денис был твердо уверен в том, что это зависит и от всего человечества и от каждого человека. Ибо у каждого, как мыслил философ, есть звездное небо над головой и моральный закон в душе.

●

Анатолий СОФРОНОВ

В ГЛУБЬ ВРЕМЕНИ

Роман в стихах

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

I

Чем больше мы о том читаем,
Чтó пережить нам довелось,
Тем глубже ныне понимаем,
Как все непросто нам далось!
В те дни безжалостные сводки
Стреляли в нас прямой наводкой!
И вся страна передним краем
В те дни была — в дожди, в мороз...
История, она сурова,
Коль неподкрашено в ней слово.

Пусть для кого-то эти строки
Теперь высокопарны — пусть...
Но чем уходят дальше сроки,
Чем дальше и длиннее путь, —
Тем нам — до боли и до дрожи! —
Те дни становятся дороже.
О, подвиг Родины высокий!

Первые четыре части романа в стихах Анатолия Софронова «В глубь времени» опубликованы в нашем журнале в № 6 за 1978 год, в № 8 за 1979 год, в № 8 за 1980 год и в № 12 за 1981 год.

С той высоты дано взглянуть
За все моря и океаны,
Широты и меридианы.

...Война для нас не лотерея,
В ней личных выигрышей нет.
С позиций разных батареи
Нацелены и в твой билет,
В билет обычный твой — военный,
Что был и будет незабвенным.
Как погасить враги скорее
Хотели этот теплый свет...
Билет военный! Даты... Даты...
А между ними — жизнь солдата.

Все очень просто в этом мире,
Печатей, штампов всех — не счесть...
Пока ты дышишь — многим милый,
Ведь ты живешь, ты, значит, есть!
Есть дома, в книжке телефонной
И на работе напряженной.
И в драме грустной... И в сатире,
И в жанрах тех, что не учесть...
Ты есть — я повторю — живешь
И — худо-бедно — воз везешь.

Теперь, когда десятилетья
Незабываемо прошли,
Ты все запомнил, все заметил —
Цветы и запахи земли;
Ты тех запомнил, что одной
Дорогою прошли с тобой...
И ты за них за всех в ответе,
Хотя и сами бы смогли...
Когда б — не буря мировая,
Когда б — судьба у них иная...

Ах, Платов, Платов, нет, раненье
Тебе не просто так прошло...
Врачами высказано мненье,
Что все не так-то хорошо.
Ты улыбался через силу —
Ведь боль в руке не проходила,

Раненье — это не паденье,
Не кожу — кость тебе сожгло.
Терпел. И был уж тем доволен,
Что ограниченно, но годен!

Пока что так... А дальше видно
Все будет. Мы решим, как быть.
И это, право, не обидно —
В таком тылу тебе служить.
Да тыл ли это? Тыл московский,
Он не сибирский, не свердловский...
Кому-то, может, и завидно
Такую должность здесь открыть,
Где чувствуешь дыханье фронта
Почти что рядом с горизонтом.

Короче — «станция» на время
С названием «Воениздат».
Ты дело принял как доверье —
Ведь политрук везде солдат.
Уйдя в работу, понимаешь,
Что кое-что уже ты знаешь.
Познал войны нелегкой бремя...
А книга каждая — снаряд:
Одних — в сраженье — поражает,
Других — к победе поднимает.

Зима прошла. К весне тянуло...
И вспоминался мир порой...
Но нет, война гудела гулом,
Ведь год-то шел сорок второй!
Пусть от Москвы был враг отброшен,
Но юг, но север в знобкой дрожи...
Пусть здорово врага тряхнуло,
Но далеко не кончен бой.
Победы будущей предвестьем
Сжимал народ кулак возмездья.

«Эрэсы», танки, самолеты
В войска, прикрыты темнотой,
На помощь матушке-пехоте
Все шли и шли, чтоб завтра — в бой!
Но и другое шло оружье
В войска, мы с ним неплохо дружим:

Оружие — и в переплетах
Да и брошюрками порой...
Оружье — на простой бумаге.
Но сколько было в нем отваги!

Да, наше слово было делом,
К которому причастен ты, —
От типографских стен летело
На все суровые фронты, —
Как воздух чистый для дыханья,
Как хлеб насущный для питанья.
Сравненье — скажут — неумело...
Не соглашусь! Ведь, как бинты,
Лекарства, гипсы, инструменты,
Оно — для тяжкого момента.

...Однажды старший наш редактор
К себе по делу пригласил
И даже необычно как-то
Меня по-дружески спросил:
— Вы, Платов, родом из Ростова?
— Да, из Ростова...
                    — А готовы
Туда поехать?
                    — Это правда?! —
Я, как мальчишка, счастлив был
От этих слов, не ожидая,
Что радость вдруг придет такая!

Я в мыслях жил уже Ростовом,
Ведь там моя семья живет.
— Тогда езжайте, коль готовы...
Там Южный фронт... Там опыт ждет.
Писатели там, журналисты,
Вас встретят все с душою чистой,
Потом живым расскажут словом
О тех, кто немцев грозно бьет.
Я отдаю приказ?
                    — Конечно! —
Воскликнул даже чуть поспешно.

— Успеха вам!
                    — А вам спасибо,
Ведь это счастье для меня! —

Взглянул в глаза ему... Красивый...
Уже густая седина
Короткой стрижкой обрамляла
Его виски — зимы начало...
И все ж душа его носила
Весенний, светлый отблеск дня.

— Спасибо!.. — В коридор я вышел,
От счастья сердца стук не слыша.

II

Подумать только, что за сроки?!
Еще и года не прошло —
Все кажется таким далеким,
Так время сердце обожгло,
Что даже соразмерить трудно —
Лишь в памяти живет подспудно, —
Каким путем, какой дорогой,
Куда нас время привело?
Судьба любого человека —
Всего лишь отпечаток века.

А кто об этом будет спорить?
Безухов, Мелехов! Давно
Их жизни непростая повесть
Вошла в сердца, живет в кино.
Неповторимы — не иначе! —
А это очень много значит, —
Искатели с мечтой во взоре,
Они близки нам оба, но...
В пути друг с другом не сойдутся,
Пройдут... Быть может, оглянутся.

И это можно б не заметить,
Но там война и тут война;
И каждый перед ней в ответе,
Своя для каждого она.
Героев тьма... И нам привычно
Их в жизни повстречать обычной...
Но... Мелехов, Безухов... эти
Так непохожи! Ни одна
Их — вечных — личность не заменит, —
Им душу дал обоим гений.

Так думал я о том, об этом...
И был расплакаться готов,
Когда, согрев себя билетом,
В который раз читал: «Ростов».
Смотрел в окно на те деревья,
С которыми встречался, верно;
На те помеченные метой
Совсем, совсем иных годов,
Когда снаряды не свистели,
А птицы в синем небе пели.

Ты едешь в свой любимый город,
Где вырос ты, где был юнцом...
И он тебе все так же дорог,
И вспоминаешь ты о том,
Как Дон переплывал, бывало,
Как в пионерах запевалой
Бывал всегда, без разговоров,
И стал любителем потом
Казачьих песен, грустных, длинных,
Обозначавших те долины,

Которые в окне мелькали,
Как будто говоря: «Твои...»
И даты жизни называли,
И все атаки и бои
Пока еще короткой жизни,
Что прожил ты без укоризны.
...А вот и Дон! Здесь на причале
Все якоря твоей любви.
И той — единственной, крылатой —
Одна Отчизна у солдата.

Разъезды. Стрелки. Водокачки.
И вдруг — разрушенный вокзал,
Что в небе темном обозначен
Меж стен кирпичных, как провал.
Не удержать сердцебиенья —
Все изменилось, даже тени.
А это для тебя все значит,
Что свой причал едва узнал...
Выходишь молча из вагона,
Неслышно, робко, как ребенок.

Мешок солдатский за плечами,
Консервы, сахар в нем, пшено;
В Москве короткими ночами
Ты думал — будет здесь темно.
Фронт очень близок. К Таганрогу
Лежит военная дорога.
Веселый город мой в печали,
Все испытать ему дано.
Всего неделю немцы были,
Но как же город разорили!

Теперь я сам увидел это,
Когда с вокзала в горку шел...
И все ж, под белым лунным светом,
В развалинах, но город цвел.
Нет, не ошибся я — в цветенье
Акаций шелесты и тени;
Хоть поздний вечер, но заметно,
Что ожидал я — то нашел,
Когда к вокзалу патрули
По мостовой навстречу шли.

Но вот стою уже у дома...
Стучу вполсилы кулаком.
Молчанье... Тишина... Знакомо
Здесь все мне... Это же мой дом!
Еще стучу... И слышу голос —
Как будто небо раскололось —
Да это ж мама! Нет, не громом,
А тихим словом поражен,
Привык за три десятилетья, —
Ведь мамин голос помнят дети...

— Открой мне, мама!
— Леша, ты ли?
— Конечно, я... Никто другой! —
И двери тотчас же раскрылись.
И мать, седою головой
К груди моей припав, прижалась,
Заплакала, не удержалась.
И в дом вошли, где свечи стыли,
Дрожали под ее рукой.
— Да как же ты?
— Да так вот, мама...
Я посылал вам телеграммы.

— Да что ты, Леша? Наша почта... —
И все с меня не сводит глаз. —
Бывает разве неурочно,
Что поднесет она для нас...
— Но, мама, я не вижу Настю...
Она здорова? Иль несчастье?..
— Да нет, Алеша... Вышло срочно
В село отправиться как раз...
С продуктами не так-то важно,
Вот Настя и пошла отважно...

— Куда пошла?
                    — В район далекий,
Там есть знакомый ей совхоз... —
И тут с надеждой и тревогой
Сказала: — Может, кто подвез?..
— Когда вернется?
                    — Не сказала...
Да если б только Настя знала!
Да что стоишь-то?.. Чай, с дороги...
— Паек вот из Москвы привез... —
И, развязав мешок солдатский,
Консервы протянул с колбаской.

А мама, замерев, стояла.
И я смотрел как сквозь туман
В ее лицо...
                    — Я так устала,
Сынок... Тут, возле дома, танк
С фашистской свастикою черной...
Пять дней стоял. Один. Упорно... —
И, вспомнив что-то, замолчала... —
Не немцы, Леша, ураган
Пронесся над Ростовом нашим,
С вокзала и до «Ростсельмаша».

...Я слушал маму... И тревога
Сжимала больно сердце мне;
Пройдет три дня — и вновь дорога
По Украине, что в огне, —
Через Донбасс, к Донцу степному,
Поближе к фронтовому грому,
Туда, где с берега отлогого,
Навстречу пенистой волне

Полынь прогорклая спускалась...
...А Настя все не возвращалась...

III

Так день прошел... Другой и третий —
Все Насти не было и нет...
И вдруг товарища я встретил,
Петра Никитина... Сосед
Когда-то был он мне по дому,
Товарищ мой, а не знакомый;
Меня у дома он заметил
(Я знал, что он корреспондент).
— Петро?! Ты здесь? — его спросил я.
— А где ж мне быть? Пока в России...

«Известия» я представляю...
Война идет. Смотри — пиши.
Ты в Старобельск?
— Еще не знаю.
— Не отсидишься здесь, в тиши...
Там совещанье журналистов,
Писателей и очеркистов;
Я послезавтра уезжаю...
Поедем вместе?
— Но...
— Реши,
Моей машиною мы вместе
В Донбасс докатим честь по чести.

Что было делать мне? Петру я,
Что нет Настасьи, рассказал.
— Попробую узнать к утру я,
Все находил, когда искал...
Попробую помочь, Алеша,
Хоть в села путь сейчас тревожен...
Там враг особенно лютует...
Агентов всяких насовал...
Так что ж, не едешь?
— Нет, поедем.
— Неблизко, брат, нам до победы.

Мы это видим здесь воочью,
До фронта тут подать рукой,

Орудья бьют и днем и ночью...
Какой здесь может быть покой,
Когда до самого Ростова
Война пришла в огне суровом?
Отыщем Настю... Ты не очень
Впадай в тревогу... Не такой
Ты был... — И вдруг добавил тут же: —
Война нас всех меняет, друже...

Мы попрощались, сговорившись,
Что послезавтра двинем в путь...
А я, весь город исходивший,
Хотел еще хоть раз взглянуть
На Дон, присматривался жадно
К садам, домам и к их парадным...
Не здесь ли мне, в любви открывшись,
И жизни открывалась суть?..
Я шел... И юности виденья
Всплывали, словно сновиденья...

Решил еще я на трамвае
В Рабочий съездить городок;
Он был мне дорог, как товарищ,
Которого в душе сберег.
Здесь пионерами мы были
И с песнями за Дон ходили,
И представления давали —
Стремлений будущих зарок.
...Но вдруг — как ток в меня мгновенно
Ударил... Я заметил Лену.

Она спиной ко мне сидела —
Все та же Лена — у окна,
Не видя никого, смотрела
На тех, кто мимо шел, она.
Вдруг повернулась... Да, конечно,
Все та же Лена... Та же внешность...
Вдруг поднялась... И огляделась...
И тут увидела меня.
Стояла, про себя решая,
Меня решения лишая.

Мы подъезжали к остановке...
Я под руку Елену взял:

— Давай сойдем... — И дверь неловко
Толкнул... И вновь ее позвал.
— Давай сойдем с тобой, Елена... —
Я повторял и постепенно
Пришел в себя... То не уловка
Была. Уж я-то сердце знал.
...Трамвай ушел. На мостовой мы —
Две пули из одной обоймы.

— Ты жив?
— Как видишь.
— И не ранен?
На фронте быть и уцелеть...
— Война, Елена, испытанье,
Тут надо многое уметь...
А ты?
— А я вдова, Алеша... —
И сразу я назад отброшен...
Заката в дальнем небе грани
Вдруг потускнели, словно медь.
Стоял пред ней как виноватый:
— Так, значит, ты вдова солдата...

— С тобой однажды повстречались...
Еще Сергея не любя,
Я шла и весело смеялась,
Но я смеялась для тебя.
Еще тебя тогда любила...
Ты помнишь, как все это было?
Чтоб не заметил ты печали,
Поскольку не свела судьба...
— Я виноват...
— Да что ты?! Что ты?
Еще тебе сейчас заботы?!

— Тебя всегда я помнил, Лена,
Не только в дни тревог и бед.
— Я знаю... Были перемены.
— Откуда знаешь?
— Не секрет,
Что знают двое — вся округа,
Но по секрету друг от друга...
Всему, что было незабвенно,
До дальних дней забвенья нет

Для памяти... Иначе пусто...
Все было бы на свете грустно.

Ты говоришь — меня ты помнил...
А я любила... Для чего?
Чтобы одной в одной из комнат
Сидеть и плакать... Для кого?
И все ж прошла любовь! Минула.
Ее однажды ветром сдуло.
А почему? В каменоломне,
Где, как на кладбище, мертво,
Погиб Сергей... Погиб в Донбассе,
Прошитый автоматной трассой.

...Стояли мы под вешним кленом,
Он тихо-тихо шелестел
Листвою щедрою зеленой,
Как будто в небеса летел.
А я смотрел на Лену тяжко,
Молчанье было, как оттяжка, —
Жестокой правдой потрясенный,
Я на мгновенье онемел.
— Сказала все, как с сердца камень
Сняла... Пусть память будет с нами.

Дай поцелую на прощанье... —
Слова сознанье обожгли.
Почувствовал ее дыханье, —
И руки на плечи легли.
И в этой женщине мгновенно
Я прежнюю увидел Лену,
Как будто к этому свиданью
Мы через дни и годы шли.
И нервно — после — отстранялась...
И удалялась. Удалялась...

Душа, казалось, онемела.
Я шел взволнованный домой...
И думал, думал, чем сумела
Встревожить Лена разум мой.
А может, сердце, а не разум?
Иль это было вместе, разом?
Иль все прошло, все отлетело,
Как желтый лист перед зимой?

Но желтый лист незабываем —
Его мы прошлым называем.

...Я шел, чего-то ожидая,
Спешил домой не просто так;
Что ждет меня, еще не зная,
Все убыстряя каждый шаг...
А вот и дом... Открыты ставни,
Как на рисунке старом, давнем...
Вдруг кто-то двери открывает —
И вот уже в моих руках
Трепещет и рыдает Настя...
— Ну здравствуй!..
— Лешенька?!. О счастье!

IV

Худая, ветрами обдута,
Сидела Настя за столом...
Она иль нет? Она как будто...
А может, я ошибся в чем?
А месяцев прошло лишь десять...
Но сколько в жизни каждый весит?
А каждый день, прожитый круто,
Когда живем и не живем?
Наташа спит, а с нею мама...
А мы в глаза друг другу прямо,

Как ясновидящие, смотрим...
Что могут взгляды рассказать?
Десятой доли... Да и сотой...
Жизнь надо заново начать,
Ведь каждый день — глава в романе.
Но разве смеем мы тиранить,
Друг друга прожитым заботить?
Нам только видятся опять
Все те прощальные минуты,
Когда вокзал был мглой окутан.

Я говорил, она молчала
И все смотрела на меня...
Я спрашивал — не отвечала,
Как будто бы зарок храня,
Кому-то, где-то, как-то данный,

Зарок молчанья первозданный...
Ночь здесь внезапно наступала, —
Война и — значит — без огня.
Затемнены окошки прочно —
Все заново, как первой ночью.

...И вдруг часы остановились
Внезапно, где-то возле трех...
А мы иною жизнью жили,
Все заново, — свидетель бог.
Молчанье... Снова разговоры —
Тревога горькая за город.
Он был и явью нам и былью,
Началом жизненных дорог;
...Мы как убитые сидели —
В нас раны города болели.

А Настя снова, как когда-то,
А впрочем, все не так давно,
Казалась странною загадкой,
Как итальянское кино,
В котором все противоречья
То разгораются, как свечи,
То гаснут бликами заката.
И все потом темным-темно.
Бывают женщины на свете,
Которых трудно не заметить.

Такой все больше открывалась,
Теперь уже моя жена,
Что просто Настей называлась
И все ж была она о д н а;
О д н а, пусть даже меж другими,
Нося простое это имя;
То вдруг нежданно улыбалась,
Притом серьезности полна.
Так, до предела откровенно
Делилась тайной сокровенной.

Мы говорили, наши взгляды
Привыкли быстро к темноте,
Ведь главное — мы были рядом,
И были те ж мы и не те.
— Я не хочу, сроднясь с тобою,

Вторично, Леша, стать вдовою...
Ты спас меня... Теперь не надо
Уже спасать меня нигде.
Прошу, чтоб все не стало прошлым,
Побереги себя, Алеша...

С утра до ночи рядом, вместе,
Не расстаюся я с тобой,
Мы одного с тобой созвездья,
Одной повенчаны звездой... —
Не знаю, поздно ль, рано ль было,
Все Настя тихо говорила,
И речь ее лилась как песня,
Как будто бы сама собой...
И сказано так было много
Мне этим долгим монологом.

Не знал я — сколько нам осталось
Изведать горестей и бед...
Сквозь занавеску пробиваясь,
Вползал к нам в комнату рассвет, —
И падали лучи живые
На волосы ее родные.
— А как мы с мамой волновались —
Ты ранен был, а писем нет...
То ты в Москве, а то ты в Горьком,
Ты там лежишь, а здесь так горько.

— И я скучал, и видел сны я —
Тебя, и маму, и Ростов;
Казалось, рядом вы, родные,
Но я лежу, я нездоров.
— Но кто-то ж приходил, наверно?!
— Да, был Андрей, товарищ верный.
Бывали также и другие...
Когда ты ранен — всем готов
Сказать «спасибо» и за память,
За то, что в это время с нами...

— А Маша тоже приходила?
— Какая Маша?
— Знаешь ты...
Тебя ж, по-моему, любила.
— Нет, отношения просты...

Об этом ты не думай лучше...
Так... Встреча в юности... Ну, случай.
— И все ж тебя в Москве открыла...
— Стоп, Настя! Так уйдем в кусты,
Точнее, в дебри заберемся
И в мелочах не разберемся.

...А утро в небе трепетало —
Багряно-розовый рассвет...
И Настя — вдруг — ко мне припала:
— Я не отдам тебя! Нет, нет! —
Почти беззвучно говорила:
— Я одного тебя любила! —
А мне смешно и грустно стало —
Нет повторенья в мире, нет!
Как родинки на смуглой коже,
Все друг на друга непохожи.

...Стояла Настя у оконца
В рубашке белой до колен...
А где-то поднималось солнце,
Хватая властно Настю в плен;
Ее лицо, глаза и руки
Моей единственной подруги...
Был взгляд ее из света соткан
И света требовал взамен.
И думал я под этим взглядом:
«Как мало нам для счастья надо!..»

Потом по городу бродили,
По всем исхоженным местам;
И в парк центральный заходили —
Но сколько же воронок там!
Деревьев, надвое разъятых,
Как будто в чем-то виноватых...
Не топорами их рубили —
А бомбы били пополам.

...А ночь пришла — в ее мы власти,
Вдвоем остались снова с Настей.

V

Не обойтись нам без печали,
Когда бросаешь старый дом, —

Мы утром с Настей попрощались
Под мелким медленным дождем.
А дом стоял пока не тронут,
Как символ прочной обороны.
Над кленом вороны кричали...
Но мы не думали о том,
Что крик вороний — это мета,
В дорогу грустная примета.

Опять, прижавшись на мгновенье,
Шепнула Настя: «Леша, жду...»
И вот, как ветра дуновенье,
Уже машина на ходу;
Пошли места, что в сердце жили, —
Всей прошлой жизни сухожилья;
Одно в одно — цепочка в звеньях,
Все перед нами на виду;
Теперь любой в тревогах вечных, —
Свинцом на случай обеспечен.

В который раз в степях весенних
Мне приходилось в жизни быть;
И каждый раз, как воскресенье,
Что ты не мог их разлюбить,
Забыть яры, сады и рощи,
И даже камень желтый тощий;
В песках сурочие владенья —
Воспоминаний давних нить;
Где б ни летал ты, ни метался —
Их образ в сердце оставался.

— Любуешься? — спросил Никитин,
Заметив пристальный мой взгляд.
— Да, Петя... Каждый раз открытья
И возвращения назад.
Все те же запахи и травы.
Они, как сладкая отрава,
Минуя цепь больших событий,
Мне видятся острей в сто крат...
И вот живу... Травинкой каждой
Разлуки утоляю жажду;

Здесь все, с чем вырос и сроднился
И от чего я не отвык!..

— Признанья, видишь, я добился,
Все тот же у тебя язык,
Донского, что ль, произношенья...
Он для иных сейчас мишенью
Внезапно как-то приоткрылся:
Стрельнут — и кажется, поник,
Но не погиб, всегда душевный,
В беде и радости — напевный.

Ну, ладно степь... Она такая ж,
Какой сто лет назад была...
Но... ситуация какая?
Как в целом на фронтах дела? —
Смотрел я на Петра и думал:
«Чи он здоров, чи полоумен?»
— Да я-то что?! Ведь я не знаю...
Ты сам здесь был, когда прошла
Неумолимо и сурово
Война до самого Ростова.

— А что ж ты едешь без прогнозов?
— А ты? — Петра не понимал. —
Пока, как было, время грозно,
Час искупленья не настал.
— А что у нас на Южном фронте?
Какие видишь горизонты?
— А что здесь есть? Все та же проза,
Такой же здесь борьбы накал!..
Одно покоя не дает —
Здесь так нам войск недостает!

...Так мы катили к Старобельску —
Штаб фронта Южного там был;
Никитин говорил все мельком,
Но очень многое открыл,
Чтоб я, от фронта поотставший
И снова битву догонявший,
В горячке дней политотдельских
На нужный случай не забыл:
К кому мне надо обратиться...
Я понял — это пригодится.

Задание Воениздата
Я выполнял по мере сил;

От командиров и солдат я
Немало пользы получил;
Здесь журналисты и поэты
Собрали времени приметы;
И кто как мог, ведь знали: надо! —
Свои мне замыслы открыл;
Здесь и такие тоже были,
Что мне статьи свои вручили,

Мол, пригодятся для изданья...
И были в гуще всех боев
Политотдельцы на заданьях,
Свою не раз проливши кровь.
Всему народу стал известен
Их в дни сражений подвиг честный!
Их к каждому бойцу вниманье...
Не потому ли был готов
Любой боец подняться снова
С политруками в бой суровый.

А в Старобельске в это время —
Впоследствии мой добрый друг! —
Ходил, знакомился со всеми
Писатель славный Корнейчук;
В штабах бывал, на совещаньях,
Но ничего не обещал он;
Но явно одержим был темой.
Да и понятно — драматург;
Он здесь был свой на Украине,
Как тополь стройный при долине.

Пройдет потом всего полгода —
И в «Правде» пьесу «Фронт» прочтем
Об испытаниях народа...
Суровой правдою, как гром,
Она для многих прозвучала...
Но много больше означала —
По честной всей своей природе! —
Что рассказала всем о том,
Как Горлов * храбр был и горяч!
Но... для масштабных мал задач.

* Герой пьесы А. Корнейчука «Фронт».

Да, было время перехода —
И *горловых* пора менять;
Все, что могли, — все для народа
Старались в армии отдать;
И жизни самой не жалели,
Но жизнь жестока. Устарели.
Все изменялось год от года —
И надо новое искать.
Как объяснить? Не в киноленте —
В суровой драме, не в легенде.

Но как они карикатурны,
Когда играют их сейчас
В иных театрах!.. Самодуры,
И только. Прямо, напоказ
Их выставляют в глупом виде.
Я эти «откровенья» видел.
Нет, настоящие натуры,
Они не требуют прикрас!
Они сложнее в жизни были —
Когда-то горловых любили!

Но срок пришел... И это видно
Особенно здесь, на полях;
Нам было все теперь открыто,
Когда с Петром на старый шлях,
Из Старобельска путь направив,
К Донцу катили, к переправе,
Куда и танки шли... Всем видом
Показывая, что в боях
Они участвовали грозных
И шли сюда, пока не поздно.

Во чреве древнего кургана
Нас встретил молодой майор
И рассказал нам многогранно,
Что здесь случалось до сих пор;
Боев здесь не было особых,
Но все равно смотрели в оба...
Поставлены на стол стаканы,
И завязался разговор:
Прогнозы, думы, и сомненья,
И — даже — собственное мненье.

Он молод был, майор Сергеев,
Его запомнил я тогда;
Он был из тех, что в бой умели
Вести других — когда беда, —
И потому был с орденами...
В землянке трепетало пламя,
Фонарь, всю полумглу развеяв,
Здесь не оставил и следа
От атмосферы напряженья...
«Когда ж, — мы думали, — сраженье?..»

И тут в землянку, пригибаясь,
Вошел белесый капитан:
— К нам перебежчик, словно заяц,
Бежал... и в наш попал капкан.
Он что-то важное желает
Сказать..: Но головой мотает...
Мычит... Бормочет заикаясь...
Его доставить, может, к вам?
— Давайте... Переводчик нужен.
— А он с ним вместе... С нами служит.

И вот в землянке в серой форме
Стоит ефрейтор молодой,
С опаскою, пугливым взором
На нас он смотрит сам не свой.
— Вы сами к нам бежать решили? —
Спросил майор.
— Да, сам... Убили
Моих друзей в боях... Сверх нормы
Смертей... Мы здесь — как на убой.
— А что еще сказать хотели?
— Еще?.. В течение недели

Пришло к нам танков пополненье
Бригады две... Пехоты тьма...
Вот это вам я сообщенье
Принес... А сам я без ума...
Я жить хочу! Еще я молод!
А Гитлер пусть подохнет, сволочь! —
И тут, не выдержав волненья,
Он зарыдал... Вот скорбь сама!
— Ну, успокойся, парень, что ли, —
Сказал Сергеев, словно в школе

Ученику, что волновался
Перед экзаменом — слепой...
— Сядь, закуси... —
Присел, остался
И слезы вытер молодой;
Краюху хлеба с колбасою
Запил ефрейтор не росою...
И вдруг расцвел, заулыбался
И снова стал самим собой.
И вдруг по-русски нам «спасибо»
Сказал... А уходя — «Россия».

— Ну, слава богу, сохранился,
А так погиб бы все равно... —
Сказал майор.
— А в чем открылся —
Значенья важного полно.
Немедленно его отправить
В штаб фронта. В целости доставить.
— Есть! — Капитан как испарился.
— На воздух выйдем, там темно,
Вот так у нас в степи донецкой
В дни оккупации немецкой.

Запомните, друзья, навеки
Сей день, — сказал Сергеев нам.
Мы вышли... Словно в дальнем беге,
Какой-то грохот по степям
Все нарастал, и к нам стремился,
И чем-то новым нам открылся.
— И все ж есть правда в человеке,
Не безразличен был он вам? —
Спросил майор.
— Кто?
— Этот немец?..
— А дальше он пойдет со всеми...

...Над степью гроздьями висели
В бездонной звездной темноте
Ракеты... Выстрелы без цели
Гремели в дальней немоте.
Какой-то лаской небывалой
Шуршала степь травою шалой...
Все было здесь, но лишь не пели

Ночные птицы в высоте.
А вместо птиц, светясь, летели
Слепые пули мимо цели.

Мы на прощание обня́лись
С майором, счастья пожелав...
И долго степью пробирались
К Донцу, где грохот переправ
Был узнаваем... Там машины
Куда-то в темноту спешили;
Дорог пробитых не искали,
А прямо шли коврами трав.
Не помню — левым или правым —
Проселком вышли к переправе.

Меж танков вышли мы к опушке,
Решив, что можно здесь поспать;
Тем более что рядом пушки, —
Покой наш будут охранять.
Донец остался где-то сбоку,
Но был он рядом, недалеко...
В солому ткнувшись, как в подушку,
Решили что-то все же взять
От ночи, хоть поспать немного...
...А утром — на Ростов дорога.

VI

С каких сторон ни подъезжал я
К Ростову в мирные года, —
Меня любовь к нему держала,
Неугасимая всегда;
Где б ни летал, куда б ни мчался,
Казалось, с ним не расставался;
Но сердце каждый раз дрожало —
А вдруг какая там беда?
И странно как-то: чем взрослее,
Тем становился дом милее.

Ах, степь донецкая, когда ты
Такой открытою была?!
Тебе бы рыцарские латы,
Чтобы прикрыть себя могла.
— Опасность грозная нависла —

Петру свои поведал мысли. —
Здесь даже грозные набаты,
Как звон разбитого стекла.
Не все учли, распределили,
Что степи здесь, они забыли?

Не надо было объяснять мне,
Что под «они» имел в виду;
Был фронт действительно громаден
И в том, сорок втором году;
Боязнь за фланги — те и эти —
Все представляла в трудном свете;
Ты только что-то здесь отладил,
А там другую жди беду.
Ведь фронт — как ты ни действуй смело! —
Весь — до солдата — под прицелом.

Не в оправданье эти строчки —
И не нуждаемся мы в нем! —
Пускай припомнят дни и ночки
Над Волгою и над Днепром;
Пускай припомнят те провидцы,
Теперь уже не очевидцы,
Когда мы до последней точки
Выстаивали под огнем.
...Теперь легко в научных высях
Практически, масштабно мыслить.

...Лежала степь... Ковыль с полынью,
Дымок далекий в синеве.
Настало лето... Не остынешь
На зеленеющей траве;
Когда-нибудь все это вспомнишь
И память трепетно затронешь;
Она останется святынью
На веки вечные в молве;
У этих шахт, каменоломен,
Где мир так светел и огромен.

И вот уже Ростовом катим,
А дальше фронт — там Таганрог...
Но здесь девчушки в ярких платьях
Идут движенью поперек;
Они, конечно, все красивы, —

Ведь это все же юг России;
Пусть даже солнце на закате —
Ты не заметить их не мог...
Машина — стоп. Меня Никитин
К крыльцу подвез: — Мой друг, сходите.

И вышел он на мостовую:
— Я рад, что съездили вдвоем
На самую передовую
Позицию, где бой ведем... —
Но в это время дверь открылась,
И Настя предо мной явилась...
И, на ходу меня целуя,
Шептала: — Как тебя ждет дом!
— А ты?
— А я? Я вместе с мамой
И, к сожаленью, с телеграммой...

Зайдемте к нам, — Петру сказала.
— Да нет уж... Дома ждут меня. —
Опять прощание настало,
Мужской обычай сохраняя,
Трехкратно мы расцеловались,
Рукой махнули и расстались.
— Я ждать тебя уже устала...
День ото дня... День ото дня...
Известья; правда ведь, плохие?
Под Харьковом бои большие.

А дома весть Воениздата —
Приказ и просьба — пополам:
«Приезда сообщите дату».
И подпись. Значит, нужен там.
А впрочем, что ж... Почти что месяц —
Немало, если честно взвесить.
— Ну, чем, скажи, я виновата,
Что мало времени так нам
Отпущено, чтоб были вместе?
— Обязан, Настя, быть на месте,

Ведь я служу...
— Я понимаю...
И все равно, еще побудь.
Теперь когда? Ведь я не знаю,

Какой тебе начертан путь?
— Но ты пойми. Сюда послали —
Возможность повидаться дали?!
— Молчи... Я знаю... Не слепая...
Но сердце забирает жуть;
Бывает, Леша, так порою,
Когда предчувствие какое

Мне вдруг прихватывает сердце
И в полночь темную и днем;
Не знаю я, куда мне деться,
Но мысли только об одном —
Что будет с нами? Что с тобою?
И будем ли одной судьбою?
И есть ли, Леша, нынче средства
Покончить навсегда с врагом?
— Ой, Настя, на вопросы эти
Кто может в этот год ответить?

...Бродили с Настей по Ростову —
И я смотрел как будто вновь
На ту, что некогда Садовой
Звалась, всех ростовчан любовь;
Теперь на ней войны зиянье —
Полуразрушенные зданья...
А впрочем, это все неново,
Где ходит смерть, где льется кровь.
Лишь мысль одна не покидала
И в голове моей витала:

«Да как же это? Как же это —
Все наши люди здесь без прав... —
Я размышлял, в кулак собрав
Всю волю... Не было ответа. —
Народ наш — быдло, червь навозный
Для этих, вставших силой грозной, —
И чья-то песня недопета,
И тыщи жизней между трав
Оборваны на землях вешних,
И матери все безутешны».

Об этом говорил я Насте,
На город мой смотря скорбя...
— Да это так... Но есть и счастье —

Я рядом, около тебя.
Над нами небо голубое,
А я хожу, дышу тобою
И в эти дни в одной я власти —
Тобой живу, тебя любя...
Наверно, это страшно даже.
Но мысли... Мысли не накажешь.

А я все больше удивлялся,
Не в состоянии понять,
Как я тогда не догадался,
Что можно от Настасьи ждать?
На вид чуть даже простовата,
Но никогда не виновата.
И вдруг до истины добрался,
Что Настенька не только мать,
Что так устала в дни лишений,
Чье сердце сделалось мишенью,

В которую попала пуля
И, поразив ее, сидит...
И я не знал еще, смогу ли
Покинуть Настю без обид.
В Москву мне надо возвращаться,
А Насте с дочерью остаться,
С моею доброю мамулей...
А город мой врагу открыт...
Кто испытал такое чувство,
Поймет, что значит слово «русский».

А с Настей что скрывать мне было?
В ней все оттенки находил.
Она меня — я знал — любила,
И я — по-своему — любил.
И все же, все же почему-то
И неосознанно и смутно,
Нежданно в сердце приходило,
Что я нечестен в чем-то был;
Но знал, что в мире нету лучше,
И не желал я Настю мучить.

Как ни ищи, как ни старайся —
Другой такой ты не найдешь...
Или найдешь? Ну, сам признайся?

Скажи — найдешь, все будет ложь.
Здесь ни при чем литература,
Всему хозяином натура!
Но все ж ты ей не поддавайся
И на лжецов не будь похож;
Не торопись, мой друг сердечный,
В любви сюжеты бесконечны.

День ото дня все дни короче.
Слова все реже. Духота.
Но вот огонь последней ночи.
Открыты окна. Немота.
И все ж в какие-то мгновенья
Я видел Настино волненье,
Ее глаза... Да нет же — о ч и! —
И в них земная красота.
Я ей не лгал, с ней не лукавил,
Я ей все лучшее оставил.

И вдруг, уже перед рассветом,
Когда забрезжил свет едва,
Как слово Ветхого завета,
Услышал странные слова:
— Любимый, все меня терзает,
Что дум моих ты всех не знаешь.
Я трезвая... Но есть приметы,
Я здесь, а там еще Москва...
И там — скажу — живет Мария...
— Да нет ее!
— Но есть другие!

Хочу я, чтобы, уезжая,
Ты знал, как я тебя люблю,
Чтоб, вместе жизнь свою решая,
Запомнил просьбу ты мою.
Да, мы повенчаны с тобою,
Да, мы с тобою — муж с женою,
Но я тебя освобождаю, —
Коль будет трудно — жизнь свою
Насильно не вяжи с моею...
А я и так... И так сумею.

Смотрел на Настю изумленно —
Откуда это? Почему?

Она ж смотрела — клен зеленый! —
И улыбалась... Но чему?
Да нет же, Настя! Нет же, нет же!
Как был с тобой — такой же, прежний!
...Вот так, любовью опаленный,
Я побывал в своем дому...
Не мог я лгать ей и лукавить...
Но как т а к о ю смог оставить?

VII

Дорога — повод к размышленьям;
Сто раз подумаешь о том,
Какие были пораженья
И отчего они притом;
И на какие-то минуты
Ты в генералы выйдешь будто.
Все так же смотришь с изумленьем
В окно... Что видишь за окном?
Поля, пригорки, полустанки...
Могилки свежие — останки

Героев тех, кто, не жалея,
За землю жизни отдавал;
Кто принимал, уйти не смея,
На грудь свою за валом вал;
Все это помним мы и знаем
И, понимая, принимаем.
Июнь. Долины зеленеют,
Но всюду чувствуешь накал
Недавно здесь прошедшей битвы
У станций, вдребезги разбитых.

И вдруг ты вспомнишь... Как не вспомнить
Ночей и дней коротких власть;
Теперь уже таких знакомых,
Сияющих в полно́чи глаз.
И вдруг потом таких печальных
Перед твоей дорогой дальней,
Любви пришедшей образ скромный...
Ведь, может, все в последний раз?
Война идет. Ты не в сторонке.
Где ждет тебя твоя воронка?

И вот уже Москва встречает
Настороженной тишиной...
Здесь все, как было, отмечаю,
Но все насыщено войной.
И это даже не тревожит —
Другого же здесь быть не может.
Еще гудят во тьме ночами
Бомбардировщики... Стеной
Стоят, как по единой нитке,
Неколебимые зенитки.

И все же что-то изменилось,
Еще покой не обретя;
Все больше набирая силы,
Ночами темными светя,
Гудят цеха московских фабрик
И в них — в три смены — руки храбрых,
Что в страшной битве не склонились,
Как бы приветствуют тебя,
Когда ты по Москве шагаешь
И жизнь все больше понимаешь.

Все, что привез Воениздату,
Я рукописи передал...
От офицера до солдата
В них подвиг яростный предстал.
Там не было «Войны и мира»,
Но опыт был... Была сатира.
На юмор ведь война богата —
Кто им когда пренебрегал?
Не раз в короткой передышке
Ты смех в окопах громкий слышал.

Как мы сражались — так и жили
Суровой жизнью на войне.
В воспоминаньях послужили
Те фронтовые дни и мне.
Спросил редактора: могу я,
Свои раздумья формируя,
Сам написать... Солдатских былей
Поведав правду? В стороне
Оставив выдумки... Лишь правду,
Что душу жгла мне жаркой лавой.

Он разрешил. Мне отпуск дали...
И под покровом синевы
Явились вновь степные дали
Теперь уже из-под Москвы.
Солдат я видел, командиров,
Не тех, что из «Войны и мира»,
Но словно бы из той же стали,
Что были, как и те, правы,
Когда с той хваткой, с тем азартом
Прогнали к черту Бонапарта.

Я знал, что шли бои на юге,
Что окруженный Харьков пал;
И я о каждом, как о друге
Незабываемом, писал;
Таков гипноз, когда сам видишь
И полусловом не обидишь
Ты никого из той округи,
Где только что ты побывал;
Я все высокой меркой мерил,
Что стал писать, — себе не верил.

Потом — о, пишущих натура! —
Я шел, бодря себя в пути,
В один журнал литературный,
Желая имя обрести.
Я в двери робко постучался,
И кем я был — тем и назвался;
Другую дверь открыв культурно,
Мне разрешили вмиг войти...
А там в пенсне, раскрывши очи,
Сидел не кто-нибудь, а отчим.

Да, это он был, Машин отчим,
Его мгновенно я узнал.
Пенсне, пиджак почти рабочий —
В таком его я не встречал...
— Смотрите... Платов?! —
Вот так штука!
Ужели впрок пошла наука,
Что он, как будто между прочим,
Мою фамилию назвал?!
— А вы?.. А вы... — Я заметался
И — если честно — растерялся.

— Вы знали, что я здесь? Скажите!
Здесь я работаю уже.
— А вы ж Ташкента были житель...
— Теперь на этом рубеже.
В журнал идти уговорили
И даже ставку мне открыли.
Садитесь, Платов... Вы поймите...
И не носите зла в душе;
Война нас всех объединила
И распри старые закрыла.

И как ребенок, робкий, малый,
На стул я у стола присел;
Тут очередь моя настала,
Чтоб говорить... А я не смел...
И даже начал я бояться,
Чтоб в дураках мне не остаться.
— Вас встретить здесь не ожидал я...
— Да я ведь тоже не хотел...
Но предложили... Ведь война же...
Как тут друзьям своим откажешь?

А вы пришли узнать о Маше?
Узнали — и ко мне пришли? —
Тут я вздохнул.
— Да, бой наш страшен,
Все мы сражались, как могли... —
Я что-то бормотал такое,
Чтоб ухватиться мне рукою
За то, что было общим нашим
И здесь... И где-то там, вдали...
Но в этот миг кольнуло сердце...
Холодный пот... Куда мне деться?

— Да что вы, Платов? Мы не знаем
Пока плохого ничего...
— А где Мария?
— В партизанах.
— А где?
— Не знаю.
— У кого?
— Не знаем, Платов... Мы не знаем...
Так редко письма получаем, —
И вдруг обычными глазами

Взглянул...
А я лишь одного
Тогда не понял — что с ним стало?
Откуда искренность пристала?

— Я виноват пред вами, Платов,
И не хотел, да обманул, —
Поднялся отчим:
— Как солдату... —
Сказал и руку протянул:
— Спасибо вам, что отыскали...
Признайтесь? Кое-что узнали?
А если в чем и виноват я —
То это все с себя стряхнул, —
Он снял пенсне, платком протер их,
А у меня схватило горло.

Я понял, надо исчезать мне,
А рукопись — все ерунда!
Еще мгновенье — и в объятья
Я попаду. Тогда — беда.
Объятья эти хуже плена.
— Спасибо. Буду постепенно,
Где только можно, узнавать я
И приходить в журнал, сюда...
— Да, да, конечно, Платов... Это
Для всей семьи как лучик света.

Так и в семью попал я разом...
Да что же вдруг случилось с ним?
За что я господом наказан —
Свиданьем с недругом моим?!
Как классики порой толкуют:
Шел в комнату — попал в другую.
И все ж я отчиму обязан
Одним известьем... Но каким?
Неясно, где в лесах кочует,
Но ясно, что она врачует.

А что до отчима... То значит —
И у него нашелся друг;
Как говорят, у них собачий
На обстановку тонкий нюх.
Уж если он в Москву вернулся —

То круг широкий разомкнулся;
А это, так или иначе,
Что у него надежный друг,
Товарищ тот, что не подводит
И место для дружков находит.

...Я повернул к Воениздату,
Чтоб рукопись свою отдать;
Там были славные ребята,
Они могли меня понять;
Свою прошли проверку боем,
И жизнью честной, и судьбою;
Но от восхода до заката
Обязаны все были знать;
Не ежедневная газета —
Сорок второго года лето!

Там, усадив меня, сказали, —
Хоть внутренне я был готов, —
Что после боя на вокзале
Был сдан противнику Ростов;
И что к Кубани немцы рвутся,
И под напором наши гнутся;
Что нас в степях враги прижали,
Среди долин, среди бугров, —
Там нет лесов, нет гор, лишь пашни
И потому так танки страшны.

И я сидеть не мог ни часа
Без дела. Снова в ПУР пошел
И просьбу выложил начальству...
И мне сказали: — Хорошо...
Летите с группой. Для Кубани
Серьезнейшее есть заданье...
Враг прорывается все дальше,
Новороссийский ищет мол... —
И я ответил: — Есть! Лечу...
Я на Кубань, на фронт хочу!

VIII

Опять тревожные недели —
Стратегии тот поворот,
Когда враги не поумнели,

Но ищут, ищут новый ход;
Просторы здесь — не у столицы —
Здесь танкам вольно. Все границы
Стираются, как на модели...
Но тысячи каких забот
Подносят, словно на подносе,
И разрешения не просят.

Зачем послушался я Настю?
Летя, вершил я самосуд:
«Не может быть еще несчастья,
Вторично город не сдадут».
А город сдали... Город сдали!
И многие не успевали
Так быстро в тыл какой податься,
Где их теперь уже не ждут;
Застыли, словно бы в разбеге,
В те дни домашние стратеги.

И в самом деле — враг за Доном,
Батайск у немцев и Ростов;
Так — перегон за перегоном —
Все дальше за спиной Ростов, —
Уже враги к хребтам Кавказским
Здесь оборачивают каски;
Уже мерещатся им склоны
Вершин кавказских и хребтов.
Да в чем же дело? Что случилось?
Иль их неудержима сила?

Иль мы опять слабее стали
Фашистских нехристей в боях?
Ведь мы недавно показали,
Как можем драться в тех лесах,
Что подмосковными зовутся!..
Собраться надо, обернуться,
И станем мы сильнее стали
Здесь, на Кубани!.. В тех степях,
Где наши предки с Кочубеем
Бывали всех других храбрее.

Но для бахвальства места нету —
В июле стали ясны всем
Слова — в них не было секрета —

Приказа двести двадцать семь *;
Логичных фраз простое слово,
Как приговор суда суровый;
И день за днем — бои с рассвета
Уходят в поздней ночи темь.
Как будто каждый в сердце ранен
Здесь, на степной твоей Кубани.

Нам снова танков не хватало,
Сужался битвы полукруг...
А вражьи танки шли навалом,
Как клинья, втискивались в юг
И разгулялись на Кубани,
Победу чувствуя заране, —
Кусты ломая чернотала,
Где к речкам опускался луг...
Но если где-то враг возник —
Менялось все и в тот же миг.

Так было в битве под Кущевкой —
Кавалеристы на конях
Рубили немцев грозно, ловко
С присвистом — аж! — на весь размах!
Почуяв силу неземную,
Какую-то совсем иную, —
Многовековой подготовкой
Она хранилась в их руках.
Так было! Корпус Кириченко
На немцев шел сплошною стенкой.

Две тысячи врагов срубили —
Они лежали тут и там;
Наводкой точной грозно били
Артиллеристы по врагам;
На травы падали, на рельсы
Блондинистые «эдельвейсы»...
Но танки в это время были
В иных местах — шли по степям.
А немцы, подсчитав потери,
Кавалеристов «черной смертью»

* Приказ ГКО от 28 июля 1942 года, который был отдан во время отступления советских войск на Юго-Западном направлении. В приказе решительно осуждались «отступательские» настроения. В нем говорилось, что главным призывом и железным законом для войск должно быть: «Ни шагу назад!»

Назвали, словно в назиданье
Потомкам, в ужасе слепом
Запомнив то, что на Кубани
Им выпало в сорок втором.
А степь какой была? Дрожала.
Но от фашистов не бежала.
Лишь те становятся рабами,
Кто забывает о былом
И в бегстве удержу не знает,
И расстояний не считает...

...Теперь, когда от Краснодара
Степной дорогой на Ростов
Вы едете — у пьедестала,
На гребне вздыбленных холмов,
Вы остановите машину
И вновь увидите вершину,
Где наносились те удары
Кубанских грозных казаков,
Тех богатырских исполинов,
Которые вошли в былины.

Мы в дни того, сорок второго,
Что был тогда от горя нем,
Шептали строки — слово в слово —
Приказа двести двадцать семь.
Он — не для лекций и докладов...
Мы понимали — так и надо.
А что придумать мог иного
Главком? Приказ был нужен всем,
Ведь это все-таки не малость —
Судьба страны в те дни решалась!

Однажды видел я, как в полдень
Шли трое молча у реки...
А день был солнечен, безмолвен.
Шли трое — наши, не враги.
Взгляд одного был дик и страшен,
Он струсил, значит, стал не нашим!
Он был презрения достоин...
И резко щелкнули курки...
И выстрел в труса грянул сразу —
Во исполнение приказа...

Все это было на Кубани,
Когда на город Краснодар
Тянули немцы жадно длани...
И — за пожарами пожар...
И чудилось тогда: над нами
Металось небо, словно пламя.
Казалось, было все на грани —
Еще удар. Еще удар —
И вот уже на южный берег
Мы перешли, себе не веря.

Но это так... И нет Тамани,
Где Лермонтов когда-то был...
Нас мощью танковой тараня,
К Новороссийску подходил
Жестокий враг... Еще летела
И легким облаком белела
Всего лишь пыль, как наказанье,
Что город путь врагу открыл.
Что нам еще могло казаться,
Чтоб верным памяти остаться?

Но все не так... На белый город
Летели бомбы. Взрывов гром.
Спускались к городу дороги,
И крепостью был каждый дом.
И снова — танки, танки, танки.
И грохот, как в железной банке, —
И город вспорот и распорот...
И кажется, что незнаком.
Осколки грязного металла
В кварталы немчура метала

И ликовала: «Вот он, близко,
Последний камень на пути,
Пройдем еще Новороссийском,
И можно дальше нам пройти,
Вдоль берега крутой дорогой,
Пусть медленно, пусть понемногу...
Когда-нибудь мы обелиски
Сумеем после обрести...»
Но нет, не облаком над взгорьем —
Цемент, завод над самым морем,

Что «Красным Октябрем» зовется,
Встал наступавшим поперек.
Нет, он не луч последний солнца —
Он просто нашу честь сберег,
Как бы мгновенно поседел он —
Стоял, от серой пыли белый,
Закрыв ворота и воротца, —
Он сделал все, что только мог!
Так и застыл, в победу веря...
А рядом море било в берег.

IX

Слова сурового приказа,
Что назван двести двадцать семь,
Как камни горных рек Кавказа,
Не столь понятны были всем.
В них — духа гордые вершины,
И многое они решили.
Кто виноват был — тот наказан
И с той поры замолк совсем.
Война, она не выбирает,
В орла и решку не играет.

Об этом думалось, когда мы
В ГлавПУРе делали доклад...
Когда стояли перед нами
За перекатом перекат,
В предгорьях, в черноморских бликах
На территории великой,
Картиною в пробитой раме,
Где за снарядами снаряд
Ложился... И пылал закат —
Новороссийские проулки,
Наполненные громом гулким...

Теперь все это стало прошлым,
Но все равно запомнил ты,
Что отзывалось вдруг хорошим
Среди военной суеты,
Когда от Дона к Сталинграду
Враги, пытаясь сбить преграды,
В метелях, в огненной пороше
Шли от воды и до воды, —

А ты еще в Москве суровой
Всечасно думал о Ростове.

Что с Настей там? И что там с мамой?
Здесь лирика уже как блажь.
Ты ни обычной телеграммы
И даже срочной им не дашь.
Весь мир безжалостно железом
В мгновенье ока перерезан.
Огни военной панорамы
Берут тебя на абордаж.
Живешь — не знаешь, что случится
И кто в окно к тебе стучится...

И вдруг тебя зовут нежданно,
На части прошлое дробя,
И говорят, что к партизанам
Командировка у тебя.
— В какой район?
— Что возле Брянска,
В освобожденный партизанский...
Они там, по последним данным,
Отбили много для себя.
— А как?..
— Лететь.
— Когда?
— На праздник...
— Заданье?
— Много всяких... разных...
А главное — ведь четверть века
Со дня рожденья Октября.

...И вот уже гудят моторы,
Загружен «дуглас» до краев:
Оружье. Медицина.
Сборы
Чуть горячат по жилам кровь.
И комиссар летит — Макеев.
Легенда: смелых всех смелее!
Короткий взлет — и в небе скоро
Уже летим средь облаков...
Как будто и не так-то поздно,
Но чуть повыше светят звезды.

Но что это? Снаряды рвутся.
Не ошибаюсь — с двух сторон
Под нами фронт — и нам несутся
Как будто ленты с похорон.
Когда с земли ты видишь эти
Сверкающие многоцветья, —
Они взорвутся, перельются —
И все. А здесь они как стон,
Какой-то тяжкий, непривычный,
Для новичков столь необычный.

Сиди. Молчи. Смотри в окошко
На эти яркие огни —
Пусть поскребут тебя немножко
Когтями острыми они.
...Но вот зенитки отгремели —
И мы уже почти у цели,
Внизу все белою порошей
Заметено... А лес в тени.
Макеев, как звезда, лучится —
И самолет уже садится.

Толчок. Рывок. И торможенье.
Да из-под крыльев снег летит.
Еще последнее движенье —
И новый мир тебе открыт.
Распахнутая настежь дверца —
И, вздрогнув, замирает сердце.
Морозный воздух. Чьи-то тени.
От них в глазах слегка рябит.
Тебя здесь жадно ожидали
Из той любимой дальней дали.

Окончание на стр. 193

НАВСТРЕЧУ 60-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ




ЛЕНИН

Николае ДАБИЖА,
лауреат премии комсомола Молдавии
имени Б. Главана

ЗЕМЛЯ МОЯ БЛАГОДАТНАЯ...

МАТЕРЬЮ своей называет народ в балладах Молдавию — благодатный край, очертания которого на географических картах сравнивают то с виноградной гроздью, то с рогом изобилия. Легенда гласит, что в незапамятные времена Драгош-воевода, охотясь в горах на зубров и взяв след «могутного зверя», дошел до этих мест, и пришлись ему по душе дубравы, воды да степи, и решил он основать здесь государство, принявшее впоследствии имя Молдовы...

Из молдавских дубов, говаривал Дмитрий Кантемир, строились корабли, которые славились среди чужеземных народов. Не знали себе равных вина этого края. Молдавское масло доходило до Леванта и Венеции. Зерновые — «выше камыша соломины, больше воробьев колосья» — радовали сердца негоциантов Востока и Запада... Многие зарились на богатства молдавской земли!..

Древние летописи, начертанные скорее слезами, чем чернилами, называли Молдавию краем на «пути всех бед». Более трех долгих столетий в ее небе оттоманский полумесяц напо-

минал, что следует сполна и в срок платить многие подати «повелителю мира, его величеству султану».

И когда молдаванам бывало невыносимо трудно, их взгляды устремлялись туда, откуда всходило солнце. В лихолетье молдаване целыми селами снимались с мест и уходили в Россию, на Украину, в предгорья Кавказа. Они увозили с собой черенки виноградной лозы и высаживали их там, где они никогда не росли. Они брали с собой рукописные книги. На протяжении столетий они хранили свой язык во всей его чистоте и красоте. И никогда не теряли веру в светлое будущее.

Но немало воды утекло в Днестре, прежде чем и над молдавской землей взошло солнце свободы!

Освобождение молдавского края пришло с Востока, ибо, как говорил поэт Дософтей, «ни из какой другой стороны нет нам надежды на спасение».

Все, кто бы ни побывал в нашем крае, не могли не заметить красоту природы, сердечность и отзывчивость людей. Сосланный в Бессарабию великий Пушкин писал:

Здесь долго светится небесная лазурь.
Здесь кратко царствует жестокость зимних бурь.
На скифских берегах переселенец новый,
Сын юга, виноград блистает пурпуровый...

Поэт покидал Молдавию с грустью — народу полюбившегося ему края он отдал частицу своей души и, всегда потом оживляясь, вспоминал годы, проведенные им на юге.

Л. Толстой и М. Горький, В. Коцюбинский и В. Маяковский радовались встрече с Молдавией, ибо радушие, хлебосольство — одно из призваний нашего народа.

В доме каждого молдавского крестьянина есть «касе маре» — самая ухоженная, прибранная, праздничная комната, предназначенная для гостей. В былые времена, когда иные дома состояли из одной лишь комнаты, хозяин вместе с женой и детьми на ночь укладывались во дворе, уступая место незнакомому путнику. Этого требовал неписаный закон гостеприимства.

Большинство песен нашего края воспевает «дор». В этом коротком слове умещается целый мир, оно означает одновременно любовь и страдание, ностальгию и надежду, мечты, жажду по прекрасному, возвышенному, чистому, веру, любовь к жизни... Дор — это душа самого молдаванина.

Обычно наши песни начинаются со слов «фрунзэ верде» — «лист зеленый». Это и понятно: ведь песни молдаван родились близ вековечных лесов, в садах и виноградниках, и человеку подпевала листва и, быть может, ветер... У нас поют все — от мала до велика. Недаром Марию Биешу, простую молдавскую девушку, как некогда кишиневку Марию Чиботару, признали лучшей в мире Чио-Чио-Сан.

Удивительны и неповторимы наши баллады. Испанский романист Л. Кортес назвал балладу «Миорица» «одной из самых прекрасных в мире поэм».

И наша литература — от поэта Михаила Эминеску и любимого писателя детей Иона Крянга до Иона Друцэ, Григоре

Виеру, Спиридона Вангели, до самых молодых писателей — щедрый плод земли Молдавии, души этого края.

Сегодня творчество поэтов и прозаиков, ветеранов и молодых сливается в гимн республике, народу, новой светлой жизни.

Богатство Молдавии вошло в поговорку. Пирогов называл наши земли «самыми плодоносными в Европе». Не зря у нас говорят: если утром воткнуть в землю прут, до вечера он покроется листьями и цветами.

Но прекраснее всего люди Молдавии — честные, добрые и трудолюбивые.

Два года назад в составе молодежной делегации я посетил Кипр. В этой южной стране в конце апреля хлеб уже был смолочен — крестьяне собирают там урожай по два раза в году. Близ Никозии мы остановились в поле и стали беседовать с фермером. На наш вопрос: «Хорош ли урожай!» — он радостно откликнулся: «О, прекрасный! В этом году удалось собрать по пятнадцати центнеров с гектара!» Его слова не произвели на меня ожидаемого впечатления, и, когда я сказал, что наш молдавский парень Ион Палий собирает по 50—60 центнеров с гектара, фермер недоверчиво усмехнулся. И мне подумалось: благословенная земля, на которой собирают урожай, какой не собрать в иных местах за два-три раза. Имя Иона Палия знакомо мне еще с тех пор, когда наши космонавты среди своих многочисленных забот нашли время поздравить его из космоса с новым рекордным урожаем. И меня всегда удивляла его скромность и великое усердие, с каким он так любовно ухаживает за нивой.

Повсюду — на фабриках и заводах, в садах и на виноградниках — работают тысячи и тысячи парней и девушек, и в такт времени бьются их горячие сердца. Они — потомки чабанов и земледельцев — постигают тайны самых сложных механизмов, новой современной технологии.

Когда-то Молдавию называли аграрным краем. Да и само сельское хозяйство было примитивным. За годы социалистического строительства Молдавия совершила гигантский скачок от отсталости к невиданному прогрессу. Республика стала одной из житниц Советского Союза, крупнейшим центром садоводства и виноделия. Она приобрела также индустриальный облик. Если прежде Молдавия ввозила из других районов даже гвозди, то сегодня ее заводы и фабрики выпускают тракторы и электромашины, уникальные электроприборы и вычислительно-аналитические счетные машины, насосы, холодильники, строительные материалы... Успехи, которых добилась Советская Молдавия в дружной семье братских народов не мог предвидеть ни один из прорицателей, хаживавших прежде по Бессарабии и предсказывавших судьбу жителям этих древних мест. Да и кто мог предсказать эту, как говорит поэт Андрей Лупан, Герой Социалистического Труда, «дорогу от плуга к космодрому»!!

Молдавия — молодая республика с прекрасным будущим. В Стране Советов на ее богатой земле реальностью стала мечта молдавского народа о свободной и счастливой жизни.

«...СОСРЕДОТОЧИТЬ ОСНОВНОЕ ВНИМАНИЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИИ КОМПЛЕКСНОГО ПРОВЕДЕНИЯ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ И ИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ОСВОЕНИЯ, ДОСТИЖЕНИИ НА ОРОШАЕМЫХ И ОСУШЕННЫХ ЗЕМЛЯХ ПРОЕКТНОЙ УРОЖАЙНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР».

Из Продовольственной программы СССР

ДУНАЙ В БУДЖАКСКОЙ СТЕПИ

ПЕТР АДЖЕМ вырос на юге Молдавии, в селе Казаклия. Его родители выращивали виноград, сушили табак и часто с тоской посматривали на жаркое белесое небо, выметенное суховеями. Родители Кости Гарнова всю жизнь прожили в селе Твардица, в засушливой Буджакской степи и лишь в мечтах видели землю, покрытую цветущими садами.

Петра и Костю судьба свела вместе. Оба они работают на строительстве оросительной системы, которая в недалеком будущем напоит южные районы Молдавии. Экскаваторщики Анатолий и Михаил Валеговы приехали в поселок Тараклю, возле которого возводятся главные объекты оросительной системы, с Урала. А бригадир экскаваторщиков Николай Баринов прибыл из Костешт, где участвовал в сооружении крупного гидроузла.

Со всех концов Молдавии съехались юноши и девушки на республиканскую ударную комсомольскую стройку. Представители

восемнадцати национальностей трудятся в двухтысячном коллективе производственного объединения Югводстрой. Работы хватает всем. Она кипит и спорится на всех участках. Когда мы с первым секретарем Тараклийского райкома комсомола шли по улицам поселка, мимо нас то и дело громыхали самосвалы, навстречу шагали загорелые парни в касках.

— Многое здесь приходится начинать с нуля, — сказал Михаил. — Стройка нас всех здорово встряхнула. Вон видишь в центре выкорчеванные деревья. В этом месте проезжая часть будет значительно расширена... А чуть левее развалины. Там будут построены высотные дома... Лет через пять, если доведется побывать в этих местах, поселок не узнаешь.

Я едва поспевал за широким пружинистым шагом Михаила. Казалось, он торопился показать мне все мало-мальски достойное внимания и, прежде чем мы отправимся на строительство оросительной системы, представить свой поселок в самом лучшем виде.

— Впрочем, — Михаил неожиданно замедлил шаг, — те, кто приедет сюда через пять лет, прибудут на готовое. Мы, конечно, их встретим хлебом-солью. Но, согласись, своими руками забить первый колышек — это значит очень многое. И направление трассы будущего канала — это своеобразный жизненный ориентир для сотен молодых гидростроителей.

Я не мог не согласиться с Михаилом. Тем более после встречи с генеральным директором производственного объединения Югводстрой Евгением Анатольевичем Лебедевым, которая состоялась у него в кабинете. Евгений Анатольевич заговорил напористо, с энтузиазмом:

— Вы слыхали, наверное, о нашем самом большом в стране межколхозном саде «Память Ильичу»? Если заглянуть в будущее хотя бы на десяток лет вперед, то я мог бы почти дословно процитировать поэта. Знаю, будет город — Тараклия, уверен — цвесть саду в Буджакской степи. Саду, который займет территорию, может, даже пообширней, чем «Память Ильичу». Представляете, ведь только в одиннадцатой пятилетке оросительная система напоит 24 тысячи гектаров засушливых земель, а всего водами из озера Ялпуг будет орошаться 171 тысяча гектаров земель юга республики.

«Орошение земель из озера Ялпуг» — так официально называется будущая оросительная система. В кабинете генерального директора висит большая рельефная карта. Темно-зеленую равнину прорезают голубоватые змейки отводных каналов.

— Через специальный шлюз вода из Дуная, — объяснил Евгений Анатольевич, — будет поступать в озеро. Магистральный канал соединит его с Тараклийским водохранилищем. Там будет установлена плавучая насосная станция, которая наполнит водой распределительные каналы.

— Евгений Анатольевич, с какими трудностями придется столкнуться строителям при сооружении объектов оросительной системы? — спросил я.

— Нам предстоит «перелопатить» более 286 миллионов кубометров земли. Причем, хотя наш край и называется степным, местность здесь далеко не везде идеально ровная. Поэтому на трассах магистрального и добавочных каналов предусмотрена целая система дюкеров, акведуков, ливнепропускных сооружений, мостов. В различных местах также будет установлено около 150 на-

сосных станций подкачки и перекачки. Из уникальных объектов системы я могу назвать паводковый водосброс, который вынесен от оси плотины Тараклийского водохранилища на расстояние ста двадцати метров. А чего стоит одна транспортировка плавучей станции! Но думаю, об этом вам подробнее расскажет представитель объединения Спецтяжавтотранс.

Инженер-механик объединения Виктор Цимбалов специально приехал из Москвы в Тараклию, чтобы решить вопрос о перевозке плавучей станции из озера Ялпуг на место ее постоянной стоянки в Тараклийском водохранилище.

— Транспортировка подобных негабаритных грузов, — сказал Виктор, — дело весьма хлопотное и трудоемкое. Станция весит 280 тонн. Представляете, какая громадина! Мы повезем ее не по дороге — слишком много ухабов и поворотов, а по долине реки Ялпуг, которую строители специально осушили и подготовили для транспортировки станции.

Аванкамеру для плавучей станции подготавливают парни из ПМК-26. Главный инженер колонны Петр Мочу охотно согласился повезти нас с Михаилом к месту отсыпки плотины.

Дорога была не из веселых. Кочки, ухабы, ямы, лужи... Но Петр не унывал. Он шутил, смеялся, то и дело высовывал из окна кабины голову, подставляя загорелое до черноты лицо теплому майскому ветру. Наконец перед нами открылась долина реки Ялпуг. С запада на восток ее пересекала желтая лента отсыпанной плотины. Мы въехали на утрамбованную колесами автоскреперов и тяжелогруженых самосвалов насыпь. Вылезли из машины. Вдруг нас оглушил стрекочущий звон, который плыл над долиной.

— Лягушки! — рассмеялся Петр. — Устроили концерт в предчувствии большой воды.

К северу от плотины простиралась обширная болотистая равнина — будущее дно Тараклийского моря. До того как через магистральный канал сюда попадет вода из озера Ялпуг, котловину потихоньку наполняют воды речушки Ялпуг. Она на вид неказиста и на карте помечена пунктирной линией. Но случается, весной во время сильных паводков речка проявляет свой буйный характер — сносит мосты, заливает пастбища. Своим норовистым поведением она не раз досаждала каналостроителям.

— Мне рассказывали, что года два назад экскаваторы приходилось устанавливать на специальные полозья, чтобы они не увязли в болотной жиже. Нелегко было подступиться к Ялпугу. Но теперь все это позади... — Петр ослабил галстук. — Ну и припекает!

Михаил бросил вопросительный взгляд в сторону главного инженера:

— Тараклийцы ждут не дождутся ялпугской воды.

— Долину мы в основном перекрыли, — сказал Петр. — Осталось забетонировать откосы плотины. И тогда...

Что «тогда», мы так и не узнали. Проревевший рядом автоскрепер заглушил слова главного инженера.

Михаил задумчиво посмотрел вдаль. Мне кажется, он услышал, как плещутся волны о бетонные откосы плотины, и ясно увидел скользящие в солнечной дымке косые паруса яхт. А может, это ветер разметал белый цвет майских садов?

В. СУПРУНЕНКО



УДАР ПО ВЕРТИКАЛИ

ДМИТРИЙ ГУРДИШ мечтал стать летчиком. Приехав из села Старые Резеды в Кишинев, подал документы в летное училище. Парню не повезло — слишком жесткими оказались требования врачебной комиссии. Но Дмитрий не пал духом. Он стремился к настоящей мужской работе. И он ее нашел. Дмитрий стал кузнецом.

С тех пор как он впервые с опаской приблизился к грохочущему пятитонному молоту, прошло десять лет. Сегодня Дмитрий Гурдиш — кузнец-штамповщик высшей квалификации, один из лучших молодых рабочих на Кишиневском тракторном заводе. Плотный, коренастый, собранный, он производит впечатление человека, уверенного в себе и в истинности дела, которому посвятил жизнь.

Молодой кузнец ловко орудует длинной пикой возле дышащей жаром печи, сноровисто переворачивает заготовку клещами, подставляя ее под удар молота, уверенно чувствует себя возле пресса. Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Любой из пяти членов бригады готов заменить товарища на любом этапе рождения детали. Каждая операция по-своему сложна и требует особого мастерства. Чуть передержал заготовку в печи — и металл крошится, как сухарь, чуть замешкался у молота — и заготовка не ложится точно на штамп — лишние хлопоты обрезчику.

— И таких «чуть» в нашей профессии десятки, — улыбается Дмитрий. — У молота не заскучаешь!

Комсомольско - молодежная бригада Ивана Будулуцы, в которой работают Дмитрий и его младший брат Василий, обслуживает самый тяжелый, пятитонный молот. Отсюда уходят в производство полукатки, кронштейны, тяги, вилки. И не было случая, чтобы контролеры высказали претензии к качеству. Оно гарантировано высоким профессиональным уровнем, ответственностью, дисциплинированностью членов дружного коллектива.

Как, впрочем, гарантировано и качество свекловичных тракторов Т-70С, которые выпускает завод. Коллектив КТЗ, в котором трудится около двух тысяч комсомольцев, доказал свою способность успешно решать задачи технического прогресса, освоения и выпуска новой техники. На заводе пять раз перестраивалось производство, осуществлялся переход на более совершенные модели тракторов. Каждая перестройка сопровождалась повышением технического уровня завода, культуры его производства, производительности труда и мастерства людей. Тракторы становились все более мощными, надежными в работе, увеличивался их гарантийный срок. Свидетельством этого явилось присвоение трактору Т-70С Знака качества. И сегодня тракторы с маркой КТЗ (кстати, Кишиневский тракторный завод единственное в стране предприятие, которое выпускает свекловичные тракторы) можно встретить на полях всех братских республик страны.

В том, что кишиневские тракторы пользуются большим спросом не только у свекловодов нашей страны, заслуга и молодых заводчан, членов комсомольско - молодежных

ПАНОРАМА

Молдавия — край звонких песен и искрометных танцев. В них горячее сердце, душа и характер народа. В радости и в горе, на всех перекрестках многовековой истории верным спутником молдаван была дойна, впитавшая в себя лиризм и задушевную теплоту, мужество и широкий нрав простых людей. Поэтому и неудивительно, что один из ведущих певческих коллективов республики по праву назван этим именем. Хоровая капелла «Дойна» бережно хранит богатые певческие традиции своего народа.

Огромной популярностью и всеобщей известностью поль-

коллективов трубогибщиков, электросварщиков, слесарей-сборщиков. Лучшим среди них по праву считают бригаду кузнецов-штамповщиков кузнечного цеха, которой со дня ее основания руководит Иван Будулуца. Бригада по итогам социалистического соревнования среди коллективов отрасли признана победителем за 1981 год. Осенью прошлого года комсомольцы Дмитрий и Василий Гурдиш, Георгий Чекой, Николай Андон, коммунисты Иван Будулуца стали инициаторами почина «XIX съезду ВЛКСМ — план двух лет пятилетки». Они сдержали свое слово, и передовому коллективу было присвоено звание бригады имени XIX съезда ВЛКСМ. С радостью узнали товарищи по бригаде, что их групкомсорг Дмитрий Гурдиш был избран делегатом на комсомольский форум страны.

Бригада в поиске. Она живет завтрашним днем, стремится к новым высотам.

— Задание одиннадцатой пятилетки мы обязуемся выполнить к 115-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина, — говорит Дмитрий Гурдиш. — Перед нами сложные задачи. В этой пятилетке на заводе будет освоен выпуск нового трактора для виноградарей Т-70В, ведется разработка модернизированной модели свекловичного трактора Т-90С. В выпуске этих машин примет участие и наша бригада. Сегодня мы на пути создания сквозной специализированной бригады кузнецов-штамповщиков, которая, по замыслу, должна объединить рабочих трех смен. Объединившись, мы сможем с большим эффектом и отдачей решать самые сложные задачи, которые поставит перед нами производство.

Цех наполнен ровно пульсирующим гулом. Надсадно ухают молоты. Из приземистых печей с шипением вырываются сиреневые языки пламени. Попискивают краны, подающие к рабочим площадкам заготовки. Подхватив клещами очередной раскаленный «блин», Дмитрий бросил его под молот. Нажал на педаль. Удар! Блин принял форму полукатка. Еще один удар — новая деталь. Которая по счету? Закусив губу, Дмитрий тянется за новой заготовкой. Не до арифметики.

А из ворот сборочного цеха, поблескивая свежей ярко-желтой краской, один за другим выезжают тракторы...

О. КОПТУ

ПАНОРАМА

зуется Государственный ансамбль народного танца «Жок». Его творческие маршруты не только исчертили густой сетью родное Приднестровье, но пролегли по всей нашей стране и почти по всем континентам мира. Свое имя «Жок» получил от молдавского национального праздника. В зажигательных плясках и хореографических миниатюрах ансамбля все богатство, вся неповторимость молдавского народного танцевального творчества.

Группа талантливых исполнителей ансамбля «Жок» была удостоена Государственной премии СССР.

АКТИВ ПАВЛА БОНДАРЯ

ТИРАСПОЛЬ — крупнейший промышленный центр Советской Молдавии, а дважды орденоносный завод литейных машин — «Литмаш» имени С. М. Кирова — флагман промышленности города. За день не обойдешь его многочисленных производств. Здесь рождается уникальная техника. Тираспольские автоматические линии, на которых получают точное литье, успешно работают на ВАЗе и КамАЗе, на машиностроительных предприятиях Москвы, Одессы, Челябинска, многих других заводах страны, экспортируются в десятки зарубежных стран. Известные специалисты Чехословакии, Франции, ФРГ, где уровень литейного производства очень высок, с похвалой отзываются о продукции «Литмаша». А честь заводской марки — это в первую очередь честь заводского коллектива, в котором рука об руку с опытными ветеранами трудится свыше двух тысяч молодых рабочих, инженеров, техников.

Душой комсомольской организации завода (она объединяет 1300 человек) товарищи единодушно называют комсорга цеха № 17 Павла Бондаря. Такое всеобщее уважение к Павлу вызвано его особым, душевным отношением к людям...

Павел пришел в цех после окончания десятилетки. Специальностей никаких не имел, однако трудовая слава завода была ему хорошо известна. Товарищ его отца, ветеран «Литмаша» Владимир Федосеевич Лукашевич, часто рассказывал юноше о том, как мальчишкой-подручным гнул спину в частной мастерской Питча, на базе которой и был создан завод. Перед Павлом проходили картины рабочего мужества и подвига. Кузнецы и литейщики мастерских устанавливали власть Советов, насмерть бились с оккупантами и буржуазными националистами. В труднейших условиях нэпа первые комсомольцы Молдавии возводили цеха нового предприятия. Его справедливо можно назвать детищем страны. Москва и Ленинград дали заводу опытных специалистов, промышленный Урал прислал оборудование, Донбасс — металл. В 1924 году «Литмаш» вступил в строй. Завод стал ровесником Молдавской АССР и начал работать всего на 21 месяц позднее образования братского Союза ССР. Созданием завода было положено начало развитию тяжелой промышленности республики. За доблестный труд в годы первых пятилеток коллектив «Литмаша» был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Павла приняли на завод учеником токаря-расточника. К делу его приучал бригадир комсомольско-молодежной бригады Геннадий Поляков. Наставником Геннадий был прекрасным. Покажет он Павлу, как надо выполнять ту или иную операцию, и тут же объяснит, почему следует делать именно так, а не иначе с точки зрения теории... Вдобавок расскажет о возможных ошибках расточника, о том, как их избежать, покажет различные приемы, ко-

торыми пользуются передовики... Сам Поляков заочно учился в техникуме, и пример его убедил Павла, что без основательных знаний в их профессии многого не добьешься. Он поступил в школу профессионального мастерства, где преподавали ведущие специалисты — инженеры и технологи, лучшие станочники. Когда прошел курс токарных наук, сдал экзамен на четвертый разряд, товарищи по бригаде торжественно отметили это событие. «У нас, Паша, не проще, чем в институте, а ты рабочий диплом защитил...» И преподнесли ему подарок: самими же сделанный набор отличных инструментов с памятной надписью на ящичке: «Учись и учи других». Этому завету следовал и следует Павел Бондарь, ныне расточник самого высокого — шестого разряда, признанный ас токарного дела.

Сравнивая свой труд с трудом передовиков, Павел постигал секреты мастерства. Но, утвердившись в профессии, прочно войдя в коллектив, стал наблюдать не только за работой цеховых передовиков. И обнаружилась тревожная истина. Некоторые бригады, где работали недавние выпускники ПТУ, «лихорадило». План, да и то с трудом, выполнялся к концу месяца в основном за счет сноровки и сверхурочного труда опытных станочников, включенных в состав таких бригад. Мастера сетовали: новички с заданиями систематически не справляются, их квалификация гораздо ниже полученных в училище разрядов.

Бондарь сам попросил дать ему комсомольское поручение: выявить причины отставания. Не раз бывал он на занятиях в ПТУ, беседовал с будущими выпускниками, наблюдал за их практикой в цехе, за их первыми шагами на производстве. Анализ и обобщение наблюдений выяснили истину: теоретическая подготовка у ребят есть, но она не увязывается с практикой — маловато навыков получает учащийся на производстве. К рабочему ритму новички привыкают медленно, а тут им сразу давай план, не раскачивайся! К тому же новички получали нередко самую невыгодную, второстепенную работу. Вот и разочаровывались, теряли веру в себя ребята, думали: скорей бы в армию. Павел твердо убедился в том, что нужно упорядочить наставничество, подбирать в воспитатели таких людей, которые занимались бы с новичками не по обязанности, а по велению сердца.

О своих наблюдениях и выводах Бондарь рассказал на заседании цехового комсомольского бюро. Критика, конечно, полезна, но нужны были какие-то меры... И Павел попросил перевести его в одну из наиболее отстающих бригад.

Говорят, лиха беда начало. Нужно было преодолеть самое трудное — инерцию равнодушия, воспитать в молодом рабочем чувство локтя, ответственности не только перед коллективом, но прежде всего перед самим собой. Трудностей было немало, но как раз, преодолевая эти трудности, он вырос как организатор и воспитатель, выработал свой, бондаревский, почерк. Он не считал правильным «действовать в лоб», он искал особые пути. И вот, узнав, что многие увлекаются спортом, предложил организовать свою футбольную команду. Все согласились. Начались тренировки, встречи с командами других цехов. А когда заняли призовое место в первенстве завода, ребята поняли, что сила их в коллективе, а это сознание помогло спайке в работе. Потом вроде бы и незаметно в обычай вошли бригадные вечера отдыха, совместные поездки в города-герои, «советы дружбы», на которых можно

было поделиться всем, что тебя волнует, найти понимание, получить совет и поддержку товарищей...

И вот пришло время, когда Павел убедился, что можно настроить ребят на серьезное дело. Правда, его предложение соревноваться с лучшей бригадой цеха вызвало серьезные размышления: на фоне труда передовиков могли выявиться недостатки в работе молодой бригады... «Так это же здорово, - убеждал Бондарь. — Значит, будем все делать более вдумчиво и добротно!»

Действительно, трудовое соперничество многое дало бригаде. Ребята куда строже стали соблюдать технологию и вместе с тем научились искать в ней еще не раскрытые резервы производительности труда, полным ходом заработала рационализаторская мысль. Были, естественно, и поражения, но тем радостней воспринимались победы. В 1980 году, когда Леонид Ильич Брежнев поздравил коллектив «Литмаша» с досрочным выполнением пятилетнего задания и знамя предприятия украсил орден Октябрьской Революции, бригада, которой руководил Павел, вышла на одно из первых мест по заводу. А с октября прошлого года кубок имени Героя Социалистического Труда В. В. Блохиной перешел в бондаревский коллектив токарей-расточников... Стоит заметить, что этот почетный приз, учрежденный в 1979 году, раз в квартал вручается лучшей бригаде завода, и то, что вот уже в четвертый раз он завоеван ребятами, красноречиво говорит о том трудном, но верном пути к мастерству, который прошел некогда отстававший коллектив.

— Я знаю Павла с тех пор, как он пришел на завод, — говорит секретарь парторганизации цеха Анатолий Федорович Полянский. — В нем есть какой-то особый талант. Общаясь с ним, человек всегда обретает положительный заряд. И людей влечет к Бондарю... Что? На мой взгляд, его умение выслушать и понять собеседника, вместе подумать и вместе найти верное решение. С Бондарем всегда работают его единомышленники. О них так и говорят: Бондарь и его команда. Взялись — дело будет. Павел никогда не действует сам по себе, в одиночку, в этом его сила.

Весной Павла Бондаря избрали делегатом XIX съезда ВЛКСМ. Вернулся он с новыми замыслами, многое узнал от товарищей-делегатов. Основываясь на опыте уральцев, Бондарь предложил провести так называемый «комсомольский эксперимент». Суть его заключается в том, что примерно раз в месяц (затем чаще) все нити управления производством передаются молодым рабочим. Конечно, они проходят стажировку у начальников цехов, участков, смен, но при эксперименте, заменяя их, работают самостоятельно. Риск невелик: при надобности ошибку поможет исправить специалист-наблюдатель. Зато выигрыш весом: молодой рабочий постигает тонкости производства, учится им управлять. Для «Литмаша» такая универсальная подготовка молодых кадров имеет особое значение. На предприятии завершается генеральная реконструкция, установлена новейшая техника и полным ходом идет подготовка к серийному выпуску более производительных автоматических линий, установок для получения точного литья. Умение управлять производством поможет молодым рабочим успешней освоить новую технику и технологию, поэтому Бондарь и его единомышленники деятельно готовятся к проведению «комсомольского эксперимента».

Ю. ГУРЬЕВ

ПАНОРАМА

Незаменимым материалом народных умельцев Молдавии всегда было дерево. В богатом творческом опыте многих поколений мастеров резца развивалось и совершенствовалось понимание пластических качеств дерева различных пород: ореха, дуба, ясеня, каштана, кедра, березы. Искусство резьбы по дереву особенно ярко проявилось при строительстве и отделке домов крестьян, при изготовлении различных предметов домашней утвари, мебели, инструментов. Буквально в каждую новую вещь народные мастера вкладывают свои думы, свое видение окружающего мира. Порой кажется, что дерево оживает в золотых руках мастеров, показывая их умение одушевлять различные породы, приносить людям радость.







ЗВЕЗДЫ НАД КОЛОДЦАМИ

КОГДА НАД СПЯЩИМИ селами тихо падают августовские звезды, в Молдавии не скорбят об умерших. Повсюду льются дойны и звучит музыка. В домах, над которыми гаснут звезды, рождаются счастливые дети. В лунную ночь хорошо заметны те места, куда вонзаются звездные осколки. Там люди с первыми лучами солнца начинают рыть колодцы. Вода в них пахнет лунными туманами, утренней росой, луговым разнотравьем и прохладным черноземом, потревоженным плугом.

Именно такую воду я пил на юге Молдавии, неподалеку

от села Валя-Пержи. Капли, срываясь с ободка оцинкованного ведра, вспыхивали в косых лучах заходящего солнца. Мои спутники терпеливо ждали своей очереди.

Меня не столько поразил вкус воды, как сам колодец. Длинная тень от беседки, внутри которой находился сруб, перечеркивала дорогу и исчезала в черных голых полях. Вокруг тишина и безлюдье. Казалось, редкая птица пролетит над этим отмеченным звездой местом. И вдруг такое помпезное для степных вольных просторов сооружение. Не просто будка, на скорую руку сколоченная из обрезков неошкуренного горбыля, а тщательно и умело пригнанные досочки, резные перильца, украшенные затейливым орнаментом столбы.

Вода — для потрескавшихся от жажды губ, беседка — для сбитых на пыльных дорогах ног, декоративный заборчик — «пэлимар» — для уставших от степного однообразия глаз. В Валя-Пержи меня познакомили с молодым трактористом Иваном Куртевым. Жители улицы, на которой стоит его дом, долгое время ходили за водой к источнику, расположенному в центре села. И однажды, помогая старушке донести до ворот тяжелые ведра, Иван решил сменить на время профессию. Он стал фынтынарием — строителем колодцев. Именно строителем! Потому что в Молдавии вырыть колодец — это еще полдела, выложить сруб тоже немудреная затея. Главное — возвести над ним сооружение, которым будут восхищаться односельчане и перед которым любопытные туристы не выпустят из рук фотоаппарата до тех пор, пока не кончится в кассете пленка...

Колодцы Молдавии — в селе Речя Рышканского района, в селе Пересечина Оргеевского района, в поселке Лазо, на трассах Бельцы — Единцы, Кишинев — Бендеры и во многих других местах — поражают оригинальностью и причудливостью построек. Столбы, поддерживающие крышу, как правило, украшены орнаментами, которые в народе называют «кошачья лестница», «винтообразный», «в полоску», «насечка». Привлекает внимание крыша из разукрашенной доски или же из ажурно распиленных дранок. Над тем местом, где соединяются грани крыши, возвышается своеобразный шпиль — «болд». Часто края крыши обрамлены резными досками, которые как бы поддерживают болд. Орнамент самый различный. Здесь и змеи, и драконы с поднятыми головами, и головы лошадей, и волшебные кони. Одним словом, сказочный терем!

Вода утоляет жажду, поит сады и поля. Но в то же время вода — хранительница тайн, легенд и преданий. Бережное отношение к воде — это бережное отношение к истории. Возле села Долна вам покажут закрытый колодец с навесом. Он построен на месте родника, носящего имя Земфиры. У этого источника, по преданиям, Александр Сергеевич Пушкин часто подстерегал прекрасную дочь булибаши — старейшины цыганского табора. Есть в Молдавии источники, которые носят имя Штефана Великого. Рассказывают, что великий господарь, однажды остановившись со своим войском в окрестностях села Волчинец, рекомендовал своим солдатам пить воду только из источников, которые протекали вблизи его шалаша.

Вода в молдавском фольклоре — символ вечности и бессмертия. Поэтому в Молдавии нередки колодцы-памятники. На тридцать пятом километре шоссе Кишинев — Леушены в лесной ложбине когда-то стоял старый колодец. На этом месте во время Великой Отечественной войны в неравной схватке с врагом погибли трое партизан. Потомки решили увековечить подвиг народных мстителей. На месте старого колодца из блоков шишканского камня и дубовых бревен был построен колодец-памятник. На бревне, которое упирается в стойку колодезного журавля, — описание легенды о трех героях.

Построить колодец своими руками — значит сделать большое и нужное дело, утвердить себя в глазах окружающих. «Кто роет колодец, тот будет отдыхать в раю», — говорят старики. Рассказывают, что во время одного свадебного застолья боярин пообещал подарить молодым колодец. Слово не воробей, и утром он уже стоял с лопатой у ворот молодоженов. Однажды лауреат премии комсомола Молдавии поэт Николае Дабижа зашел в редакцию республиканской молодежной газеты и торжественно водрузил на стол тщательно запечатанную бутылку. Все принялись поздравлять гостя с выходом в свет

Василе НЕДЕЛЕСКУ

РОДНИК И ФАКЕЛ

Природа слов одна,
но мы упрямо
в них смысл особый ищем и находим:
мы слово **Родина** и слово **мама**
от **хлеба, мира, счастья** производим.

Словам, как людям, нужен **дом** для жизни,
им жить невмочь поврозь и где попало:
они способны лишь в своей **Отчизне**
спросить немало и **сказать** немало.

Слова, на равных с почвою,
вплотную
с землей, где предки спят и зреют злаки, —
и держат нас, и с вечностью связуют,
они всегда —
и наш **родник,** и **факел.**

●

Проснулся мак.
В его глазах рассвет
животворящей рдеет кровью.
Дыша прохладой росною,

нового поэтического сборника. Николае многозначительно молчал. Когда прозвучали здравицы и были опорожнены бокалы, на лицах присутствующих застыли недоуменные улыбки. В бутылке была простая вода. Николай выступил вперед и сказал:

— Это вода из колодца, который я построил в своем селе!

В Молдавии строят колодцы все — инженеры, учителя, поэты, механизаторы. Труд фынтынария в большом почете у молдаван. И поэт Николае Дабижа гордится колодцем в своем селе не меньше, чем новым поэтическим сборником. Из колодца, построенного Иваном Куртевым, пьет воду вся улица. Иван теперь спит спокойно.

Над Валя-Пержи, Кодрами, Днестром — над всей Молдавией тихо плещутся звезды. Золотом горит среди созвездий кифара Орфея, который, по преданию, погиб на днестровских кручах. Срываясь, звезды задевают о струны. Хрустальный звон плывет над спящей землей. Звезды продолжают сыпаться с неба, и черная вода самых глубоких колодцев вспыхивает голубыми искрами...

В. ПЕТРОВ

поэт
к его приходит изголовью.
Здесь столько неба
в каждом уголке,
что хватит воздуха поэме,
где б в каждом звуке,
слове
и строке
звенели
Родина и Время.

ВСЕСИЛИЕ СВЕТА

От цветов на поле
сердцу поневоле
солнечно до боли.

Светоносной силой
до землицы милой
дерево склонило.

И глазам моим
предстает святым
край, что так любим.

Перевел с молдавского
Анатолий ВЕРШИНСКИЙ



После 1912 года Молдавия получила возможность приобщиться к богатейшей культуре России. В крае распространяются и получают поддержку общественно-политические идеи передовых кругов русского общества. Глубокий след в истории молдавской культуры оставило пребывание в Бессарабии Александра Сергеевича Пушкина, которого царское правительство сослало сюда за вольнолюбивые стихи, направленные против самодержавия и крепостничества. Здесь во время ссылки А. С. Пушкин нашел много единомышленников. Большая дружба связывала его с молдавскими писателями К. Негруци и К. Стамати. В Кишиневе поэт встречался со многими руководителями движения декабристов — В. Ф. Раевским, П. И. Пестелем, К. А. Охотниковым и другими. В Кишиневе есть ряд мест, связанных с пребыванием в Бессарабии гения русской поэзии. В частности, сохраняется и дом, в котором Пушкин встречался с декабристами. Именем поэта названы Молдавский музыкально-драматический театр, одна из улиц, парк и школа в столице республики, в городе имеется Дом-музей А. С. Пушкина.

«Сия пустынная страна священна для души поэта», — писал Александр Сергеевич о Молдавии. И молдаване свято чтут его память.

Кишинев. Памятник А. С. Пушкину в парке, носящем имя поэта.

В июне в Кишиневе, в пригороде Скиноаса, проводится один из этапов первенства мира по мотокроссу. Сильнейшие гонщики мира считают кишиневскую трассу одной из самых сложных и увлекательных.

Физкультура и спорт прочно вошли в повседневную жизнь трудящихся городов и сел Молдавии. В республике действуют около трех тысяч коллективов физкультуры, в которых занимаются более 600 тысяч человек.



«В МОЛДАВСКОЙ ССР... ДОБИТЬСЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ЗНАЧИТЕЛЬНОГО РОСТА ПРОИЗВОДСТВА КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО».

Из Продовольственной программы СССР

ДРУЖНЫЕ ВСХОДЫ

МЫ СТОЯЛИ у кромки черного пахотного поля, которое, плавно выгибаясь, уплывало вдаль. Над горизонтом багрово слезилось заходящее солнце. Слева в прозрачно-зеленой лесопосадке галдели птицы. Мой собеседник нагнулся, растер в ладони комок земли. Слипшийся кусок в сердцах отшвырнул в сторону.

— Сыровато еще, ой, сыровато, — с сомнением покачал головой. — Вот полюбуйся!

Руководитель Валя-Пержского севооборота объединения механизации и электрификации сельскохозяйственного производства Чадыр-Лунгского районного совета колхозов Николай Куртев вытащил из блокнота календарь. Половина чисел апреля в нем была помечена черными точками.

— Все эти дни непрерывно лили дожди, — сказал Николай. — Механизаторы рвались в поле. Весной день год кормит! Но... Сам видишь, какие дела. Только вчера распогодилось...

В это время над изгибом поля вспорхнул сизый дымок.

— Наши едут! — радостно взмахнул рукой Николай.

К нам быстро приближалась машина с прикрепленной к бамперу длинной штангой. Под ней в тончайших мучнистых струйках, брызжущих из распылителей, всплескивались радужные ленты. За машиной почти вплотную двигался трактор, который волок за собою тяжелые дисковые бороны. Казалось, техника составляла одно целое с полем, дышала с ним в едином весеннем ритме.

— Ювелирная работа! — возбужденно воскликнул Николай и добавил: — А иначе на этом поле и нельзя работать.

От трактора к нам широко и размашисто шагал парень в лихо заломленной на затылок кепке.

— Знакомься, — сказал Николай. — Групкомсорг комсомольско-молодежного механизированного отряда № 11 Иван Куртев. Один из лучших наших механизаторов. Это он вместе с Димой Михайловым «открыл» тот памятный весенний сезон...

О том «памятном весеннем сезоне», когда на землях колхоза «Красное знамя», которые обслуживает мехотряд, впервые в нашей стране была испытана принципиально новая технология возделывания кукурузы, мне довелось услышать еще не раз. И всегда, когда речь заходила об этой технологии, звучали фамилии комсомольцев отряда.

— Как почва? — озабоченно спросил руководитель у Ивана.

— Мокровато, но раствор вроде исправно ложится. Бороны вот только частенько забиваются.

— Ничего День-другой, и засеем поле. Погода, кажется, наладилась.

— Ладно, я побежал. Ребята ждут.

Машина и трактор развернулись и заспешили к другому концу поля. Вскоре они скрылись из виду.

По дороге в контору колхоза «Красное знамя» Николай коротко рассказал мне о структуре севооборота.

— Мы побывали на землях Героя Социалистического Труда Савелия Михайловича Пармакли. Именно он был пионером внедрения индустриальной технологии выращивания кукурузы. Кроме его отряда, в севооборот входят еще два. Их возглавляют лауреат Государственной премии Георгий Степанович Хаста и лауреат премии Ленинского комсомола Степан Михальчук. Как видишь, командиры у меня опытные, надежные. С ними горы своротить можно.

В конторе нас уже ждал Савелий Михайлович. Прямо с порога он обратился к Куртеву:

— Опять в район вызывают. Что бы там ни случилось, не поеду. На носу сев. Отсеемся — тогда и поговорим.

В том, что весна самое ответственное время для кукурузоводов, я убедился, как только Савелий Михайлович завел речь об индустриальной технологии выращивания кукурузы, впервые примененной в его отряде.

— Когда специалисты предложили мне испытать новую технологию возделывания кукурузы, я вначале призадумался. Признаться, выкладки ученых меня озадачили. Что значит посеял и до самой уборки никаких обработок? А как же с сорняками? Как обойтись без прополки и прорывки, без культивации междурядий? Перед нами выступили ученые, специалисты, все разъяснили, научно обосновали. Коллектив поверил в новую технологию. Особенно горячо за ее внедрение взялась молодежь.

Эксперимент начался. Старательно, с особой тщательностью пармаклийцы подготовили почву, внесли гербициды, провели сев. Все с нетерпением ждали всходов. И когда в конце мая увидели, как дружно они появились и как быстро и хорошо развиваются, поняли: первый этап проверки новой технологии прошел успешно. Однако впереди было целое лето. А оно на юге Молдавии, в засушливых Буджакских степях, бывает довольно капризным. Какой сюрприз преподнесет на этот раз? Синоптики отделывались общими прогнозами. Судьба посевов по-прежнему волновала специалистов.

Прошел месяц-другой. Механизаторы, агрономы, ученые смотрели, как растет и набирает силу кукуруза, и радовались: посевы дружные, растения ярко-зеленые, сочные, одинаковой высоты, рядки проложены словно по линейке. Но не это удивляло Савелия Михайловича. В мастерстве молодых механизаторов он никогда не сомневался. Поражало другое: на сотнях гектаров агрономы не находили ни одного сорняка. Не было привычных борозд, остающихся после культивации, черной взрыхленной почвы. Земля в междурядьях плотная, ровная, покрыта тонкой корочкой и густой сетью трещин. После уборки урожая оказалось, что в среднем каждый из 800 гектаров дал по 63 центнера зерна! С остальных же 136 гектаров, на которых кукуруза возделывалась по обычной технологии, получили только по 31 центнеру. В преимуществах новой технологии больше никто не сомневался.

— Савелий Михайлович, в вашем хозяйстве уже накоплен достаточный опыт выращивания кукурузы по индустриальной техно-

логии. Расскажите более подробно об основных звеньях технологической цепи.

— Принципиальное отличие новой технологии от старой состоит в том, что вся тяжесть механизированной обработки поля падает на ранневесенний период, что позволяет избежать интенсивного испарения влаги. Новый метод выращивания кукурузы основан прежде всего на высокоэффективных химических средствах защиты растений от сорняков, вредителей и болезней, на применении высокопроизводительных широкозахватных машин и орудий. Кроме того, если внимательно проанализировать все выполняемые нами операции, то легко убедиться в том, что каждая из них велась на высоких скоростях, при этом всегда обеспечивалось и высокое качество работ. Высокопроизводительная работа техники позволила сократить время на проведение операций, выполнять их в наиболее оптимальные сроки.

Уже в следующем, 1978 году кукурузу с применением элементов новой технологии возделывали в большинстве других районов Молдавии. А ведь во многих хозяйствах не было того комплекса специальной техники, которым располагали мы. Как же там выходили из положения? В колхозе «1 Мая», например, на опрыскиватель ставили маркеры, благодаря чему при внесении гербицидов значительно улучшилось качество распыления раствора. В ряде хозяйств под внесение гербицидов приспособили переоборудованные виноградные опрыскиватели. В свеклосеющей зоне республики на прикатывающие колеса сеялки СПЧ-6 надевались резиновые ободки с колес свекловичного прореживателя, что придавало ей большую устойчивость и тем самым стабилизировало норму высева... Так что, как видите, — закончил Савелий Михайлович, — у молдавских кукурузоводов есть чему поучиться.

В комсомольско-молодежном отряде Пармакли подобрались разные по характеру парни. Деловитый, спокойный Иван Куртев, исполнительный до педантичности Дима Михайлов, азартный, увлекающийся Леонид Стоянов. Но их объединяет одна общая черта — постоянное стремление утвердить себя в новом деле. Новая технология выращивания кукурузы ставит перед ними все новые и новые задачи. Какое сочетание гербицидов является наиболее эффективным и наименее опасным для культур, следующих в севообороте за кукурузой? Всегда ли нужна поверхностная обработка гербицидами? А как они влияют на окружающую среду? Ответить на эти вопросы пармаклийцам предстоит в самое ближайшее время.

Я покидал гостеприимное село Валя-Пержи, когда солнце едва теплилось над горизонтом. Стояла тихая вечерняя пора. Пахло молодыми клейкими листьями, парным молоком, горьковатым дымком, свежезамешенной глиной. Эту весеннюю пору болгары, которых много на юге Молдавии, называют «пиперуда лята» — «бабочка летает». В эти дни ребятишки, радуясь теплу и солнцу, носятся по улицам и кропят водой из луж, колодцев, кранов все живое вокруг. Иван Куртев вернется домой поздно. И прямо с порога дочь Наташа плеснет в него из кружки свежей прохладной водой. «С весной тебя и новым урожаем, папа!» Иван устало улыбнется и подумает: «И с новыми заботами, дочка». Завтра ему с восходом солнца снова в поле.

С. ЗАМУРА

Второй год руководит комсомольско-молодежной бригадой виноградарей совхоза-завода «Бозиены» Мария Чубук. В минувшем году в числе первых бригада выполнила обязательства — собрала с каждого гектара по 90 центнеров винограда и продала государству сверх задания около 400 центнеров янтарных гроздьев.

На XIX съезде ВЛКСМ Мария Чубук представляла ордена Трудового Красного Знамени комсомольскую организацию Котовского района. Делегаты съезда избрали ее членом ЦК ВЛКСМ.

На снимке (слева направо): Зина Чубук, Николае Таку, Мария Чубук, Зина Дубчак, Клава Урсуляк.



ЗВУЧИ, НАЙ!

...Старый Димитру Мируцэ вытер платком мокрый лоб и продолжал:

— И когда ударят цимбалы, зазвучат скрипки, тут-то и начинается!.. Обнявшись, положив руки на плечи друг другу, несутся танцоры... Это молдовеняска. Поди-ка удержись! Глянешь по сторонам — не хмыкнул ли кто, и... махнешь рукой да в круг. И нет уже старости, не замечаешь, что внуки за спиной зубы скалят — только радость взахлеб, да хохот, да усы смоляные вразлет, да слезы из-под ресниц, а еще музыка, да такая, что скорей сердцу дашь разорваться, чем остановишься...

Славные люди придумали тот танец! В прошлое время людям нужна была радость. Не зря старики говорили, что люди смеялись, чтобы не плакать.

Но нужно порой и к себе в душу заглянуть, и чье-то сердце послушать. Вспоминает тогда молдаванин дойну. Дойна, дойна... Боль гайдука! Наверное, слыхал о таких славных людях? И турок били, и от господарей румынских защищали, и полицию царскую не жаловали любовью. Сколько их положили головы за счастье народное!.. Так не было у гайдука ничего, кроме коня быстрого, пистоля меткого, трубки с крепким табаком да ная. И как подступит у него к сердцу печаль, достанет гайдук из сумы най и споет дойну. Говаривали, что от песни у тех, кто слушал, слезы текли. И стала дойна для молдаван такой же необходимой в жизни, как и веселый жок и зажигательная молдовеняска. Прежде в дойне говорилось о тяжкой доле крестьян, о гайдуке, сложившем голову за народ, о потерянном доме, теперь она говорит о любви и расставании, о родной земле... То дойна на все времена!

Не раз вспоминал я рассказ старого крестьянина. И когда вместе с другими аплодировал выступлениям знаменитого на весь мир молдавского ансамбля «Жок», и когда был гостем на праздниках в молдавских селах, ни один из которых не обходится без традиционных песен и танцев. Но меня не покидало желание послушать дойну. И оно сбылось. Мне довелось услышать выступление оркестра молдавского радио и телевидения «Фолклор» и его солиста Василия Йову, который к тому же в совершенстве владеет искусством игры на нае — старинном молдавском инструменте, который, если верить рассказу Димитру Мируцэ, был верным спутником гайдука.

— Это действительно так, — подтвердил Василий, когда мы встретились после выступления. — Дойна — гайдуцкая баллада, а представить ее без глубокого, сочного звучания ная невозможно... Сам я впервые услышал игру на этом

инструменте в 1970 году и был очарован. В то время я обучался в Кишиневском институте искусств по классу флейты. Интерес, возникший у меня, не был случайным. Флейта и най — близкие инструменты, постановка губ и дыхания почти одинакова, но, несомненно, есть разница...

В том же году я познакомился с дирижером оркестра радио и телевидения Молдавии «Фолклор» Димитру Блажину. Когда он узнал о моем увлечении, предложил подготовить несколько вещей.

Я начал репетировать. Какие это были месяцы! Все свободное время я посвятил наю. Играл утром и днем. На переменах откладывал в сторону флейту и брал в руки най. А когда возвращался после занятий в общежитие, спускался в подвал, чтобы не мешать товарищам отдыхать, и играл там ночи напролет. Я отрабатывал технику, постановку дыхания, добивался чистоты звучания...

С самого начала я уяснил для себя, что флейта и най равны. Я понял, что противопоставлять один из них в ущерб другому нельзя. А ведь и сейчас порой можно слышать о том, что один инструмент создан для высокой классической музыки, а другой для исполнения народной. Никак не могу понять этих людей. Как можно проводить столь резкую грань между классической музыкой и народной, ведь она уходит глубокими корнями в другую и черпает там свою силу...

Йову достает инструмент и протягивает его мне:

— Вот он, най. Еще его называют свирелью Пана, или Сирингой... Увидел однажды козлоногий бог Пан прекрасную нимфу Сирингу и влюбился в нее. Захотел обнять ее, но нимфа бросилась от него в страхе. Встала преградой на ее пути река, а Пан все ближе. И взмолилась Сиринга, стала просить бога реки спасти ее от уродливого Пана. Внял ее мольбам бог и превратил Сирингу в тростник. А подбежавший Пан вместо прекрасной нимфы успел обнять только тростник и услышал в его шелесте прощальный привет нимфы. Срезал грустный бог несколько тростинок и скрепил их горным воском. Так и получилась вот эта самая свирель. Это легенда. А мне хочется обратить ваше внимание на то, что эта свирель по своей сути очень напоминает орган. То же самое действие. И я смею спорить, что создатели первых органов принцип действия этого громадного инструмента взяли у маленькой тонкозвучной свирели...

...Мои старания не пропали даром. После того как Димитру Блажина прослушал те несколько пьес, которые я подготовил, он предложил мне место в оркестре «Фолклор». Об этом я мог только мечтать! С тех пор началась моя настоящая работа с наем. И конечно же, мне приходится ездить в экспедицию по деревням, собирать мелодии, которые я затем обрабатываю и оркеструю. Спасибо нашим старикам! Если бы не они и их старания, едва ли дошли бы до нас те прекрасные мелодии, которые все мы сегодня слышим, которыми можем наслаждаться!

В 1973 году я участвовал во Всесоюзном конкурсе исполнителей на народных инструментах, который проходил в Воронеже. Здесь я занял второе место, а первое место — Таня Ченцова из

Минска. Как прекрасно она исполнила обработку народных мелодий на цимбале! Я начал заниматься с новым упорством. И в 1974 году на этом же конкурсе, который проходил в Москве, я занял первое место.

Большим испытанием стало для меня участие в международном конкурсе на фестивале молодежи и студентов в Гаване. Лучшие исполнители на народных инструментах со всего мира собрались здесь, чтобы показать свое мастерство, послушать других, и, конечно, каждый мечтал завоевать золотую медаль. Для меня эти дни прошли как во сне. Мелькали разноцветные одежды разных стран и народов, слышалась незнакомая речь и непривычные звуки чужих мелодий и инструментов. И золотая медаль, которую я завоевал в Гаване, мне особенно дорога и почетна...

После того как в 1980 году мы вернулись из гастролей по Франции, в Кишиневе меня ожидало радостное известие: я был удостоен почетного звания заслуженного артиста МССР, а также лауреата премии Ленинского комсомола. Вот тогда я понял смысл слов: «Ощутил себя на коне». Сегодня най завоевал достойное место среди других инструментов. Могу сказать, что в этом есть и моя скромная заслуга.

Сейчас я уже сам преподаю в Кишиневском институте искусств, веду класс игры на нае. О таком классе я еще несколько лет назад только мечтал. Скоро выйдет моя книга «Школа игры на нае». Так что у этого духового инструмента большая дорога.

А. МАКСИМОВ

ОБРЕСТИ свой театр — тайная или явная мечта многих сценических коллективов. Свой театр — это содружество единомышленников, мучительный творческий поиск, беспокойная жизнь, полная дерзаний, срывов и редких удач, постоянное — общее — горение. Совсем не просто обрести свой театр — свое творческое лицо. Но, кажется, это уже удалось молодой труппе поэтического театра, пятый год работающего при Молдавской филармонии. Свидетельство тому — премия комсомола Молдавии имени Бориса Главана, полученная за последние работы.

— Театр родился из небольшой любительской студии, объединившей нескольких энтузиастов, — вспоминает художественный руководитель Андрей Вартик. — Мы были молоды, жаждали дела, творческого поиска, дерзаний. Поначалу теперешней творческой направленности театра не было. Позже пришло главное — обращение к истокам молдавского народного театра, к богатому наследию национального фольклора — танцам, балладам, лирической поэзии. Ведь для того чтобы создавать подлинно современное искусство, надо знать его историю, опираться на опыт предшественников. Учителями для нас стали классики молдавской литературы.

Театр дебютировал спектаклем «Пасэре ын вынт» («Птица на ветру») по сценарию А. Вартика. Эта постановка и по сей день занимает достойное место в репертуаре. В ней своеобразно сочетаются современные художественные средства выразительности и элементы фольклорного, традиционного теат-

ГЛАВНОЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЛИЦО — СЛОВО

ра. Премьера состоялась в марте 1977 года — с этой даты театр и ведет отсчет своей творческой биографии.

В том же году появился спектакль «Лумина та» («Твой свет»), посвященный 60-летию Великого Октября. Драматургической основой этой работы стала поэма Петру Дудника «Ион Солтыс», фольклорная поэзия, созданная в трудные годы Великой Отечественной войны, а также гражданская лирика Лорки, Брехта, Элюара. 1979 год стал годом рождения поэтической композиции «Лупий» («Волки»), созданной по одноименному произведению молдавского летописца Мирона Костина. Воссоздавая реальные исторические события, спектакль приобретал и иное измерение — в нем звучали прекрасные старинные баллады.

К 110-летию со дня рождения В. И. Ленина был поставлен спектакль «Не мукие де куцит» («На острие ножа»). Необычна его драматургическая основа — стенограмма VII съезда партии, утвердившего Брестский мир, высказывания известных политических и государственных деятелей того времени. Спектакль воссоздает обстановку сложного, критического периода в жизни молодой Советской Республики.

XXVI съезду КПСС и XV съезду КП Молдавии посвящена постановка «Счене дин вяца трандафирулуй» («Сцены из жизни розы»), сценарий которой составлен из стихов современных молдавских поэтов о самом святом, что существует в каждом из нас, о том, о чем не говорят вслух. Сокровенность темы рождает особую атмосферу спектакля, подчеркнутую музыкой молодых композиторов Валентина Дынги и Тудора Кирияка.

Такой театр требует от исполнителя не перевоплощения, не представления героев: актеры не играют, а передают «глагол», момент действия между персонажами. Главное действующее лицо — слово, речь. Требования к актеру усложняются. Ведь перед нами не просто чтец, мы становимся не слушателями на вечере поэзии, а зрителями целостного поэтического действа, соучастниками страстного разговора о том, что нас всех волнует.

Театр напряженно ищет, пробует. Не каждый раз его поиски венчает успех. Но путь к нему корректируется жизнью, зрелой оценкой собственных побед и поражений.

...Ритмично ударяет барабан. Мигают прожекторы. Три фигуры появляются на сцене. Двигаясь в такт звонким ударам, пританцовывая, нараспев начинают актеры диалог с залом. И зал отвечает им.

А. ЮНКО



Художник К. ВАСИЛЬЕВ.

Слева — «ЖНИЦА».
Вверху — «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
Внизу — «СВИЯЖСК».

Кишинев. Обелиск в честь Ленинского комсомола.

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ



Анатолий СОФРОНОВ

●

В ГЛУБЬ ВРЕМЕНИ

Роман в стихах

Часть пятая

Окончание. Начало на стр. 120

Да, нас здесь долго ожидали.
Мы все мгновенно здесь поймем...
И скоро мы, как будто в зале,
Места вокруг стола займем.
И вдруг по рации услышим —
Как будто рядом здесь, под крышей, —
Как говорит товарищ Сталин
И поздравляет с Октябрем.
Всех, всех!.. И нас под этой крышей,
На Брянщине, в лесу притихшем.

Когда сюда к нам вдруг донесся
Знакомый голос из метро *,
Казалось, в темь лесную солнце
Луч обронило... И про то
Подумалось и загадалось,
До солнца сколько нам осталось
Дожить? Решая все вопросы,
Чтоб вечно стало всем светло,
Всем, кто и здесь сейчас собрался,
Кто с оккупантами сражался.

Сидели люди в гимнастерках,
Но только были без погон;

* Доклад к 25-й годовщине Великого Октября был сделан И. В. Сталиным в метро станции Маяковская.

И может, по привычке, зорко
Смотрели молча на огонь,
Что заменил электролампы,
Поскольку взорваны все дамбы...
Но с насыпей, как с темных горок,
Вниз, за вагонами вагон,
Среди лесов темно-зеленых,
Летели в бездну эшелоны.

В стаканы налили «Столичной» —
Ее в подарок мы везли...
Макеев встал. Сказал: — Отлично!
Что ждали здесь мы — то нашли.
Так скажем — за Москвою следом:
Тост предлагаю за победу! —
Мы поднялись и необычно
Все чокнулись... Да как могли!
Стаканов звон в молчанье кратком,
А дальше все своим порядком.

Но в этот миг открылись двери —
Фонарь под ветром замигал...
А я, глазам своим не веря,
Марию... Машу увидал!
В мохнатой шапке. В полушубке.
Все те же и глаза и губы...
Я взглядом всю ее измерил
И Машу прежнюю узнал.
Какой была — такой осталась,
Красивей даже показалась.

— Мария, наш хирург умелый,
Как видите, и хороша... —
Но здесь ко мне Мария смело,
Неторопливо подошла;
Обняв меня, поцеловала,
Негромко, но для всех сказала:
— Спасибо, Леша... Прилетел ты...
Признаюсь, я тебя ждала... —
Потом ко всем: — Друзья, недаром
Такой на праздник мне подарок! —

И села рядом... Зашумели
Все, что сидели за столом.

За тостом тост... Потом запели
«Ревела буря», словно гром...
В избе мелодия металась,
Кончаясь, снова начиналась.
Мы с Машей пели... Но сидели,
Казалось, за столом вдвоем,
И как-то странно сердце ныло,
И почему-то страшно было.

Мы на мгновенье все забыли.
Все было словно бы во сне...
Мы двери первыми открыли,
На воздух вышли... В тишине
Был слышен сосен гул тревожный
Да снега дальний скрип дорожный.
— Вот так-то, Леша... Не забыл ты,
Что было в той, другой стране?
Когда к дельфинам заплывали,
Что ждет нас в жизни, мы не знали...

Остановилась: — Здесь простимся
До завтра... Тут мое жилье...
А утром вновь объединимся,
Ведь сердце-то мое — твое. —
И вновь ко мне она прижалась,
Соленой на губах осталась.
...А где-то в небе в темной дымке
Летело звездное копье.
Куда-то вдаль оно летело,
Как «мессершмитт», в ночи гудело.

X

Валила с ног меня усталость,
Да и понятно — поздний час.
Что делать? Спать лишь оставалось,
Тем более — фонарь погас.
Нас было пятеро в избушке,
Стоявшей на лесной опушке...
Но дума сну не поддавалась,
Ее огонь во тьме не гас;
Так неожиданно все было,
Все что-то новое открыло.

Как странно было ночью брянской,
В крестьянской рубленой избе
На печке лежа партизанской,
Раздумывать и о своей судьбе.
И умный ты или неумный —
Все ж воля неподвластна думам;
Не все подвержено балансу
И подчиняется тебе;
Ты рад бы быть прямолинейным,
Да только жить нельзя келейно.

Идет война... И все смешалось,
Нас бурей всех поразмело...
А в личной жизни что осталось?
Что улыбнуться в ней могло?
Да сколько ж может так тянуться?
Иль стоит все же оглянуться
И вспомнить, что любовь не жалость?
Что между жизнями легло?
Какие сложные загадки —
Иль им поддаться без оглядки?

Здесь брянский лес... Здесь разве место
Вопросы личные решать,
В районе города Трубчевска
Другими жизнями играть?
Как мне сказать тебе, Мария,
Что, кроме нас, есть и другие?
Так думал я... И голос леса
Мне повторял тревожно: спать...
И чудилось, что мысли тенью
В избе метались, как виденья...

...Не спал, ворочался на печке,
Дремал и просыпался вновь.
И все ж решил, что в этот вечер
Скажу Марии про любовь, —
Что нет, осталась, не угасла,
Душа моя над ней не властна;
Что сложным поиском отмечен
Мой трудный путь... Пусть он ненов,
Но я не первый, не последний
В цепи ее слепых трагедий...

Наутро на лесной поляне,
Где снега чистого покрой,
Увидел я, как партизаны
Ровняли непривычно строй;
Ремни, гранаты, автоматы, —
Особой доблести солдаты;
И кто стоял в ряду — заране
Был обозначен как герой;
А рядом лес шумел сосновый,
От зорьки ранней чуть багровый.

В ноябрьском этом зимнем утре
Немое было торжество;
И даже снег, слетевший будто
Сюда, как бы на рождество.
Шаги вдруг рядом заскрипели —
И все налево посмотрели,
Откуда шел Макеев. Суток
Еще с прилета не прошло,
Но знали все, что вместе с нами
Летел Макеев с орденами.

С ним командиры шли. Коробки,
Прижав к груди, они несли;
На стол с почтеньем, как бы робко
Поставили и отошли.
Светили сосны, словно свечи —
Тем, кто наградой был отмечен.
К столу протаптывали тропку
И от волненья — не смогли
Сказать ни слова... Это ж радость:
Ведь в день *такой* была награда!

Да, это праздник был особый, —
Еще поездка на конях.
Сказал Макеев нам: — Вы оба
Со мной поедете в отряд. —
Спросил Марию: — Научились?
— Как полагается по чину;
Обязан врач привыкнуть к седлам,
Коль в партизанских он краях;
И днем и темными ночами
Нас кони всех здесь выручают.

Макеев ехал с командиром,
А мы — чуть приотстав — им вслед;
Казалось, все здесь дышит миром —
И сосен строй, и белый снег.
Шли кони по тропинке хрупко...
А Маша в том же полушубке
Такой мне показалась милой —
Вот наважденье — хуже нет! —
И я смотрел не отрываясь,
Седлом ее руки касаясь.

— Ты спал, Алеша?
— Нет, конечно!
— А знал, что в брянских я лесах?
— Не знал... Ах да! Но это мелочь.
— Какая мелочь?
— Впопыхах
Забыл, что́ твой любимый отчим
Сказал недавно между прочим.
— Как отчим?!
— Я, как был беспечным,
Таким остался...
— Где и как
Его ты видел?
— Да в журнале,
Где с ним однажды повстречались.

— Так он в Москве?
— В Москве, Мария,
Работает в журнале... Там
С ним встретился... Совсем другие
Слова нашел... И — по словам —
Ко мне он расположен очень...
— К тебе?!
— Ко мне.
— Тот самый отчим?
— Тот самый...
— А слова какие?
Ведь это он устроил нам.
Оговорил меня...
— Я знаю.
— И не прощай!
— Я не прощаю!

— А мама? Что сказал о маме?
— Он не сказал — я не спросил.
Но говорил — ты в партизанах,
А где — он это не открыл.
— Не знает он — и знать не может.
Как мама? Вот меня тревожит.
— Приветлив был... Смотрел мне прямо
В глаза... И этим удивил.
— Нашел чему ты удивляться!
Он может по́ сту раз меняться...

Теперь-то знаю я отлично,
Что он всему причиной был.
Когда тебе он самолично
Как будто правду всю открыл.
— Я знаю, Маша...
— Нет, не знаешь,
Все до конца не понимаешь,
Лишь здесь разобралась я лично,
Как ты т о г д а меня любил!..
Да, время нас не только лечит,
Оно, бывает, и калечит...

...А кони шли, гнедые кони,
Макеев ехал впереди.
А у меня, как от погони,
Саднило тягостно в груди.
И мы улавливали чутко,
Что что-то загудело жутко...
И тут коня Макеев тронул,
Как бы сказав: сюда ходи...
Коней оставив коноводам,
Мы шли в землянку тихим ходом.

Но только руки протянули,
Чтобы встречавших нас обнять, —
Как будто рядом где пальнули,
Чтобы покоя нам не дать.
Тут немцы были много ближе,
И оттого здесь лес был выжжен.
Вчера они, видать, зевнули,
Решили нынче наверстать, —
Сплошь застрочили пулеметы
И загудели самолеты...

Они охрану нашу сняли
И просочились меж дерев, —
Но просчитались — немцев ждали
И потому был грозен гнев
Тех, что, скрываясь, из-за сосен
Косили немцев... Многих скосят
Еще не раз! Но засвистали,
Завыли бомбы нараспев...
Одна упала и — другая,
И наземь партизаны пали...

К ним Маша ринулась меж сосен —
И одного, чуть приподняв,
С крестами сумку перебросив,
К себе парнишечку прижав,
Как в лихорадке, бинтовала, —
И снег из белого стал алым...
Еще удар! И к небу гроздья
Взлетели. Руки распластав,
Упала Маша у березки
Пластом на снег колючий, жесткий.

...На сани Машу положили
Сверхосторожно, как могли.
Шинелью серою укрыли
И к госпиталю повезли.
Сказал Макеев мне: — Езжайте
И до Москвы сопровождайте...
Ее в отрядах здесь любили,
Да только, жаль, не сберегли... —
Шел конь мой следом за санями,
Гнедой мой с синими глазами.

Глаза прикрывши, на соломе
Лежала Маша на спине;
В какой-то словно полудреме,
Какой была, казалось мне;
Лишь прилегла, глаза закрыла
И вспоминает все, что было:
Свой день рожденья в старом доме,
Заплыв к дельфинам на волне...
Мелькали кадры панорамы,
А сани ехали все прямо,

Туда, где в госпитале тесном
На хирургическом столе
Спасала местных и не местных,
Сюда добравшись в феврале.
Как оказалось — здесь Марию
Богиней звали хирургии.
Еще здесь врач был из Одессы,
Но к брянской он привык земле.
Дела все отложив другие,
Он оперировал Марию.

Сказал мне: — В первое мгновенье
Надежду даже потерял:
Такое тяжкое раненье,
Но все ж я смерть переиграл.
Пришлось мне резать по живому —
Врагу не пожелаю злому.
Укол. Другой укол. Забвенье!
Осколок долго я искал... —
И положил передо мною
Изделье темное стальное.

— Здесь раненых уже немало...
Как первый самолет придет, —
Что называется — навалом —
Он всех тяжелых заберет...
Вот в праздник к нам какой попали!
Я слышал — это испытали? —
А Маша бледная лежала,
Сухою коркой сжат был рот.
Прислушался... Она дышала,
Но что-то, что-то ей мешало...

Прошло три дня... Три тяжких ночи...
Затем еще три дня прошло.
Я видел — доктор озабочен:
— Марии все нехорошо...
Ведь все разворотил осколок —
Ее мы держим на уколах;
Другой хирург ей нужен срочно... —
Но вот известие пришло —
Летит! Но будет ли в порядке?..
Темь. Озеро. Идет к посадке

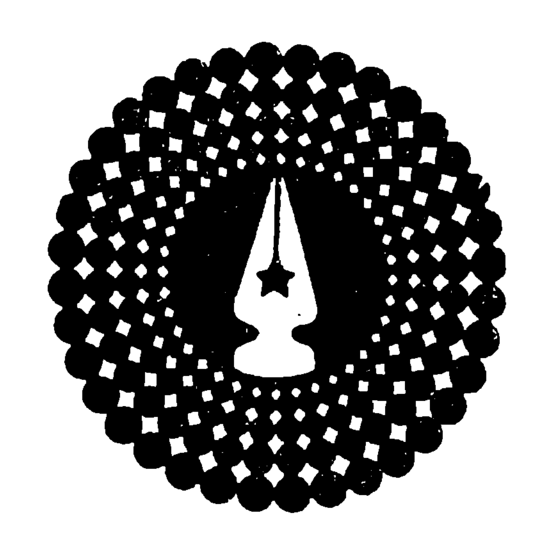
На лед... Заходит над кострами
Фронт пролетевший самолет...
Разгрузится, блестя бортами.
Возьмет больных и вновь уйдет.
Макеев говорит: — Летите,
Марию в госпиталь сдадите.
Пока не заживает рана,
Но верю я, что заживет.
Такой хорошей и красивой,
Ей нужно жить — служить России.

Со мной прощается Макеев
И гладит Машу на ходу.
Закрыты двери. Снежный веер.
Рывок. Пробег. Мы на лету.
Под нами темная громада,
Теперь еще пробиться надо
К той линии, где фронт алеет...
Но вот зенитки на свету —
Один разрыв. Другой. Все небо
Над фронтом видим молча, слепо...

Но пройден фронт... За занавеской
Разрывов нет уже окрест.
Бинты. Повязки. Люди честно
Уже спускаются с небес.
Рукой пошевелила Маша:
— Алеша, это наше?
— Наше! —
В районе города Трубчевска
Шумел сурово брянский лес.
...И вновь глаза открыла Маша
И прошептала: — Наше... наше...

1981—1982 гг.





ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ И ВЕЛИКОЙ

Оксана БУЛГАКОВА

ПАМИРСКАЯ РАПСОДИЯ

Живет на Крыше мира мой народ,
Гордясь, что рядом с космосом живет.

Мирзо Турсун-заде

«МАМЛАКАТ» ЗНАЧИТ СТРАНА

Небо над Душанбе дразнило чистой синевой. Но Хорог не принимал. Там, где-то за Калай-Хумбом, сдвинулась лавина и начинался камнепад. Там, в строптивых Рушанских воротах, застряло облако — Як-40 не пройдет, хоть и оснащен самыми современными навигационными приборами.

— На Памир не попасть. А если и удастся, то оттуда не выбраться. Можете просидеть там месяц и больше — таков был прогноз тех, кто по долгу службы обязан был «забросить» меня на «Крышу мира».

— И почему всем нужен Памир? Неужели в Таджикистане нет места лучше? Поезжайте на алюминиевый завод. Дехкане стали металлургами! 93 процента продукции со Знаком качества...

— Зачем завод? А Нурекская ГЭС? Знаете, какая там молодежь?!

— А наши хлопкоробы! 600 девушек-механизаторов убирали урожай этого года. Вам надо в Кулябскую область к Малике Курбановой. Она механик-водитель,

победитель соревнования среди таджичек-механизаторов. Депутат Верховного Совета республики, лауреат премии комсомола Таджикистана...

В ЦК комсомола республики мне сочувствовали, искренне огорчались, что природа так шутит с приезжим человеком, и всячески стремились... изменить маршрут поездки.

Однако Памир звал, притягивал, и я была непреклонна в своем желании добраться до него. А вскоре нашелся человек, который душевно поддержал меня, приободрил. С ним меня познакомил секретарь ЦК комсомола Таджикистана Рахмон Ульмасов. Это был академик Худоер Юсуфбекович Юсуфбеков. Он спросил, бывала ли я на Памире раньше. И, узнав, что да, бывала, уверенно сказал:

— Тогда попадете и теперь.

Он истинный памирец. Большой друг комсомола и его воспитанник. Для меня на всех горных дорогах его имя оказывалось волшебным словом, открывающим двери домов. Но об этом позже.

Признаться, в душе я даже радовалась заминке с отъездом. В Душанбе у меня было дело. И не из легких. Тщетно искала я в республиканском музее истории и революции хоть что-нибудь о человеке, которого знала с ранних лет. Еще в предвоенные годы портрет той девочки смотрел на нас со страниц букваря, о ее подвиге мы слушали в выпусках «Пионерской зорьки», читали в «Пионерской правде». Мы, октябрята, пионеры тех лет, стремились подражать ей во всем, у нее учились любви к Родине. Ей было всего 11 лет, но рядом с пионерским галстуком на ее груди уже сиял орден Ленина. Первая пионерка страны, удостоенная такой награды. Мы, ее ровесники, заплетали косички «как она» и носили на голове тюбетейки тоже «как она». С тех пор прошли десятки лет, но для меня все эти годы именно она олицетворяла солнцеликую республику. Могла ли я не встретиться с ней?

И все-таки я была не совсем точна: в республиканском музее нашелся один документ — старая фотография, сделанная, очевидно, при чрезвычайных обстоятельствах. Изображен на ней кишлак Шахмансур после налета басмачей: дым, огонь, пыль, разваленные дуваны и саманные хавли, сравненные с землей. Смотришь на снимок — и словно из далекого далека слышишь стоны избитых, плач разлученных, осиротевших, крики погонщиков, рев обезумевшей скотины.

В один из таких налетов на Шахмансур, а именно 27 ноября 1924 года, от крайней кибитки отделился всадник и, сопровождаемый бегущим человеком, не очень быстро поскакал к ближайшему ущелью. Басмачи не стали преследовать беглецов: возможно, не заметили, а возможно, не интересовали их эти бедно одетые люди. Если бы кто смог приглядеться к ним, удивился бы грузу на лошадке: к седлу была привязана закутанная в чадру женщина...

Через несколько часов в соседнем кишлаке Шейхон женщина (ее звали Курбан-биби) родила девочку

Когда солнце зашло, беженцы вернулись в Шахмансур.

— Малика *, — шептала мать, прижимая к себе завернутое в халат крошечное существо. Но Наханг (так звали отца) не разделял радости жены. И уж совсем не был согласен с таким именем. Когда утром гнал он кобылу в Шейхон, он надеялся, что спасает сына — единственного, желанного, долгожданного. Но аллах подарил дочь. Бедняк, сын бедняка Наханг, проданный баю вместе с братом за долги, исходил много дорог караванщиком, но нигде не встретил счастья. Когда, застигнутый революцией, бай повел свой караван в Афганистан, Наханг остался на земле Советов.

— Будет Мамлакат **, — твердо сказал он жене.

Назвал Наханг Акбердыев свою дочь новым словом, что было тогда на устах у всех обездоленных и угнетенных, но и мысли не было у него, что эта седьмая в его семье девочка прославит свое имя. Рано умер Наханг, так и не узнав, что солидные ученые спустя много лет провели специальные исследования и доказали, что он, неграмотный узбек-караванщик, впервые на Востоке придумал это имя.

Наханг был большой фантазер и мечтатель. Много сказок и легенд услышал он в разных землях, по которым плутал Великий шелковый путь. Потом, мастеря детям игрушки из хлопковых коробочек, он пересказывал их.

Одну до сих пор помнит Мамлакат. Рассказывал отец, как посадила раз девочка, дочь бедняка, в самом центре кишлака хлопковое семечко. Выросло дерево-хлопок такое большое, что тень от него закрывала не только кишлак, но и поля вокруг. И прятались в ней от непосильной жары жители всей долины. Когда хлопок созрел, 500 женщин помогли девочке убрать урожай. А потом сорок верблюдов увезли его в далекие края.

Сколько же хлопка вырастила девочка?

Большой фантазер был Наханг-ата...

Через три года после его смерти, в августе 1937 года, на первом Всесоюзном параде физкультурников в Москве, вынесли спортсмены на Красную площадь макет большой хлопковой коробочки. Напротив Мавзолея В. И. Ленина коробочка вдруг начала раскрываться, белая вата обрисовала контуры созревшего цветка, и, словно маленькое семечко, выпорхнула из него девочка со ста косичками. Она смело прошагала к Мавзолею и побежала вверх по лестнице, неся букет хлопка руководителям страны. Это была Мамлакат. Лучший хлопкороб страны. На ее груди все видели орден Ленина.

Жаль, что этого не смог знать Наханг Акбердыев.

Время, время! Сверхскоростным экспрессом мчится оно через человеческие жизни и судьбы поколений. Не остановить, не догнать. Летит поезд без остановок. И лишь на повороте блеснет иногда огонек чьей-то судьбы...

Видит себя Мамлакат Акбердыевна вновь десятилетней девочкой. Голодно в кишлаке. А еще горше в их кибитке: килограмм овсяной муки в неделю да кормовая свекла — на трудодни. Плачет маленькая сестренка Назакат.

Мать больна. Мамлакат повязывает большой мамин фартук и выходит в поле. Ведь мама — звеньевая, ей нельзя отставать. Теперь вместо Курбан-биби будет она, Мамлакат.

---

* Малика — царица — женское имя (тадж.).

** Мамлакат — страна, ныне женское имя (тадж.).

От самого хона́ бежит хлопковое поле, далеко в горы, что у голубого горизонта. Девочке кажется, что ему нет конца. Хлопок плохой, низкорослый, с одного куста семь коробочек снимешь, и все разного сорта. Хорошо, что она маленькая, ей легче: не надо нагибаться за каждой коробочкой. Ну а если пришить несколько карманов и раскладывать сразу по сортам? А если собирать обеими руками? Будет вдвое больше?

Рядом подруга — Шарифа Эльмирзоева. Она тоже пионерка и тоже помогает взрослым. А что, если организовать пионерское звено? Недавно ребята постарше, комсомольцы, так и сделали.

Однажды детекторный радиоприемник, что установили в бывшей мечети, сообщил интересную весть: донецкий шахтер за день вырубил 102 тонны угля вместо 7 по норме. Звали его Алексей Стаханов.

Взволновало Мамлакат это сообщение. Своим подружкам по звену она предложила: «Вместо 15 килограммов хлопка соберем тоже 102».

Это было неслыханно! Дерзко! Что оставалось делать взрослым? Почему девочка такая «умная»? Зачем ей столько?

Вечером, когда возвращалась с поля, ее жестоко избили. Хулиганов поймали. На суде Мамлакат заступилась за них: обыкновенные лодыри.

В нее стреляли, когда ехала на встречу с колхозниками района в клуб шелкомотальной фабрики. Однажды ночью кто-то закрыл трубу на крыше, чтобы девочка угорела от чугунной печи, что стояла в ее кибитке.

А она работала. Училась сама, учила подруг.

Сбор хлопка в ее звене увеличивался изо дня в день...

4 декабря 1935 года Мамлакат Нахангову наградили орденом Ленина

...Разглядываю старый снимок: белозубая девочка, толстая коса перекинута через левое плечо, тюбетейка с нарядной бахромой.

В 1936 году в ее родной кишлак прибыл чешский публицист-антифашист Юлиус Фучик. В Таджикистан он заехал познакомиться с писателем Айни и с Мамлакат. Но в те дни Мамлакат находилась в Москве, и Фучик встретился лишь с ее матерью. Попил чаю в их кибитке, оглядел хлопковые поля и спросил, показывая на фотографию девочки:

— Чем же вы ее кормили, что выросла она у вас такая проворная?

— Тыквой, — грустно вздохнула Курбан-биби.

— Я напишу ей и приглашу ее в Прагу, — сказал Юлиус, прощаясь.

В буржуазной Чехии в то время активизировались силы реакции, в СССР Фучик прибыл нелегально, без паспорта. За его плечами были уже аресты и тюрьмы. Лишь через 20 лет приехала к Фучику Мамлакат Нахангова и увидела красавицу Прагу, свободную, социалистическую, какой мечтал увидеть ее Фучик и за какую отдал жизнь. Густа, его жена, рассказала Мамлакат, что накануне казни фашисты привезли Юлиуса на Златую улицу, к старому кафе, где он часто сиживал и откуда была видна вся Прага. «Посмотри, как прекрасна жизнь. Разве не жалко умирать? Отрекись...»

Долго сидела Мамлакат в старом кафе... в гостях у Фучика.

...Многие считают Нахангову своим другом, доброй знакомой.

Судьба подарила ей встречи с видными общественными деятелями: Калининым и Сталиным, Папаниным и Буденным, Немировичем-Данченко и Неждановой, Дарьей Гармаш и Турсуной Ахуновой, Гулей Королевой и Петром Машеровым...

Три года назад Мамлакат Акбердыевна Нахангова, кандидат филологических наук, доцент Душанбинского педагогического института, побывала на встрече со студентами Гарвардского университета в США.

Мамлакат говорила о Таджикистане, рассказывала о советских студентах. Заметив портрет Поля Робсона на стене, она спросила:

— Любите Поля Робсона?

— А разве можно его не любить? — зашумели слушатели, в основном латиноамериканцы и негры.

Мамлакат рассказала, как в ноябре 1945 года на Лондонской антифашистской конференции молодежи мира, на которой она вместе с Меликом Абдуллиным, Ниной Жвания, Петром Машеровым представляла советскую молодежь, их приветствовал Поль Робсон. В перерыве он подошел к советской делегации и, разговаривая, взял руки Мамлакат, с шутливым удивлением стал разглядывать их, а потом серьезно сказал: «Неужели эти маленькие ручки могли так много сделать!» — и поцеловал их. Кстати, через много лет при встрече этот жест и эти слова повторил Алексей Стаханов.

Однако хлопковое поле не стало судьбой Мамлакат. В этом нет ее вины. Когда ребятишки страны распевали песню «Мамлакат — пионерка идет, а вокруг рукоплещет народ», когда она продолжала во время уборки собирать по 100, 150 и даже 300 килограммов хлопка в день, подкралось несчастье. Заболели глаза.

Восемь операций сделали ей лучшие врачи. Приговор был суров: должна навсегда расстаться с хлопковым полем. Рушились мечты, казалось, теряется смысл жизни. И это в ранней юности!

Едва оправившись от болезни, Мамлакат мужественно ищет выход. Она поступает в подготовительную группу Московского текстильного института. Заканчивает успешно. Но тут новый приговор врачей: не сможет учиться в этом вузе, не сможет чертить, разбирать схемы. После девятой операции она возвращается в Таджикистан.

Жена пограничника, начальника погранзаставы, она готовится в вуз и поступает в Военный институт на факультет иностранных языков. Война помешала учебе, избранный факультет Нахангова закончила лишь в 1952 году в Душанбинском techинституте. С тех пор — вот уже 30 лет — преподает она в этом вузе. Сколько студентов могут сегодня сказать: «Учились у самой Мамлакат»? Сотни? Нет, пожалуй, тысячи. Среди них Роксана и Алишер — ее родные дети. Есть и внуки у Мамлакат Акбердыевны. Прошлым летом с девятилетним Мехрдодом гостила у своей подруги — Нателы Челебадзе, той самой легендарной пионерки послевоенных лет, что за рекордный сбор чая была удостоена звания Героя Социалистического Труда. Она по-прежнему живет в Аджарии, теперь директор чайной фабрики.

Нахангова много путешествует, часто выступает как член республиканского комитета по зарубежным связям.

...С Шукурджаном Зухуровым, заместителем заведующего отделом рабочей и сельской молодежи ЦК ЛКСМ Таджикистана, едем в колхоз, где началась жизнь Мамлакат. Собственно, нет теперь

колхоза имени Лахути, уже давно вошел он в состав большого хозяйства-миллионера в Ленинском районе. И нет уже поля, на которое сорок семь лет назад вышла десятилетняя девочка собирать хлопок. На этом месте теперь взлетная полоса Душанбинского аэропорта.

Въезжаем в зеленый, нарядный кишлак, петляем среди добротных, ухоженных домиков. Диаграммы и плакаты у входа в правление рассказывают об успехах колхоза имени Ленина, передового хозяйства района.

Босоногие и любопытные мальчишки со всех сторон облепили остановившуюся «Волгу».

— Вам кого?

— Мамлакат, — неуверенно говорю я.

— А какую? — немедленно выстреливает вопрос. — Из бригады Мирова? Саидову или Хабибову?

Не понять им, что другую Мамлакат, черноглазую и белозубую девчушку с косичками, — героиню из своего детства, — мысленно ищу я на незнакомой улице.

— Саидову, — называю наугад. И бывает же такое везение: оказывается, что Мамлакат Саидова родилась в год, когда Мамлакат Нахангова первой в Таджикистане получила орден Ленина. И родители назвали новорожденную в честь юной героини.

Назвали и не ошиблись: достойной преемницей трудовой славы Нахангової стала их дочь.

— О ней в газете писали, — сообщили мальчишки, ни на шаг не отставая от нас.

Мамлакат Саидова в страду собирает вручную 140—150 килограммов хлопка в день, в нехлопковые месяцы выращивает и сдает государству по 160—170 килограммов кокона. А что значит вырастить его? Малое дитя не требует стольких забот: по нескольку раз в ночь встает к шелкопряду хозяйка — подложить свежий лист тутовника, проверить температуру в помещении, влажность, проветрить его. Ни на шаг из дому. Целые недели жизнь строго по часам.

Имеет Мамлакат награды за труд, имеет два ордена «Материнской славы» и медали материнства. Когда вся семья Раджаба и Мамлакат собирается вместе ехать куда-то, нужны три машины.

Хорошо, в большом достатке живет семья. Колхоз богатый. Почти тысячу гектаров занимает хлопок. Урожаи здесь получают высокие: в добрые годы до 40 центнеров с гектара. Много механизмов, сельхозмашин в колхозе облегчают труд хлопкоробов. Почти в каждой семье «Жигули» или «Москвич». Теперь это не вызывает удивления. А тогда...

Первый грузовик колхоза имени Лахути имел интересную историю. Он прибыл сюда, как мне рассказали ветераны колхоза, минуя разнарядки и планы. В 1935 году, когда в Москве на трудовой слет собрались передовые хлопкоробы Среднеазиатских республик, московские автомобилестроители решили сделать ударнице Мамлакат Нахангової подарок: они подвезли к гостинице, где жили делегаты, трехколесный велосипед и детскую педальную машину. Мамлакат удивилась: «Я же взрослая, работаю хорошо, орден Ленина получила вот, а мне — детские игрушки?» И попросила настоящий грузовик для колхоза. Уж и не знаю, как выкрутились зиловцы: может, сверхплановый собрали, только просьбу девочки выполнили, прибыла в колхоз первая трехтонка.

Мамлакат Нахангова... Прекрасный образ моей современницы, сызмальства понявшей, что труд на благо людей есть главная радость человека, главное его сокровище. Прекрасны земля и люди, воспитавшие в ней это понятие, это обостренное чувство долга...

НА РИСУНКАХ — РОДИНА

Когда самолет снижается в Рушанских воротах, видишь прямо за стеклом — рукой подать! — совершенно отвесные стены утесов, белый свет меркнет от их близости, дух захватывает...

Первые шаги по земле — и взгляд упирается в скалу, что устремлена в густо-синий небосвод. Пирамидальные тополя и побеленные аэропортовские домики кажутся прилипшими к самой горе. Оглядываешься назад и невольно ахаешь: за спиной, всего в нескольких метрах — ослепительная лазурь Пянджа.

Так начинается Хорог. А продолжение его в ущелье вдоль Гунта. Городок вытянулся узкой полосой по обоим берегам реки. Главная улица обозначена пирамидальными тополями до самого Шахдарынского ущелья. Здесь, в бывшей Песчаной долине «Шошендаш», у слияния Гунта и Шахдары, вот уже четыре десятилетия цветет и плодоносит гордость Бадахшана и опора его хозяйства — единственный в СССР и в мире высокогорный ботанический сад.

...Прилетели мы в субботу — нерабочий день для общественных организаций. Поэтому первое представление о городе я решила составить по весьма необычному первоисточнику. Я пошла в детскую художественную школу и вместе с Лавбарг Хурсандовой, молодой преподавательницей рисунка, недавней выпускницей Душанбинского художественного училища, погрузились мы в мир детской фантазии. Мир этот оказался очень земным, реальным, радостным: с бумажных листов, как я и предполагала, с нами заговорил Памир 80-х годов.

Два рисунка Давлата Нургулова: родной кишлак и родительский дом. Дом под черепичной крышей — в абрикосовом саду. Густо-синие двери, наличники, рамы на окнах — характернейшая деталь современных бадахшанских домов. А кишлак — это несколько таких домов? Отнюдь. Давлат осудил бы такое скудоумие. Его кишлак вместил и трактор в поле, и асфальтовое шоссе, и капитальный мост, и спешащий ЗИЛ, ну и конечно, белостенные кибитки с зеленью у каждого порога. Поглазеть именно на такие кишлаки приходят на сопредельный берег Пянджа афганские горцы.

В журнале «Огонек» от 31 января 1926 года помещен фоторепортаж «Крыша мира» в руках Советов». Есть там и снимок памирской деревни в окрестностях Хорога: мрачные камнебитные домики-норы, свет в которые проникает через единственное отверстие в плоской крыше, мост, балансирующий между скалами, путник на головокружительной тропе, и ни одного деревца — лишь колючий кустарник на песке. Судя по соседствующим фотографиям, автор не углублялся далеко в горы, большая часть их выполнена приблизительно в том районе, где в сегодняшнем городе расположена художественная школа и гордость хорогских детей — недавно возведенный многоэтажный городок средней школы № 9.

Давлат Нахархудоев нарисовал эту школу со всеми подробностями, и на рисунке она ничуть не хуже той, что показал через несколько часов мой старый памирский знакомый Миралихон Хоникович Хоников, ныне ее директор. Правда, на рисунке Нахархудоева не видны лингафонный кабинет, макеты и тренажеры машиноведов, спортивный и актовый залы.

И другие рисунки ребят не менее знаменательны: Нуридин Фазилов изобразил молочную ферму, которая горцу 20-х годов показалась бы дворцом эмира. А вот два рисунка Фороха Махрабова: строительство линии электропередачи и краснозвездный вертолет, приземлившийся прямо на синие шпили скал. Тема понятна: любой первоклассник скажет, что государственную границу охраняют пограничники, а дети — их большие друзья и помощники. Я уже знала, что накануне ночью басмачи сожгли школу в афганском кишлаке на противоположном берегу реки. Пламя пожара болью отозвалось в душах наших ребят: надо помочь афганским сверстникам.

— Если подарить школьную форму?

— А можно портфель? Тетради?

За один только день и только в семи школах Хорога ребята собрали одиннадцать с половиной тысяч тетрадей, около двух тысяч карандашей, 600 линеек, сотни циркулей, ручек, альбомов, школьные сумки, комплекты форм. Вечером на мосту «Дружба» советские пограничники передали афганцам этот дар хорогских школьников. Вот какие ребята рисовали свой край.

А ботанический сад?! На него Дилавар Шанбезода и Нуридин Фазилов не пожалели красок: тут и буйная весенняя зелень на фоне еще заснеженных вершин, и белые корпуса института у подножия Висхарва, и субботник по выкорчевке камней, и уборка фруктов. Мне даже захотелось увидеть в этом пристрастии будущую увлеченность и, возможно, жизненный выбор. Кто знает...

ДИРЕКТОР ПАМИРА

Прежде чем удалось мне познакомиться с биологическим институтом, произошла встреча с человеком, который помог мне глубже взглянуть на значимость естественных наук для Памира.

Давлата Шабдоловича Шабдолова знают все жители горного Бадахшана. Более того: все, кто здесь учился в школе в 30—50-х годах, учились у него. Со всей области, со всех кишлаков. До войны он был единственным учителем математики. А всего отдал школе 50 лет и обучил, как мы с ним подсчитали, минимум три с половиной тысячи человек. Кавалер ордена Ленина, заслуженный учитель Таджикской ССР, «Отличник народного образования СССР», хранитель истории своей земли, народной мудрости и знаний.

Когда вместе с его бывшими учениками Абдулло Джамбековичем Джамбековым и Шарифом Сайфуловичем Абдулоевым мы пришли к нему в дом, он заканчивал украшать стол. Жены давно нет в живых, и учитель один воспитал меньших дочерей-двойняшек — Шамсию и Джамилю. Привык управляться по хозяйству сам.

Стол манил яркими плодами осени: помидоры, огурцы, капуста,

морковь, картофель, румяные лепешки, в небольшой тарелке сушеные ягоды и травы. Дочери принесли кувшины для мытья рук. Когда мы сели за стол, старый учитель преподал урок, ради которого и затеял он столь красочные приготовления.

— Как вы думаете, — спросил он меня, — какие продукты из тех, что вы видите перед собой, могли употреблять в пищу мои родители?

Выяснилось, что картофель памирцы не знали совсем, помидоры, огурцы, капусту, редиску, лук тоже. Мясо жителям западных гор было недоступно. А урожаи пшеницы собирали скудные. Вот и получалось, что главный продукт питания — сушеная ягодка или шелковица да травы, коренья. Их размалывали и добавляли в кислое молоко, чай, воду или просто ели в сушеном виде. Так питались памирцы всегда.

«Памирский горец голоден и сир, такой нигде не встретишь бедноты», — в заключение прочитал Давлат Шабдолович стихи земляка, народного поэта Мирсаида Миршакара.

Много интересных и удивительных историй услышала я от старого учителя. Вот одна из них.

В самом конце 20-х годов на пограничный пост прибыл новый командир. Два месяца добирался со своей семьей к месту службы. Верблюжья тропа вилась по поднебесным перевалам и головокружительным кручам. Детей пограничника несли на специальных носилках. Привез с собой командир интересный багаж: семена помидоров, огурцов, клубни картофеля. Посадил прямо на территории погранотряда. Сосед-дехканин Кишкарбек Рызобеков попросил семян и посеял их на своих грядках.

Жизнь командира была неспокойной: недаром первым на Памире за бои с басмачами в тот год его удостоили правительственного ордена. Вскоре его перевели в другое место. Ну а Кишкарбек уже после его отъезда собрал богатый урожай диковинных для тех мест плодов. Семена роздал родственникам, соседям. А через год продиктовали дехкане благодарственное письмо красному командиру, бывшему начальнику погранзаставы, Панфилову Ивану Васильевичу. Это был он — будущий Герой Советского Союза, легендарный генерал-майор Панфилов.

Дети Кишкарбека, Хособек и Довронбек, когда подросли, стали известны на весь Бадахшан как «картофельные чемпионы», они получали не менее 500—600 центнеров картофеля с гектара.

Долог был путь к этим урожаям. Суров, неприступен Памир. Недаром «подножием смерти» именовали его жители Гиндукуша и соседней нагорной Азии. Даже птица не долетит до его вершин, даже кутас не всегда подымется за их снежную черту, ну а человек... Что может он? Не по силам слабому человеку состязаться с грозной стихией. Никто, кроме звезд на небе, не сможет посмотреть на Памир свысока.

Люди на памирских плато жили издревле. Жили на пределе возможностей в условиях сурового климата, лечились травами, горной смолой. Кочевникам Востока была хорошо знакома чудоколючка терескен. Но они не знали земледелия. Дехкане, жившие вдоль реки Пянджа, умели выращивать просо, горох, ячмень на малюсеньких грядках, землю для которых носили в корзинах на взгорья, куда не залетал орел и не забегал козел-нахчир. Но вплоть до сороковых годов текущего века не пробовали ни кар-

тошки, ни редиски, ни моркови, ни брюквы, ни помидоров, ни огурцов, ни лука, ни свеклы, ни репы, ни кабачков, ни перца, ни петрушки.

Не умели горцы вступать в схватки с песками, осыпями, галечниками, камнепадами, целиком отдавая себя на милость природы, помня, что так было на Памире во все времена.

Но пришли в горы сильные люди, и зазвучало новое слово «реконструкция». Они сказали: да, почвы в горах Памира каменистые, но они пригодны для посевов; конечно, галечники, скалы и осыпи не очень удобны, но их можно засадить лесами, а склоны западных гор — садами, на восточных плато засеять новые пастбища, в высокогорные пустыни выгонять на зиму кутасов и овец. Они вспомнили венецианского путешественника Марко Поло: «Лучшие в свете пастбища тут, самая худая скотина разжиреет здесь в десять дней».

Эти люди стали выращивать овощи и лучшие из них передавать для посадки создающимся колхозам. Так на Памир пришла наука. Это было в тридцатые годы, спустя всего лишь полтора десятилетия, как «в пору цветения урюка» дошла в сплошь неграмотные горные кишлаки весть о революции.

Пионеры советской земледельческой науки на Памире: П. А. Баранова, Р. Л. Перлов, И. А. Райкова, А. В. Гурский. Их детища — биологическая станция, ботанический сад, опорные базы — объединены теперь Памирским высокогорным ботаническим институтом, их имена — в истории Памира и советской науки, их идеи — в делах учеников.

...С Алешей Ивановым, двадцатичетырехлетним ученым-дендрологом, целый день провели в этом экспериментальном саду. Раскинулся он на 612 гектарах. На высоте почти трех тысяч метров. Береза, смородина, боярышник, жимолость, рябина... А розы! Какие на Памире розы в октябре — необычной величины и дивной красоты! Картофельные клубни здесь весят до килограмма каждый. И это на высоте горных вершин, где по европейским нормам рост растений должен бы замедляться.

Алеша терпеливо объясняет, что чудеса эти вызваны, как полагают исследователи, особым режимом ультрафиолетовой радиации, так называемым горным светом. Но он лично считает, что нужно анализировать комплексно: тут и высоту следует учитывать, и температуру, и влажность, ну и ультрафиолет, конечно, ведь прозрачность воздуха в горах исключительная.

О памирском ультрафиолете я читала в статьях первого директора ботанического сада, имя которого он теперь носит, — А. В. Гурского. Рассказывал мне о чудесах памирской радиации его ученик академик Х. Ю. Юсуфбеков: смертоносные ультракороткие лучи нейтрализуются длинноволновым излучением — отсюда буйная растительность, активное безвредное солнце, «культурные» дикие сады в горах, ранняя досрочная вегетация и в перспективе возможность применения ультрафиолета при селекции сельскохозяйственных растений.

— А посмотрите на наши дубы! — торжествует Алеша. — В долине желуди на дубах появляются примерно на десятом году жизни, а у нас уже на четвертом...

Из прочитанного я уже знала, что биологический и календарный возраст памирских деревьев не совпадают, и первый обычно существенно обгоняет второй.

Алеша Иванов специалист по древесным растениям. Несмотря на комсомольский возраст и малый ученый стаж, у него есть своя «научная привязанность» — жимолость. И появилась она у него не на Памире — сюда приехал продолжать работу, которую начал, еще будучи студентом биологического факультета Горьковского университета. Бадахшан Алеша считает уникальной лабораторией. Мальчишески застенчивый, несмотря на свой пост ученого секретаря института; в синем спортивном костюме, что так гармонирует с его серыми глазами и коротким аккуратным ежиком волос, с тетрадками для записей в руке — таким Алеша встретился мне в саду во время утреннего обхода.

Алеша предполагает, что в суровых условиях Памира жимолость, которая подымается даже до границы снежников, сможет плодоносить на высоких восточных равнинах, а как декоративное растение он рекомендовал бы ее для озеленения кишлаков. Последнее — одна из непростых проблем, над которой работают ученые биологического института. Через несколько дней в высокогорном Мургабе, улочки которого издревле не знали зелени, я увидела вдоль улицы Ленина зеленый молодой сквер. Палисадники с ивой, облепихой и какими-то еще неизвестными мне деревьями выстроились вдоль жилых и административных построек.

Алеша рассказал о том, как испытываются здесь, на участках галечника и песков, новые агрономические приемы посадки, как пригодились они при озеленении трех тысяч гектаров, что провели под руководством научных сотрудников рабочие Памирского лесхоза. О том, что в совхозах «Шугнан», имени Шотельмурова и «Сагирдашт» по методике института на каменистых склонах высаживаются абрикосовые сады. Саженцы хозяйства получают опять же отсюда, из питомника, — до 25 тысяч разных видов в год. На следующий день я еще раз пройду по аллеям ботанического сада с его директором, кандидатом биологических наук Ниятбеком Миралибековым и аспирантом Худододом Акназаровым и увижу сад в ином аспекте. Худодод покажет участки, где испытывают кормовые силосные сорта, например борщевик белорусский и памирский декоративный. Культура очень выгодная для сельского хозяйства: может давать более 1200 центнеров зеленой массы с гектара. Худодод работает над проблемой гибридизации. Ниятбек Миралибекович расскажет о судьбе овощных и фруктовых культур на Памире, словно продолжит наглядный урок старого учителя; ведь здесь, в саду, опробовано 3000 образцов картофеля, 12 сортов его рекомендованы хозяйствам Бадахшана, 10 сортов помидоров, 11 — капусты, 6 — моркови, 8 — лука... — всего 150. И 85 сортов фруктовых деревьев: яблони, груши, абрикосы, персики, черешня, айва, грецкие орехи, фисташки, миндаль...

Сам же Миралибеков как ученый занимается разработкой принципов борьбы с насекомыми-вредителями, описал 48 доселе неизвестных для Памира разновидностей.

— Институт наш трижды особенный! — с гордостью делится Алеша. — Высокогорный — раз, молодежный — два, интернациональный — три. Ребята из разных вузов страны приехали: Юра Данилов, Люда Салтыкова — из Ленинградского университета, Люся Макаренкова и Аня Денгубенко — из Белорусского педагогического института, Тамара Порядина окончила Ленинградскую

лесотехническую академию, Шудикова Гульжама и Барка Киргизбеков — Таджикский университет, Ильдар Абдулов — Ташкентский, я — Горьковский, а родом из Чувашии. Все на Памире встретились.

— И не жалеете, что так далеко заехали, вернее, высоко забрались? — через полчаса, когда мы с Алешей спустились к дому, где живут молодые специалисты, спросила я у Юры Данилова.

— Нисколько, — не задумавшись, твердо ответил он. — Более того, мы с Люсей, — кивок в сторону жены, — считаем, что верный выбор сделали.

— Да, очень интересно здесь работать. Уникальное место для будущего ученого, — поддерживает товарища Алеша.

— Через год уже тему имеешь. Здесь и помогут определиться, и нацелят верно, — продолжает Юра. — На два месяца домой в Ленинград уехал — так Памир потянул обратно. Да и очень заманчиво, и лестно, и ответственно сказать свое слово в науке не в 80 лет, а в 27. И именно свое, не вычитанное из чужих трудов. Разве этого мало? Не каждый и мечтать о таком смеет.

У Юры с Люсей симпатичная семья: ждут уже второго ребенка. Работают над самостоятельными темами, готовят диссертации. Люся занимается вопросами интродукции хвойных пород, то есть перенесением на Памир наиболее удачных их образцов. Работа имеет немалое значение не только для Горного Бадахшана, так как затрагивает проблемы укрепления горных склонов, улучшения водного режима почв, да и просто декоративно-озеленительные. Невдалеке от дома на террасах сада проходят испытания Люсины елочки.

Юра увлечен интродукцией лекарственных растений. Над этими проблемами теперь в институте работают сотрудники специальной лаборатории и сада. Химический состав горных растений заметно отличается от качеств их собратьев из долины: в иных сахара до 30 процентов. Как происходит накопление в растениях лечебных свойств, возможно ли окультуривание наиболее перспективных видов, сортов, удастся ли перенести на Памир наиболее ценные из других районов страны? Юра занят золотым корнем — «радиолями»: на Памире из 20 видов обнаружено лишь 6 — возможна ли пересадка сюда остальных? Лечебные свойства этого растения наукой ценятся не меньше, чем известного женьшеня. А сколько на Западном Памире облепихи! Ведь и названием своим Хорог («колючее место») обязан этим исключительно неприветливым деревцам. Памир мог бы стать чуть ли не главным поставщиком ее для страны. И лечебные качества этой облепихи выше, чем у многих иных сортов. Ученые неоднократно ставили вопрос о промышленной переработке ягоды, о строительстве здесь хотя бы маленького заводика для изготовления облепихового масла. На их стороне логика науки и потребность жизни. Однако ведомственные «но» пока оказываются сильнее.

Разговор мы начали во дворе в условиях очень деловых: Юра в квартире на первом этаже белил кухню, Люся драила посуду под окном. Юра приземист, крепок, быстр в движениях. Время от времени исчезая за пределами оконной видимости, репликами поддерживал разговор. Иногда откладывал кисть и выходил к нам на улицу. Люся светловолоса, гладко причесана, с симпатичными веснушками на лице. Скорое материнство, видимо, сделало ее мягкой, величественной, медлительной.

Подошла Гандум, жена Сафара Хайлоева, — тоже ученого. С ней куча мала детворы. Свои и чужие. Ждет уже пятого ребенка. Молода и очень красива: таких глаз, таких ресниц я не видела. Ее подруга Садаф пригласила всех в дом. И вот уже сидим на курпачах — узких атласных матрасах, пьем душистый чай с наботом и кок-халвой и определяем проблемы. Разговор женский, у мужчин «красная суббота» в саду: кто свободен от домашних дел, чистит арыки, корчует камни, копает террасы, косит люцерну для шефов из совхоза. «У нас каждая суббота — коммунистическая» — об этом говорят с определенной гордостью.

Однако жизнь на Памире достаточно трудна и сложна. Лишь сильные люди остаются верны ему. Вспоминается Юсуфбеков. «Вы когда-нибудь видели тунеядца-долгожителя? Столетнего лодыря? — спросил он меня во время беседы в Душанбе. — Трудности, работа формируют настоящего человека. Здоровье? По мне: много работы — я здоров. Вот и растения: в суровых условиях гор живут дольше. Терескен на высоте четырех километров 300 лет растет, на высоте трех километров — уже 60, еще ниже — всего 20 лет. Так и человек...»

Да, сильные люди живут на Памире. Сильные своим творчеством, целенаправленным трудом.

Задачи перед ними стоят сложные: это и улучшение биологических ресурсов Памира, и повышение продуктивности кормовых угодий, и введение в культуру местных дикорастущих злаков высокоурожайных, рано созревающих и морозоустойчивых сортов, это и расширение исследований по селекции и семеноводству овощей.

Словом, идет реконструкция растительности Горного Бадахшана во имя развития его экономики.

— Возможно, наши опыты пригодятся при освоении Луны, — мечтательно предполагает Алеша Иванов.

— Или других территорий с подобным суровым климатом, — добавляет Юра Данилов.

Темы диссертаций молодым ученым здесь подсказывает сама жизнь.

Так, заведующий лабораторией генетики и селекции Фатхрахман Нигматуллин вывел новый, специально для Восточного Памира, сорт ячменя «Памир-1». Уже получено зерно, и теперь молодые ученые работают над совершенствованием сорта. Восточный Памир земледелие узнал недавно, там всего 30—35 безморозных дней в году. И высота более трех километров. И вдруг — зерно, хлеб!

В кишлаке Тем, что кудрявой зеленью и румяными плодами манит приезжающих в хорогский аэропорт, и сегодня еще помнят бахчи дедушки Имамберды. Пятеро братьев дехкан выращивали на песчаных и наносных землях дыни, арбузы, тыквы. От стариков услышали братья Давлетмир и Имамберды о волшебной траве хичихор. Однажды подстрелил в сумерках горец нахчира — ранил того в ногу, пошел по следу, а след пропал, оборвался. Дождался человек утра, смотрит: лежит козел под скалой на траве. Увидел охотника, вскочил и убежал. Удивился горец, спустился со скалы, нарвал той травы, на которой лежал нахчир, принес в кишлак. Старики сказали: трава останавливает кровь.

Внук Давлетмира — Дилавар Мунаваров — рассказ деда не забыл, травку эту разыскал — «непета», железистый котовник, род-

ственница российской мяты. Дилавар ученый, в лаборатории геоботаники занимается растениями, диссертацию пишет о флоре Западного Памира. А началось все с дедушкиных уроков: как посадить дерево, как сохранить плоды, какие растения переселить в кишлак из ущелья.

Из долинного Шахдарынского кишлака начался путь в науку Козимамада Абдуламонова. Он специализируется теперь на селекции, гибридизации ячменя.

Вот с какими людьми познакомилась я за пиалушкой чая в доме Садаф и ее мужа Тилло Асоева на улице Мичурина.

Помимо младших научных сотрудников, «в беседе принимал участие» мальчик Олимджан — пятилетний сын Тилло, самый юный ученый в институте: ведь в переводе с таджикского слово «олим» означает «ученый». Одно еще только не определено семейным советом: будет ли он, подобно отцу, заниматься сортами табака, или как дядя Худоер — пастбищами и сенокосом. И может, его тоже изберут в академики?

Когда Худоеру Юсуфбекову было столько же лет, как Олимджану, — а было это в предвоенные годы, — мать впервые посадила его на шею верблюда. Пастушонком исходил сотни горных дорог и троп. Сызмальства испытал и нужду и голод. В зимнюю памирскую стужу бегал босиком, отогревал ноги в печках-тандырах. Учился писать деревянными расщепленными палочками, парту заменяла ему коленка. До сих пор стесняется своего почерка. В Душанбинском музее просвещения видела я макет мактаба — школы в кибитке, и деревянные перья, и палку-фалах для битья нерадивых учеников — атрибуты и его детства.

— Чему же вы не научились в жизни? — спросила я однажды Юсуфбекова.

— Двум вещам: не умею танцевать и плохо говорю. Все имеет объяснение. В студенчестве было не до танцев: по ночам ходил на завод подрабатывал, разгружал брички с хлебом, на старших курсах — в карантинной инспекции работал. Знаете, как питался? Утром чечевичная каша, в обед лепешка со сметаной, вечером хлеб, соль и вода. Первый костюм на четвертом курсе купил — заработал деньги на практике. Даже был такой курьез: в юбилей института наградили меня Почетной грамотой ЦК комсомола, вручать должны были на торжественном собрании в Оперном театре. А меня туда не пустили капельдинеры: не понравился им мой ватник и хлопчатобумажный свитер... А почему говорю плохо? Много месяцев, целые годы провел в горах в одиночестве. Это уже после института. Бывало, и зимовал один в ботсаду. Так сам с собой и объяснялся, оратором не стал...

Сегодня Худоер Юсуфбеков — ректор того самого сельскохозяйственного института, главного вуза республики, который закончил в 1954 году...

Горцы недаром окрестили Худоера Юсуфбекова директором Памира. В горных степях и пустынях, на дальних отгонных пастбищах пограничья он свой среди пастухов и чабанов.

На Памир я приехала, когда директора там не было уже несколько месяцев. Но присутствие его я чувствовала во всем, так же как мои собеседники — его отсутствие. 27 лет его жизни и работы прошли здесь: сад, биологическая станция, потом — институт. В разговорах нет-нет да и мелькнет «Юсуфбеков звонил», «говорил», «напоминал», «приглашал». И хотя я уже была с ним

знакома лично, значимость всего сделанного академиком поняла только здесь. За научными формулировками стояли не просто поиски, а четкая жизненная линия: «ввел систему реконструкции растительного мира Западного Памира», «в 10 раз увеличил коллекцию сада», «предложил и доказал возможность залужения пустынных пастбищ», «разработал систему улучшения пастбищ и сенокосов всего Памира и Алайской долины». Доктором наук, членом-корреспондентом Академии наук Таджикистана он стал, едва перешагнув комсомольский возраст, академиком — в 44 года. Докторскую диссертацию не писал — степень присвоили за труды, за ту опробованную и доказанную опытом высокогорных хозяйств науку, что обернулась спасительной для скотоводства и земледелия всей горной страны практикой.

Еще не так давно на Памире любили повторять присказку о мулле, который прежде был единственным грамотным, а теперь стал единственным неграмотным. Но сегодня, пожалуй, и муллу не найти на Памире. На «Крыше мира» торжествует наука.

ЛЕГЕНДЫ И ПРОБЛЕМЫ ЗОЛОТОГО КИШЛАКА

Об этой женщине я впервые услышала от Мамлакат Нахангововой.

— В Хороге обязательно повидайте Паринамо, — напутствовала Мамлакат Акбердыевна.

Паринамо Джумаева в недавнем прошлом — комсомольский секретарь, затем ответственный работник ЦК комсомола Таджикистана, теперь — главный идеолог Памира, секретарь обкома партии. Решительна, энергична. Когда выступает — а я была свидетелем этого, — взволнует самого безучастного, заинтересует самого равнодушного. Женщина строгой внешней и внутренней красоты.

— Для нас, памирцев, дружба народов — высокое понятие, — сказала Паринамо Джумаева в беседе со мной. — Именно дружбе людей нашей страны обязан мой народ всем. Впервые керосин нам привезли из Баку, ткани из Москвы. Русский пограничник посадил здесь первый картофель... Врач, учитель — значение этих слов мы впервые тоже узнали от русских. Сегодня об этом помнят стар и млад. А знаете, как начинаются занятия 1 сентября у малышей? Мы спрашиваем: где вырастили хлопок для материала, из которого сшит красный флаг? Откуда прислали чай, что мы пьем? Кто построил автобус? И дети прекрасно отвечают на эти вопросы. А потом — традиционный: «Ну а что делаем мы, таджики?» — «Охраняем государственную границу. Даем стране мясо, шерсть, хлопок, орехи, фрукты, табак...»

Я слушала Паринамо Джумаеву и невольно вспоминала одну фотографию из республиканского музея — первые пионеры Таджикистана были сняты под транспарантом: «Мы, пионеры Востока, ведем борьбу за раскрепощение женщины». Жизнь всего лишь одного поколения отделяет от того времени. От времени, когда женщина приравнивалась к скоту: ее могли продать, обменять, убить. И хотя памирки по сравнению с женщинами долин славились гордостью и даже некоторой независимостью, но продавали, убивали, меняли и их тоже. И чтобы не попасть в эмирский га-

рем, срезали красавицы свои дивные ресницы, сбривали брови. Об этом помнят еще рушанки старшего поколения.

— А знаете легенду о Золотом кишлаке? — с улыбкой спросила Паринамо Джумаева.

Эту легенду я уже записала. Родилась она в народе в двадцатые годы, мальчиком услышал ее от старца будущий народный поэт Мирсаид Миршакар. Потом рассказал ее в поэме. А дальше произошло чудо — она снова вернулась в народ, обросла новыми фактами, подробностями. А случилось это, говорят, в те времена, когда в Памирских теснинах царила нищета и безграмотность, а жизнь горского народа была чернее косы таджички. Жил тогда в одном кишлаке очень бедный человек. От своих родителей слышал он, что где-то в горах есть Золотой кишлак, где яблони плодоносят круглый год, где земли так много, что ее хватает всем, а детям никогда не выпить молока, что дают там коровы и козы. И решил бедняк отправиться на поиски этого кишлака. Однажды он повесил себе через плечо хурджин, попрощался с родными и пошел навстречу солнцу.

Не одну пару чорук износил странник, а счастье на всем пути так и не отыскал, везде смеялись ему вслед горе и нужда. Долго ли, коротко ли бродил он по свету, но однажды увидел внизу, в долине, золотые огни. Они манили к себе в ночи сияющими пунктирами, словно указывая путь. «Золотой кишлак!» — воскликнул бедняк и, собрав силы, поспешил вниз.

В садах и кущах, в огнях электричества лежал перед ним кишлак, который покинул он много лун и рассветов назад. Жили здесь теперь счастье и радость, достаток и свет.

— Кто дал вам так много расплавленного золота? — спросил старик людей, дивясь электрическим лампочкам. — Кто этот эмир?

— Ленин. Революция.

...В центре Хорога на фоне росписей архитекторы вмонтировали в типично кишлачный пейзаж очень современное и красивое здание из стекла и бетона — областной Дом политического просвещения. Сюда готовится переехать обком ЛКСМТ.

Зулайхо Сакаева — первый секретарь обкома — человек популярный в Бадахшане и республике. Молодая горянка, с высшим экономическим и политическим образованием, депутат областного Совета, кандидат в члены бюро обкома партии. Как истинная памирка, видом строга и привлекательна. Недаром она из Рушана, который извечно славился красавицами. В кишлаке Савнаб, что за Бартангом, назвали ее избиратели своим депутатом. А что это за края, представляет себе лишь памирец: «Пока едешь, думаешь — не вернешься, а приедешь — неделю спина болит».

В школе Савнаба работают одноклассники Зулайхо: Чарох Явталиев преподает химию, закончил тот же, что и она, Таджикский государственный университет, и географ Эгамов Гульзорхон — выпускник Ленинградского пединститута. Молодые учителя считаются лучшими в районе.

Вообще Горный Бадахшан — самый образованный в Союзе край. Здесь среди молодежи самая большая комсомольская прослойка: 82,4 процента. Это край настоящих атеистов: всего 70 верующих старцев насчитали на весь Памир.

С Зулайхо отправляемся на Хорогскую швейную фабрику — предприятие крупное, сплошь женское: 550 работниц, из них 90 процентов — до 30 лет, 85 процентов замужних. Средний воз-

раст 26—27 лет. Работать здесь и престижно и интересно, профессия швеи к тому же и для семьи полезна. И поскольку почти каждый в городке имеет в родне швею, то в магазинах чапаны не покупают, как и женскую национальную одежду, — шьют сами, сюда и завозить перестали; таких красивых стеганых халатов, платьев из хадженского атласа, нарядных, праздничных, со вкусом отделанных женских шаровар я не видела нигде в республике. А вышитые бисером ленты на шее, а вязаные пестроцветные шерстяные джурабы — главный традиционный подарок гостю, а шитые золотой нитью тюбетейки! Все умеют памирские девушки.

Но поступить на фабрику непросто: среди выпускниц школ конкурс. Выбирают лучших, перспективных, трудолюбивых. Это пока единственный коллектив в области, который выпускает продукцию со Знаком качества. Славится высокой социальной активностью работниц. Участвуют девушки в пленумах обкома, горкома комсомола. Четверо комсомолок: бригадир комсомольско-молодежной бригады Гульпары Давлатназарова, швеи-мотористки Фарида Сафармамадова, Таджиниссо Шукрихудоева и Ниезмо Карамхудоева — депутаты городского Совета. А комсомолка, швея-мотористка Дежон Мерзоева, как и Зулайхо, избрана депутатом областного Совета народных депутатов. Молодая закройщица Парпиева Садатмо — кандидат в члены обкома партии.

Зулайхо волнуют вопросы расширения производства, привлечения к работе всех желающих. Нужно отдать должное — делается в этом направлении немало: создан участок надомниц, которым учитывают в день четыре рабочих часа, развиваются национальные промыслы. В пятилетке планируется открыть швейные участки в каждом районе области — пусть выделывают то, чем издревле славен кишлак: ручные паласы в Мургабе, курпачи и джурабы в Поршневе, вышитый атлас и сатин в Калай-Хумбе, тюбетейки в Дарвазе.

Однако далеко не все проблемы здесь решены. Ежегодно десятки квалифицированных работниц увольняются, так как вынуждены сидеть дома с детьми. Вопрос этот на фабрике стоит остро. Работницы-матери имеют в общей сложности 800 детей. Цифра эта растет, а число мест в детских садах и яслях не увеличивается. Новые не строят не потому, что у предприятий нет на это денег. Деньги есть. Нет места. В Хороге негде строить. Каждый клочок земли на учете. На склонах нельзя — селевые потоки. А ущелье все уже застроено. Выход подсказан московскими проектировщиками: строить антисейсмические высотные дома на месте старых хона́. Но и это сложно для Хорога — ведь стройматериалы требуется завозить. Места тут нет даже для клуба. В каждом кишлаке есть Дом культуры, в Хороге нет. Этот вопрос поднимала Зулайхо и на пленуме ЦК ЛКСМ Таджикистана, и на XXIV областной партийной конференции, но по-прежнему негде собраться молодежи, негде хранить музыкальные инструменты, что на солидную сумму купил комсомольский обком. Негде заниматься кружкам самодеятельности. А ведь как любят петь на Памире, как звучат кумры, дуторы, чижжаны и робобы в руках молодых!

Мне посчастливилось побывать на концерте в честь 50-летия областной газеты «Советский Бадахшан».

Пели в тот вечер старинные народные песни и современные, звучала музыка известных композиторов и начинающих.

После концерта Зулайхо познакомила меня с одним из певцов. Лауреат 1-го республиканского конкурса гафизов Назридин Нигматуллоев, комсомолец из Калай-Хумба. Пел он народные песни — рубаи, которые давно звучат в долине Дарваза, он слышал их от своих родителей.

У Назридина вся семья музыкальная. Отец, учитель младших классов, умеет из вымоченного в воде тутовника выдолбить инструмент, звуки которого заставят грустить и радоваться, плакать и танцевать. Два брата Назридина — Сайфидин и Шамсидин — поют и играют на дойре, тавлаке; дядя Абдулло Назриев — народный гафиз Таджикистана — пишет свои песни, их публикуют в книгах и исполняют по всей республике; его сыновья Давлят и Исмаил тоже поют и играют на народных инструментах. Причем Давлят учится на актерском факультете, а сам Назридин уже закончил Душанбинский институт искусств и преподает в музыкальной школе игру на робобе. С агитбригадой недавно выступал он в Афганистане, ездил по кишлакам.

— От увиденного плакать хочется, — подытожил он рассказ. — В деревянных колодках люди ходят, полураздетые, понятия не имеют о картошке, учебу прекращают с холодами, а песни у них тоскливые. Неужели когда-то так же жил и наш народ?

Да, по песням можно судить о здоровье народа, о его болях и радостях. Не ударит в струны плясовую голод, не заплачет робоб в руках счастливого и любимого.

78-летняя Никбахтсултон — мать Зулайхо — рассказывала дочери легенду о рушанских соловьях. Так называли в их крае обыкновенных лягушек, которые в вечерние часы пели, как птицы, и послушать их спускались жители соседних гор. Дошла молва об этом диве и до бухарского эмира. Приказал он изготовить специальный большой кувшин, посадить в него лягушек и привезти во дворец, чтобы впредь услаждали они слух эмира и его приближенных. Все выполнили слуги, как повелел господин. Но только не запели в неволе рушанские «соловьи», свобода и радость нужны для песни...

— Сегодня в Таджикистане очень популярны разговоры о российских производственно-технических училищах, — говорит Зулайхо. — Республика отправила осенью 1981 года более двух тысяч выпускников школ на учебу в ГПТУ Горького, Ярославля, Тулы и Рязани, а также в Крым и Ивано-Франковск. Вскоре в рабочий класс России вольются новые строители, связисты, ткачихи, токари, швеи. Кто-то из них, получив профессию, возвратится в республику. Кто-то найдет свою судьбу в России, найдет дело по душе, встретит любовь, создаст семью — на «Атоммаше» ли, БАМе, Чебоксарском тракторном или на стройках Нечерноземья.

154 памирца направил в РСФСР Горно-Бадахшанский обком комсомола. Девять рейсов совершил Як-40 в тот сентябрьский день.

— А не пострадают ли от этого совхозы? — высказала я свои опасения Зулайхо. — Ведь улетели потенциальные чабаны, пастухи. Вероятно, молодежь не любит после службы в армии возвращаться в старые хозяйства?

— А вы сами спросите в совхозе, — подсказала мне Зулайхо. — Поезжайте в самый высокогорный — «Булункульский»...

ЯКИ — НА ЗЕМЛЕ, ЯКИ — В НЕБЕ

От Хорога до Булункуля дорога, как говорится, со множеством препятствий. Едва выехали за город, как началась поземка. Перевалы Койтезек и Курук были уже во льду — высота здесь более четырех тысяч метров. Но вот спуск в долину, где снег исчезает, коричневое ровное плоскогорье продувается со всех сторон. Солнце есть, снега нет, и минус 20 на термометре.

Осман Атабаев, директор совхоза, кажется продубленным насквозь, кожа темно-бронзовая, обветренная, меховая шапка по уши, полушубок запоясан.

— Про шпионов будешь спрашивать? — глаза как щелочки, в голосе усмешка.

— Не буду, — я физически ощущаю, что такое «сгорать от любопытства».

— Не будешь — и хорошо. Телевизор смотрим?

Я уже слышала, что всего неделю назад пришло на высокогорные пастбища телевидение...

Совхоз «Булункульский» специализированный, яководческий. Поголовье — четыре тысячи яков, или кутасов, как зовут их на Памире. И десять верблюдов.

— Всего десять?

— Да, десять. Для красоты держим, — поясняет Осман, и глаза его опять прячутся в щели. — Снег, горы — работа хорошая! Сильно замерзла — не видела: у каждого двора один-два мотоцикла да еще машин много стоит. Зачем теперь верблюд?

— К чему столько техники? — невольно вырывается у меня.

Атабаев доволен, охотно объясняет:

— На гору съездить — Иж-«Юпитер», на пастбище — «Урал». А зимой на машине едем стадо смотреть; целы ли, не перепутали бы пастбище: хорошее-то мы на конец зимы оставляем...

Да, зимой температура здесь падает до минус 60 градусов. В такие лютые морозы животные должны хорошо питаться.

В совхозе 160 комсомольцев. Утечки молодежи практически нет. После школы, службы в армии все на производстве: кто пастухом, кто чабанит у овец. Другие сено косят, работают на совхозных стройках.

— Мы ведь на корм ячмень и травы засеваем. Урожай до 35 центнеров сенной массы с гектара. Зимы не боимся. Своих стипендиатов имеем в вузах, техникумах. Все специалисты в хозяйстве с высшим образованием.

Нас приглашают в юрту Еркебая Патандаева, старшего пастуха. У него торжество: сын Тагайбек пришел из армии и два дня назад привел в дом молодую хозяйку. И теперь, приезжая в совхоз, каждый заходит к ним поздравить, посмотреть на невесту, потолковать о жизни. Тем более что пройдет еще месяц — и разъедутся пастухи по отгонным маршрутам. На центральной усадьбе останутся немногие: дети в школе-интернате, учителя, рабочие, старики. А все остальные — семьями на зимние пастбища.

Большой дом Патандаевых юртой называют по привычке. Снаружи обычный беленый каменный дом. С секретарем комитета комсомола Тайкикбаем Турсунбаевым и секретарем райкома Идрисом Шаджановым заходим в комнату для гостей, где вокруг невесты Джээмбубу и старшей хозяйки Ороз собрались чуть ли не все женщины аила. В цветных одеждах, платках, с малыми

детишками на руках. Увидев нас, смущенно уходят. Остается лишь Ороз — жена Еркембая и его семья. Все садятся вокруг дастархана, накрывают его мигом: развязали большой платок с баурсаками и чий-баурсаками — пирожками и сдобными печеньями, принесли блюда с мясом, раскидали конфеты, пиалушки — и пошла беседа. Осторожно оглядываю комнату, по убранству она напоминает юрту: стены обтянуты коврами, в основном самодельными, вышитыми по вельвету, на полу толстые кошмы. Одна стена вся выложена одеялами и курпачами — штук сорок. Покоятся они на трех ярко инкрустированных сундуках — видимо, приданое невесты. В красном углу огромное полотенце с кружевами. Вместительный многостворчатый шифоньер, три серванта с пиалами. Посреди комнаты, как и в юрте, железная печка, труба выведена на крышу.

Тагайбек сидит в центре. Сегодня он главная фигура в доме. Молоденький совсем, но хранит степенность, невозмутим и молчалив. А как же — равный среди всех. Семья собирается на зимовку в горы. Мужчины — пастухами, женщины — сакмансе, будут ухаживать за ячатами. Тагайбек берет с собой учебники, надо готовиться в институт, хочет он быть ветеринарным врачом. А Джумаш — младший брат его — пойдет в армию, а потом тоже — институт, совхоз.

На Восточном Памире все умеют управляться с яками, овцами. Как в долинах осенью помогает молодежь собирать хлопок, так в Мургабском районе принято работать помощником чабанов, пастухов во время окота. Ведь сохранить всех ягнят и ячат — главная задача животноводов. Опытные пастухи, такие, как Герой Социалистического Труда Бахдавлят Маратбеков и мастер животноводства республики Алдыбай Кожанбердиев, выращивают по 100—105 телят от 100 маток.

На огонек к Тагайбеку заходят и заходят люди. Знакомимся с Нурыдином Атамкуловым. Пастух он знатный, хоть и молодой. Всем близка его забота: только что совхоз продал выращенное им стадо — 200 яков — в соседний Джергетальский район. И теперь, как только отобьют ячат от маток, получит Нурыдин малолеток и уйдет с ними в горы, за Булункульское озеро, к Шугнану. Там зимние пастбища, завезены корма, построен дом для пастухов. Жена его Аязада — сакманщица. Комсомолка, депутат районного Совета. А сам Нурыдин молодой коммунист, избирался членом обкома комсомола, делегатом областных и районных комсомольских конференций.

Старший брат его Иргем — передовой чабан, был делегатом областной партийной конференции. Младшие братья — Мойдун и Сапайзар — помощники пастуха, еще учатся у Нурыдина, помогают ему. Трудно ли зимовать? Трудно. Но теперь, когда есть запасные пастбища, заготовлены корма, когда удобный дом и гости каждую неделю — то руководители совхоза, специалисты, то кино, то врачи, то лектор, то самодеятельность, — жить неплохо, оторванным себя от страны не чувствуешь.

Пьют чай, вспоминают истории. Говорят о волках: оказывается, серые приспособились и к высоте. Иногда навещают. Идрис рассказал: после университета он ездил по призыву комсомола помощником пастуха на окот и наблюдал сам, как однажды утром на их стадо яков у реки вышли одиннадцать волков. Пока пастух скакал к ним, переправлялся через реку, яки заняли круговую

оборону: рога книзу, хвосты вверх, в центре круга ячата сбились. Рев стоит — на километры слышно. И все стадо медленно отступает в сторону людей.

Яки громоздкие, но ловкие, по любым скалам, как козлы, пробираются, шерстью, словно пледом, покрыты. В личных хозяйствах их доят: жирность молока до 16—20 процентов доходит. Искони ездили на кутасах кочевники верхом. А теперь говорят так: «Як — хорошо, а Як-40 — лучше». Когда первый самолет прилетел в Мургаб, яка к нему на аэродром специально возили — для фотографирования. А как же — родственники: фамилия-то у них одна — ЯК!

Поговорили о волках, овцах, пастушьих собаках, о том, что летом дождей не было совсем, о сенокосных участках, попили чай, старшие пожевали табак, вспомнили о главном празднике скотоводов — районном слете передовиков, что скоро вновь будет в их хозяйстве: надо бы поднажать с показателями, и юрты обновить, и посуду докупить, и телевизоры чтоб у всех были. Вспомнили, кто выиграл прошлые скачки, кто лучше пел, а кого премировали машиной, — выяснилось, что ее получил хозяин дома — Еркембай. На слет передовиков в последнее воскресенье июля съезжаются по нескольку тысяч человек, делегатов же человек 700—800. Это большой праздник. Проводят его совхозы поочередно. Ставят 100 белоснежных юрт, в каждой хозяин-передовик принимает 10 гостей; пастух — пастухов, чабан — чабанов. Вся утварь, все расходы — хозяина. В карман государственный не заглядывают. Сегодня ты меня принимаешь, а завтра моим гостем будешь. Подготовка длится годы: надо показатели подтянуть по всем статьям: и шерсть, и приплод, и вес его — все влияет, все учитывается. В юрты свет проводят, обставляют их, всякую мелочь продумают, чтоб не хуже, чем у соседа. А комсомольцы соревнуются еще и в концертах, в играх: попробуй-ка на скаку достать с земли часы или догнать девушку на коне! Хороши эти встречи тружеников. Лучше, чем с трибуны, усваивается передовой опыт за пиалушками чая, а другого ведь в горах не пьют, даже на свадьбах, — высота не позволяет, да и обычая нет.

За беседой еще на одну интересную тему вышли: район пограничный, с Китаем соприкасается. Так вот чем, думаю, был вызван вопрос директора совхоза Османа Атабаева. Вспомнили случай, когда чабаны Темир Муранов и Малатемир Исаков задержали подозрительного человека, что вышел к ним на отгонное пастбище. Было это два года назад. Человек как человек, и одет как местный житель, а вопросы странные задает: почему так хорошо живешь, а кто тебе сахар привез, часто ли пограничники здесь бывают? Переглянулись чабаны: пока Темир пришельца чаем поил, Малатемир на заставу позвонил. Оказался гость птицей важной и залетной. А чаще беспокоят чабанов другие «эмигранты» — бараны теке.

Спустя несколько дней мы побывали у соседей — на погранзаставе.

Ежевечерне в 20 часов, когда у пограничников страны начинаются сутки, уходит и отсюда наряд на охрану государственной границы СССР. Молодые ребята вооружены боевыми патронами. Им доверено самое святое — защита Родины. И мужают они не толь-

ко от ежедневной реальной опасности, а скорее от большого доверия к ним.

Молодые пограничники — челябинцы, пермяки, свердловчане, ивановцы, горьковчане, магнитогорцы. Живут они здесь одним воинским братством. И издавна, с конца 1920 года, как пришли на «Крышу мира» «сигнальщики революции» — первые советские пограничники, кровно связаны они с памирцами.

Пограничники Памира учредили для лучших учеников первой советской школы в Хороге премию имени Ленина. И начисляли из собственного денежного содержания, то бишь из зарплаты. Не удалось установить, кто же ее первые лауреаты. Возможно, Гуломалм Гуломайдар — теперь народный артист СССР, возможно, Мирсаид Миршакар — теперь народный поэт Таджикистана. Так и не докопались следопыты, и даже старый учитель Д. Ш. Шабдолов, рассказавший этот факт, фамилии назвал лишь предположительно.

А первыми памирскими пионервожатыми были тоже шефы-пограничники. 1 мая 1926 года по Хорогу прошагал пионерский отряд. К этому дню в погранотряде специальную форму ребятам сшили: рубашки с отложными воротниками, штанишки до колен, пионерские галстуки. Но шли они босиком. Впереди отряда несли знамена. Пионеры с песней промаршировали по улицам, а потом выполнили на площади физкультурные упражнения. Посмотреть на такой праздник прискакали с гор всадники, приехали афганцы — и потом долго, как легенду, рассказывали из кишлака в кишлак про этот праздник детей.

И сегодня пограничники крепко связаны с жизнью края. Народ называет их депутатами кишлачных Советов, избирает в райкомы партии и комсомола, на конференции и слеты. Они участвуют во всем, чем живет Горный Бадахшан. А как гордились местные жители, когда пограничнику Сергею Воронову — первому на Памире — осенью 1980 года была присуждена премия Ленинского комсомола! Как радовались за пермяка Володю Мишарина, награжденного медалью «За отличие в охране государственной границы», когда ему было доверено подписать рапорт комсомолии погранвойск XXVI съезду КПСС! А члена бюро Мургабского райкома комсомола магнитогорца Бориса Сундукова лично знают многие животноводы Восточного Памира.

Мои собеседники — уральские парни: Рашид Хисаметдинов из Челябинска — комсомольский секретарь заставы, Виктор Николаев — бывший фрезеровщик с Чебаркульского металлургического завода, Вячеслав Уберт — горновой с легендарной Магнитки, Валерий Иванов — его земляк с «Коксохима» и Айдархан Юсупов — машинист из зерносовхоза «Буранный».

Беседуем о том, каким надо быть сегодняшнему пограничнику.

— Технически подготовленным, ведь специальности военные требуют хороших знаний. Время, когда пограничника представляли этаким следопытом с собакой на поводке, давно прошло. Наши ребята — дизелисты, радиолокаторщики, прожектористы, связисты. Хотя есть на заставе и собаки, и их вожатые.

— Ловким, наблюдательным, зорким — это само собой...

— Бдительным. Это качество и политическое и психологическое. Особенно важно, когда на заставе долго нет нарушений. Можно расслабиться, а права на это не имеем.

— Ну и конечно, мужественным. Любой ночной наряд — хорошее испытание.

Но мужественным в этом краю быть приходится не только пограничникам.

КИЛОМЕТРЫ МУЖЕСТВА

14 января 1936 года в «Правде» Всеволод Вишневский рассказал о штурме зимнего Памира. «Большевики, оседлавшие технику, развеяли в прах легенды о непроходимости зимой горных теснин, окружающих Памир».

А через несколько дней на Челябинский тракторный завод пришла телеграмма из киргизского города Оша от участников городского торжественного собрания: «Стахановцы Памирской высокогорной дороги рады сообщить, что успешному завершению беспримерного в истории зимнего высокогорного перехода через перевалы и ранее непроходимые долины помогли тракторы марки ЧТЗ. Первый «Сталинец» под водительством тракториста тов. Тимофеева по нерасчищенным перевалам прибыл в Каракуль. «Сталинцы» отлично работали на высоте 4 тысяч метров при 40—45 градусах мороза».

...С Маджамом Мамаданваровым, водителем Ошской автобазы № 49, на тяжело груженном ЗИЛе едем мы Памирским трактом Хорог — Ош. Для Маджама дорога эта привычна. По нескольку раз в месяц проделывает он 728 километров — среди фантастического нагромождения синих, бордовых, терракотовых, серых скал, которые, наступая на дорогу, грозят камнепадами и обвалами, услужливо подставляя шаткие оледеневшие спины под колеса тяжело урчащего грузовика. Скорость падает до 20—10 километров в час. Водитель осторожен. Иначе здесь и нельзя. Обелиски среди дорожных столбов на самых крутых перевалах напоминают о тех, кто не успел притормозить. Дорога пробита на авиационной высоте. Машине не хватает кислорода. Не хватает его и человеку. Случается, что совсем не слабые шоферы после первого же рейса по такой дороге спешат навсегда расстаться с Памиром.

А как же тогда, в январе 1936-го?

Беда пришла осенью: на два месяца раньше началась на Восточном Памире зима. Бураны и метели чудовищной силы похоронили под 20-метровым снежным покровом автопоезд из 75 машин с продуктами — весь памирский транспорт, что вез запасы продовольствия на зиму в высокогорное селение Мургаб и соседние с ним пограничные кишлаки. Люди оказались обречены на голод. Единственный путь, не закрытый снегом, вел через кордон. Басмаческие бандиты, лишь за три года до этого окончательно изгнанные из этих мест, вновь подошли к границе.

Всякая мысль о спасательной экспедиции казалась нереальной. Ведь еще никогда и никто не проходил Памир зимой. Даже караваны верблюдов, застигнутые ранним снегом, зимовали в предгорных кишлаках.

И все-таки экспедиция состоялась. Мне удалось разыскать ее участников, теперь ветеранов-первопроходцев памирской дороги. Среди них — заслуженный водитель Таджикской ССР, кавалер ордена Ленина Яков Степанович Суходольский, Степан Алексеевич

Поважный, Георгий Иванович Гернер, пастух совхоза «Мургаб» Борошо Станкулов. Они рассказали мне о той нелегкой битве со стихией, когда рядом с таджиками, киргизами шли русские, украинцы, калмыки, узбеки, татары, немцы — в основном комсомольцы, молодежь.

При наших беседах как бы незримо присутствовал и участвовал в них еще один человек, бывший руководителем экспедиции, — заместитель командующего Среднеазиатским военным округом Ока Иванович Городовиков, калмык, друг и соратник С. М. Буденного и К. Е. Ворошилова. Это он дерзнул тогда вопреки прогнозам скептиков сказать: «Советские автомобили и тракторы пройдут».

Вот что рассказал мне Г. И. Гернер:

— Ока Иванович Городовиков со своими саперами прибыл на Памир на «клейтраках». Пристроили к тракторам 18 прицепов-снегоочистителей и в конце декабря двинулись в путь. Первые 160 километров прошли быстро. И перевал Чигирчик без трудностей преодолели. А вот после Ак-Бассаги началось!..

Из книги воспоминаний О. И. Городовикова «Поход через страну смерчей»: «Машины пробирались по дороге-карнизу, висящему над бездонной пропастью. Справа темнела высокая стена, слева — обрыв, черная пустота, колеса буксовали... Чтобы добраться до передней машины, пришлось стать цирковым артистом. Залезешь в кузов, с кузова перекарабкаешься на радиатор, с радиатора прыгаешь в кузов следующего грузовика. Обойти машины негде — сорвешься в пропасть».

Рассказывает Г. И. Гернер:

— «Клейтраки» — машины заморские, на такие прогулки не рассчитаны. Городовиков приказал собрать в округе все тракторы ЧТЗ. Всего-то их оказалось в предгорных хозяйствах одиннадцать штук. Водитель сидит на морозе, кабин у этого трактора тогда не было: ветер его задувает, снег заваливает. А трактор идет. Впереди саперы траншеи прокладывают, он за ними расчищает. Следом сани-прицепы, грузовики...

Рассказывает Я. С. Суходольский:

— Случалось, по пятьдесят часов из кабин не выходили мы, моторы не останавливали совсем, нельзя: минута — и разморозится радиатор, вода в секунды остывала. Высота снега огромная. Пришлось прорубать траншеи.

Из воспоминаний О. И. Городовикова:

«В книге Жюля Верна «80 000 километров под водой» описан эпизод, когда «Наутилус» застрял во льдах. Обитатели вышли из лодки и прорубили в сплошном льду туннель при свете факела! Точно такая же картина предстала перед моими глазами. Восемьдесят рабочих и бойцов прорывали туннель в глубоком снегу. Красные огни факелов, сделанных из тряпок, вымоченных в бензине, скользили по двум белым двенадцатиметровым стенам... Прошло несколько часов. Наконец туннель был прорыт. В снегу зияла черная узкая дыра. Шофер головной машины дал газ, и... дно туннеля, не выдержав тяжести нагруженной трехтонки, осело. В горах раздался грохот. Сплошная снежная туча обрушилась сверху, погасив факелы. Многочасовая работа пропала даром... Глубокой ночью мы, совсем выбившись из сил, снова прорывали туннель».

Рассказывает С. А. Поважный:

— Когда вернулась наша колонна, подсчитали: только на примусах 38 тысяч литров горючего сожгли. А сколько машины жгли — так там тысячи тонн ушло! В кабине у каждого был примус, чтоб чай поставить, сварить кашу, обогреться. Примусы не выключались, как и моторы.

Из воспоминаний О. И. Городовикова:

«Машины тяжело дышали, останавливаясь, пятясь назад. Трактор хрипел, но вывозил их одну за другой. Люди шли пешком, задыхаясь. Страшные приступы горной болезни поразили почти всех людей экспедиции. У одного из шоферов хлынула горлом кровь. Саперы задыхались — они впервые были на такой высоте. Врач, сам больной, метался от одного к другому».

...Наконец поздним вечером 12 января 1936 года головная колонна спустилась с перевала Ак-Байтал.

Машины шли с включенными фарами, и зрелище было впечатляющее. Что творилось в кишлаке! Кто мог передвигаться, все спешили навстречу. С гор спускались жители соседних селений. Смеялись, плакали, качали водителей. Удивлялись невиданным доселе «шайтан-ароба» — машинам с трубой. Тут же ночью началась раздача населению хлеба, соли, сахара, спичек. На площади состоялся митинг, на котором маленький замерзший человек с заиндевевшими усами, О. И. Городовиков, сказал: «Если бы на пути к Мургабу стихия нагромоздила еще более неприступные горы, если бы вражеская армия отрезала от нас Памир, мы все равно пробились бы к вам, товарищи!»

...По Аличурской долине пересекали мы с Маджамом кромешную тьму заоблачного плоскогорья. От монотонности пустынной в этих местах дороги спасали разговоры.

Маджам не просто классный водитель ЗИЛа, он путешественник. И, как почти каждый из этой категории людей, разговорчив, любознателен. По путевкам комсомола вот так, за баранкой машины, исколесил он всю Россию: видел КамАЗ, БАМ, бывал в Сибири, на Урале. Если бы не семья, так и остался бы на Байкале — очень уж по душе ему те края суровой красоты. Но четверо детей, жена на Памире, им трудно бы пришлось в непривычных условиях, вот и вернулся Маджам пока в Бадахшан. Эта тяга к странствиям у него от отца. 101 год прожил отец и путь из Хорога в Ош — около 800 километров горами — проделал не один раз пешком. Заходил в кишлаки, аилы, знакомился с людьми, чему-то учился у одних, что-то советовал другим — это был его университет.

Когда Маджам уезжал в рейсы через Памир и через три-четыре дня вновь появлялся перед отцом, тот отказывался верить, что сын так быстро съездил в Ош и вернулся — у старика в годы молодости на такое путешествие уходили месяцы. Уж он-то хорошо помнил эти дороги: встретятся двое всадников — не разъедутся. Потому и пробирались по горам пешком. Так вернее: лепешки, чай с собой — и в путь. Застигнет непогода, заметет пурга — неделями отсиживались в сугробах, закопавшись поглубже. А дальше опять пешком. Лыж ведь горцы не знали совсем. Даже почту, депеши на пограничные посты таскали на себе пешие почтари. И шла та почта многие месяцы.

— Смотрите! Смотрите! — Маджам вдруг прервал рассказ и остановил машину прямо над спуском. — Золотой кишлак!

Мы выскочили из машины на снежную дорогу. Внизу перед

нами, бросая навстречу дразнящие волны, играло электрическое море: то был Золотой кишлак из горской легенды — Мургаб восьмидесятых годов.

Наутро первый секретарь Мургабского райкома комсомола Идрис Шаджанов и председатель райисполкома Камал Урустамов назвали всего несколько цифр, привели всего несколько фактов — и сложилась быль, сказочная явь сегодняшнего Мургаба.

Когда в январе 1936 года в Мургаб пробилась экспедиция Городовикова, в селении не было ни одного грамотного, а в районе — ни одного колхоза. Сегодняшний Мургабский район по площади самый крупный в стране, по населению самый малый, но и самый образованный. Конечно же, все хозяйства электрифицированы. Летают сюда самолеты. Смотрят жители программы Центрального телевидения. Пришел в Мургаб на четырехкилометровую высоту водопровод. Несмотря на арктически суровый климат, заложили на 30 гектарах заказник с питомником — ивы, облепиха, памирские березы, сеют кормовой ячмень. Строятся четыре корпуса двухэтажной больницы, ветеринарная станция. Работают 17 клубов, 9 киноустановок, 12 библиотек (десятки тысяч книг), 10 школ. Товарооборот на душу населения в районе — 375 рублей. Сорок процентов всего плана Горного Бадахшана по мясу выполняются здесь. Каждый второй работающий — комсомолец.

Вот так выглядит сегодняшний Золотой кишлак в цифрах и фактах.

Горы стерегут Мургаб со всех сторон. И лишь асфальтовое шоссе ведет из долины дальше, за те перевалы, что имеют романтические названия: «Белая кобылица» — Ак-Байтал, «Иди по тропе» — Чигирчик.

Едем прекрасной дорогой: асфальт 12 метров ширины, специальные галереи прикрывают наиболее опасные участки от возможных камнепадов, у перевалов круглосуточная вахта бульдозеров, тракторов; на скалах скульптурные орлы, бараны-теке, снежные барсы, как визитная карточка края. Дорожные работы ведутся по всему тракту: его спрямляют, понижают, подновляют, готовят к сложной зиме. Тысячи машин проходят ежедневно этой главной дорогой Памира.

С ее строительством, что началось полвека назад, связана еще одна героическая страница комсомола двух республик — Таджикистана и Киргизии. Каждый километр здесь полит пóтом 17—18-летних, которые киркой и лопатой пробивали крутые каменные склоны. Случались схватки с басмачами, которые угоняли за границу скот, уносили ценности. А вооружены строители были бомбами из консервных банок, начиненными аммоналом и раскрошенными гвоздями.

Маджам остановил машину у глухого ущелья на подъезде к перевалу Чигирчик. Здесь, по его словам, до сих пор находят человеческие кости: басмачи расстреливали на этих склонах партийных работников, комсомольцев, активистов, учителей. Один из налетов басмачей на техников-строителей дороги произошел на этом перевале в июле 1931 года. Бандиты захватили строителей, когда те пытались спасти свои расчеты и чертежи. Их раздели почти донага и погнали в горы. «Солнце, отражаясь в ледниках, сжигало кожу измученных пленников. А когда оно зашло, ударил мороз... Бандиты требовали выдать начальника группы... Все, кроме Ильясова, были комсомольцами. Держались твердо. Никто не

выдал своего руководителя, которого наверняка бы ожидала смерть. Их били, угрожали кинжалами, револьверами, саблями...» Описание этого эпизода я нашла уже по возвращении домой у Юлиуса Фучика в очерке «О водке, буране, басмачах и о новой жизни», что был опубликован в «Руде право» в декабре 1935 года.

Через 50 лет, в июле 1981 года, по перевалам проехал необыкновенный кортеж; возглавлял его старый ЗИС-5, тот самый надежный «Захар», что вывез на себе все великие стройки первых пятилеток и прогромыхал по бездорожью войны.

На этот раз трехтонка была украшена лозунгами, а с сопровождающих машин в рупоры извещали о ее приближении. Вдоль тракта, по всему пути следования, дорожников встречали с песнями, танцами, барабанным боем, живыми цветами, звучали дутары. А на площадях поселков обязательно разворачивались митинги. Это был большой праздник горного края, праздник дружбы народов. Начался он в киргизском городе Оше, а завершился в таджикском Хороге. Здесь был сооружен каменный постамент. На следующий день на него водрузили ЗИС-5 и сделали надпись: «Первопроходец».

Так на «Крыше мира» праздновали 50-летие начала строительства Памирского тракта. Советское правительство отметило это событие вручением управлению дороги ордена Дружбы народов. И только до республиканского музея истории и революции в Душанбе эта весть так и не дошла. Ни о строительстве главной дороги Памира, ни об экспедиции О. И. Городовикова не рассказано ни на одном стенде. Только Большому Памирскому тракту (Душанбе — Хорог) посвящено два снимка. А для меня так и осталось неясным, почему 567-километровый участок, построенный в 1940 году, именуется Большим Памирским трактом, а тот, что на 160 километров длиннее и выстроен чуть ли не на десять лет раньше, — просто Памирским. А не пора ли, отказавшись от ведомственного деления по принципу подчиненности этих двух дорог, назвать Большим Памирским трактом весь проезд из Душанбе в Ош — дорогу дружбы и братства двух республик?

В уральском городе, за тысячи километров от Памира, в музее производственного объединения «ЧТЗ имени В. И. Ленина» мне показали большой стенд фотографий из памирской эпопеи 1936 года и увесистый альбом, что подарили недавно парткому памирские дорожники. В них рассказ о сегодняшних буднях самой высокогорной дороги страны. Вряд ли от Челябинска до Памира ближе, чем от Душанбе... Впрочем, здесь вступает в действие другое измерение, далекое от метрической системы. Оно, по-моему, зовется равнодушием...

...Вот уже второй раз милостиво пропустил меня Памир через свои теснины. Было даже обидно: проехать его насквозь, своими глазами увидеть Маркан-Су, ощутить головокружительные серпантины Кзыл-Арта, Талдыка — и не пережить налета смерчей, не испугаться наледей и метелей, что, по рассказам, круглый год бродят у перевалов.

Когда утром взошло солнце, оно вновь было теплым и ласковым.

Опять на бульварах цвели розы, а осень напоминала о себе

лишь пестро-белыми плантациями, что тянулись от самых предгорий в сторону Ферганской долины.

В моем распоряжении был еще целый день, и я поехала на хлопок, что вдоль Памирского тракта убирали девичьи комсомольско-молодежные бригады, которые носили поэтические имена: «Подснежник», «Тюльпан», «Горные звезды», «Белое золото»... Более 500 выпускниц школ области вошли в такие бригады. Для чего собирают в них девушек, увозя из семьи, отрывая от дома? Эти вопросы мы обсуждали в бригадах колхоза имени Фрунзе, что возглавляют Лайли Абдраимова и Монус Арстанова.

Первыми прошлой осенью бригады Лайли и Монус завершили выполнение социалистических обязательств, и на следующий день Лайли рапортовала об этом Президиуму Верховного Совета республики. Лайли — депутат Верховного Совета Киргизской ССР, самая молодая среди членов Президиума — ей 24 года. Монус Арстанова ее ровесница и одноклассница, инициатор девичьих бригад в районе, делегат XVIII съезда ВЛКСМ.

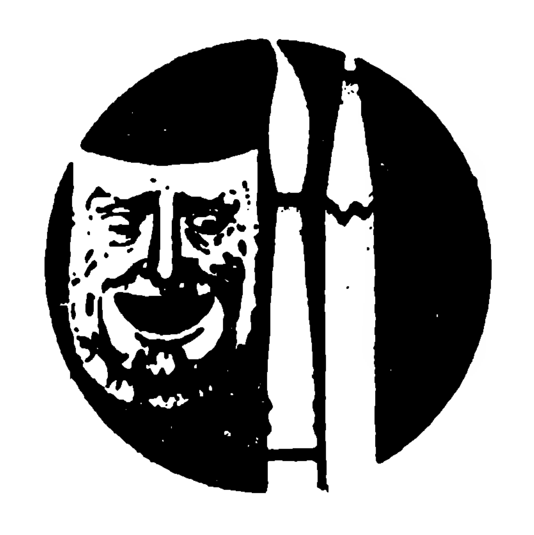
Красивые капитальные здания — культурные станы — выстроены колхозом для девушек, в них все удобства, несколько уютных спален. Имеется просторный зал, где собираются девчата для проведения вечеров отдыха. В распоряжении молодежи свежие газеты, журналы, библиотеки, музыкальные инструменты. В свободные часы девушки учатся у специальных преподавателей играть на комузе, суз-комузе, танцевать, петь, участвуют в смотрах художественной самодеятельности, в районном конкурсе «А ну-ка, девушки!». Они шьют, вяжут, читают, занимаются хозяйством, стряпают, выращивают на приусадебном участке овощи, розы, фрукты.

Хлопком девушки заняты с марта по декабрь. Они готовят весной землю, пашут, боронят, обрабатывают культиватором, сеют, подготавливают лунки. Пока хлопок созревает, в августе у девчат бывает дней десять свободных, и они всей бригадой отправляются в путешествия по стране. А потом страда — самая главная пора. По 35—37 центнеров с гектара собирают в бригадах — и комбайном и вручную. А на зиму становятся девчата сакманщицами, уезжают в отары, помогают чабанам в период окота сохранить ягнят. Словом, дел у них много, круглый год в работе.

Но не только ради производственных достижений создаются такие бригады. Они помогают решать вопросы социальные. Девушки учатся труду, выбирают, «присматривают» себе специальности, а потом поступают в вузы, техникумы, училища. Ну а кто-то здесь, среди подруг, получает настоящие уроки труда, домоводства и хозяйствования, привыкает к культуре общения.

У них часто бывают гости, приезжают и зарубежные, дивятся успехам девчат, их труду, жизни. Монгольские журналисты так выразили свои чувства в книге почетных гостей: «Дорогие девушки! Цветы Киргизстана! Мы восхищены вашим энтузиазмом, патриотизмом на благо народа и процветания великой Советской Родины».

Золотыми руками создается «белое золото» Отчизны.



ИСКУССТВО

Анатолий ДОРОНИН

МУЖЕСТВО ТАЛАНТА

О ТВОРЧЕСТВЕ ХУДОЖНИКА КОНСТАНТИНА ВАСИЛЬЕВА

Творчество художника Константина Васильева не вмещается в рамки созданных им картин. Оно много шире: им создан мир, мучительно и неуловимо знакомый, будто вернулась нам память пращуров наших. Странно и чудесно зритель вдруг увидел себя в новом измерении — от седой древности до наших дней — вечность коснулась сердец, «и стало видно далеко — во все концы света...».

Самые недоступные струны человеческих душ тронул К. Васильев. Люди открыли для себя художника и одновременно утратили покой, задаваясь вопросом: кто он, почему вдруг появился, как стал самим собой?..

...А мальчишка он был не самый простой: худенький, среднего роста, голубоглазый, с вьющимися светлыми волосами. Он, казалось, всегда был погружен в себя. Очень редко видели его в кругу сверстников. Но никто из мальчишек всего поселка Васильево не держал на него обиды. Ребята давно с уважением признавали, что Котька Васильев — худож-

ник: может срисовать из книжки богатыря или танк — не отличишь!..

Заметили это и Клавдия Парменовна с Алексеем Алексеевичем — его родители. А потому, собрав однажды рисунки сына, отправили их в Москву, в художественную школу-интернат при Государственной Третьяковской галерее, а вскоре проводили туда и самого Костю.

Оправившись от первых впечатлений города-гиганта, мальчик не потерялся в непривычном для него пространстве. Третьяковка и Пушкинский музей, Большой театр и консерватория — вот ставшие для него главными ворота в мир классического искусства. С недетской серьезностью читает он «Трактат о живописи» Леонардо да Винчи, «Наполеона» Тарле, со всем пылом юной души погружается в музыку Бетховена, Чайковского, Моцарта и Баха. И могучая, почти овеществленная духовность этих гигантов оседает в его сознании кристаллами драгоценной породы.

В первые же месяцы учебы в художественной школе зародилась глубокая, прошедшая через всю его жизнь, любовь к старым мастерам. Васильев со страстью коллекционера собирает репродукции с картин и внимательно изучает композицию, рисунок, цветовые оттенки каждой работы и примеряется к ним, «проигрывает» на свой лад. А если знакомился с подлинниками, пристально всматривался в технику письма, старался увидеть и холст и подрамник.

И когда в выходные или праздничные дни Клавдия Парменовна приезжала навестить сына, она даже не подходила к игравшим в мяч ребятишкам, а сразу шла в здание напротив — в Третьяковку. Костя буквально месяцами разглядывал каждую работу великих русских художников, уделяя этому все свободное время.

Как всякому ищущему человеку, ему повезло: перед отправкой спасенных нашими воинами картин Дрезденской галереи в Германию была устроена их прощальная выставка в Москве. Константин попал на нее. Впечатления его от картин оказались настолько сильными и глубокими, что потом, много лет спустя, стоило показать ему репродукцию любой из работ этой экспозиции, как он легко указывал на недостатки в цветопередаче по сравнению с оригиналом. (Позже друзья специально устраивали ему подобные проверки, и он ни разу не ошибался.)

Напряженное духовное пробуждение свершалось в нем внешне бесшумно — по-прежнему Константин оставался замкнутым, чуточку самоуверенным подростком. Но неожиданно обрел он первого настоящего друга. Его однокашник — Анатолий Максимов — пытался получить ответ на главные вопросы — о назначении человека, о назначении художника и его месте в мире. Этот своеобразный духовный поиск юноши был близок Васильеву, он и сделал их друзьями.

В своих странствиях по стране живописи, по самым ее малонаселенным уголкам ребята забрели в поселения импрессионистов и были очарованы. Увлечение сопровождалось для них открытиями в музыке, кино, литературе, философии — Стравинский, Прокофьев, Хемингуэй... Вот лишь главные ориентиры их тогдашних исканий. По существу, для друзей это был один мир, одна область искусства, где они жили.

Между тем и в школе-интернате Васильев захотел работать в новой, увлекшей его манере импрессионистов. А курс обучения

требовал строгого академического стиля. Свойственная Константину еще тогда внутренняя бескомпромиссность, а еще больше юношеская запальчивость круто повернули судьбу художника: он оставляет Москву и едет домой.

Поступив вскоре учиться в Казанское художественное училище, Константин окунулся в мир свободного творчества. Диапазон его увлечений, казалось, не имел границ. Как губка воду, впитывает он все новое в современном искусстве, все то, что мог переварить, переосмыслить. В основном касалось это, конечно, живописи, но очень интересует его и музыка и литература.

Как раз в это время появился у него новый друг — Александр Жарский. Саша родился и жил в Тулузе, во Франции. А после войны его семья вернулась в СССР. Получив воспитание в весьма образованной семье, Жарский неплохо знал современное западное искусство. Учились друзья в одной группе, и все, чем вместе увлекались, что изучали, преломляли в своих работах: увлечение всегда действует на руку художнику.

В орбиту интересов Васильева были вовлечены и еще два новых товарища — Олег Шорников, студент Казанского авиационного института, с которым он, кстати, жил в одном поселке и был знаком с детства, и Геннадий Пронин — сокурсник Шорникова.

Шорников оказался человеком ищущим. В кругу новых друзей он считался «индустриальщиком»: увлекался физикой, радиоделом, точными науками. Но притом в нем жила серьезная тяга к миру духовных ценностей — к живописи, музыке, литературе.

Пронин удивил друзей тем, что привез из родной Бугульмы свою сюрреалистическую работу. Называлась она немного тенденциозно — «J am» *.

По оценкам товарищей, картина была неплохая. Геннадий обладал недюжинной фантазией, его привлекали неизведанные горизонты мысли, необычное, оригинальное в людях. И как-то естественно он влился в эту компанию.

Как мощное радиоактивное излучение, воздействуя на простые материалы, вызывает, в свою очередь, их активность, так, возможно, Васильев своим мощным талантом пробудил безусловную талантливость этих ребят. Жизнь их приняла ускоренное движение под воздействием новых идей и восторженных мыслей друг друга.

Как-то вечером, возвращаясь на электричке в родной поселок, Шорников поделился с Васильевым новостями дня:

— Сегодня был с Прониным на заседании студенческого научного общества. Там один юноша подал интересную идею — создать в институте конструкторское бюро по цветомузыке. Пока, правда, неясно, что из этого может получиться...

— Это же идея! — загорелся Константин. — Будете исполнять концерты цветомузыки.

— Концерты?!.

— Да!.. А знаешь, у Скрябина в симфонии «Прометей» есть цветомузыкальная строка — «Люче». До сих пор идея композитора по-настоящему не реализована.

На следующий же день друзья энергично взялись за работу. Начались серьезные поиски людей, занимавшихся когда-либо этой проблемой, поиски литературы. Обратившись в архивы Казанской

---

* Я есть (англ.).

консерватории, чтобы разыскать партитуру Скрябина, литературу о нем, они встретили там энтузиастов, поддержавших их начинание. Это были Лоренс Блинов, будущий композитор, а в то время студент консерватории, и молодой преподаватель Абрам Юсфин, возглавивший в дальнейшем музыкальную часть студенческого конструкторского бюро «Прометей».

Юсфин слыл человеком, хорошо знавшим современных западных и наших отечественных композиторов-модернистов. В его личной библиотеке хранилась также богатая литература по основным направлениям формалистического искусства. Он-то и взялся за расшифровку строки «Люче». Проблем перед ним возникало много, но как музыкант он с ними справился. В свою очередь, студенты-конструкторы создали инструменты цветомузыкального оркестра: серию пультов для семи цветов. Каждый пульт управлял своим цветом на громадном экране.

К торжественному дню — первому публичному концерту СКБ Васильев нарисовал портрет Скрябина в условно стилизованной манере — прямыми штрихами (тушью на ватмане). Портрет этот стал началом целой серии графических портретов известных композиторов.

Сегодня Васильев в этих студенческих работах открывается зрителю как одаренный график. Несколько смелых, точных, одному художнику ведомых линий — и оживают Лист, Римский-Корсаков, в страстном творческом порыве запечатлен Моцарт...

Дружба с Юсфиным сыграла определенную роль в судьбе Васильева, подтолкнув его к новым поискам в живописи. Его уже не удовлетворял круг задач, решаемых импрессионистами. Обнаруживая за всем этим недостаточно глубокую сущность, он переходит к сюрреализму и абстрактному экспрессионизму. В библиотеке композитора ему представилась хорошая возможность широко познакомиться с творчеством Сальватора Дали, Ивом Танги и других заинтересовавших его сюрреалистов, с одной стороны, и абстрактными экспрессионистами Мотервеллом, Джексоном Поллоком, Хуаном Миро, Василием Кандинским — с другой.

Окунувшись с присущей ему серьезностью в разработку новых направлений, художник создает целую серию интересных произведений в сюрреалистическом ключе, таких, как «Струна», «Атомный взрыв». Ими особенно восторгается Юсфин, любивший в роли наставника глубокомысленно поговорить о серьезности этих формалистических работ. Правда, беседы он начинал с незначительных абстрактных фраз о живописи в духе — «Ах, какая линия, какое красочное пятно!» — и переходил к столь же абстракным философским рассуждениям о бесконечности и смысле жизни.

Однако самого Васильева быстро разочаровал формальный поиск на основе натурализма.

— Единственное, чем интересен сюрреализм, — делился он с друзьями, — это своей чисто внешней эффектностью, возможностью открыто выражать в легкой форме сиюминутные животрепещущие стремления и мысли, но отнюдь не глубинные чувства.

И, проводя аналогию с музыкой, сравнивал это направление с джазовой обработкой симфонической пьесы. Во всяком случае, деликатная, тонкая душа Васильева не желала мириться с определенной легкомысленностью форм сюрреализма: вседозволенностью выражения чувств и мыслей, их неуравновешенностью и об-

наженностью. Художник почувствовал его внутреннюю несостоятельность, разрушение чего-то главного, что есть в реалистическом искусстве, того смысла, того назначения, которое оно несет.

Несколько дольше продолжалось увлечение художника абстрактным экспрессионизмом, относящимся к беспредметной живописи и претендовавшим на большую глубину. Здесь декларировались столпами абстракционизма мысли, например, о том, что мастер без помощи предметов рисует не тоску на лице человека, а саму тоску, то есть для художника возникает иллюзия, как им казалось, гораздо более глубокого самовыражения. Подобная концепция на время увлекла людей такой богатой фантазии, как Константин и его друзья.

Васильев окончил художественное училище и вернулся работать в свой родной поселок. Но круг его друзей нисколько не сократился. Напротив, к наезжавшим довольно часто к нему товарищам добавились новые: А. Кузнецов, приехавший в родные края после окончания Московского физико-технического института и внесший в их компанию новые идеи и веяния, и Юрий Михалкин, весьма способный музыкант, преподававший в то время в музучилище.

Делая мощный духовный рывок, пытаясь найти свою единственно возможную форму самовыражения в искусстве, Васильев самоотверженно работает, порой не различая дня и ночи. Обычно он ставил на проигрыватель нужную пластинку, надевал наушники, чтобы не беспокоить близких, и уходил в творческий поиск. Но как бы он при этом ни был увлечен работой, с появлением друзей Константин откладывал в сторону кисти, накрывал холст и увлекал их какой-нибудь идеей, заражал оптимизмом, побуждая мыслить возвышенно, по-новому. «Когда я не оригинален, я немножко глуп», — цитировал он одного из своих тогдашних кумиров. Те, кому приходилось общаться с Константином, испытали на себе его огромную духовную силу, способную захватить и увлечь.

В один из таких нечаянных визитов к другу Шорников застал его за работой над большим, в несколько квадратных метров, полотном. Олег сразу догадался, что это та самая работа, идеей создания которой Константин с ним недавно поделился. Называться она должна «Лярго». Но Олег хорошо знал и то, что Васильев был чрезвычайно горд и никому не показывал незавершенную работу. Но, сильно наэлектризованный желанием поскорее увидеть картину, Шорников вдруг проникновенно посмотрел в глаза другу и попросил:

— Покажи, Костя...

Васильев удивленно вскинул брови, встал, походил по комнате. Потом решительно подошел к картине и, слегка сдвинув полотно, приоткрыл край работы...

Трудно сказать, чем можно было объяснить чувства Олега; тем ли гипнозом, под который как бы попадали друзья, общаясь с Константином, но этот кусочек холста, показанный из-за занавеса, сильно поразил его. Он испытал мощный духовный взрыв, удар восторга.

Позже, когда Васильев представил законченное полотно и оно зазвучало в полный голос, друзья восхищенно заговорили о нем.

Васильев создал свою симфонию в красках. Она была, конечно, самостоятельным произведением, но сильно перекликалась с му-

зыкой. Увидев на огромном белоснежном холсте нанесенные черной масляной краской дрожащие линии на фоне массивных черных форм, зритель словно чувствовал дрожащую партию скрипок в мощном звучании всего оркестра.

Нужно было обладать всем тактом и чутьем Константина Васильева, чтобы так вот мастерски создать из двух контрастных цветов какие-то формы — полностью беспредметные и в то же время обладающие сильным эмоциональным воздействием.

Очень скоро интересы друзей претерпели очередные изменения. На первый план выдвинулась музыка самого модернистского направления, как бы беспредметная, идущая в ногу с беспредметной, абстрактной живописью. Это творчество таких композиторов, как Булез, Веберн, создатель додекафонной музыки Шенберг. Особенно увлекает Васильева в то время Мессиан, не лишенный любви к природе.

Сопутствовали Васильеву в новом увлечении два его верных оруженосца. Пронин умудрялся добывать музыку даже в Союзе композиторов. А Шорникову удалось где-то записать Штокгаузена, уникальную «Песнь юношей в пещи огненной».

Эти сочинения не имели уже ничего общего с традиционной музыкой. Это была так называемая конкретная музыка, где использовалось не звучание музыкальных инструментов, а звуки, которые композитору удалось записать на магнитофон где-то в природе, а затем из них скомпилировать свое произведение.

Но Васильев все больше и больше сознает, что чистый формальный поиск не дает удовлетворения художнику, не решает его главной задачи, не делает его настолько нужным людям, как, скажем, Бетховен в музыке. Легко понять тщету абстрактных работ, если начать сравнивать того же Хуана Миро, например, с Леонардо да Винчи, который живет и будет жить в веках, потому что он для людей сделал что-то такое, чего не сделали ни Хуан Миро, ни Мотервелл, ни Поллок.

Васильев прекрасно знал, что сами модернисты, теоретики этих направлений, чаще всего говорили, что беспредметное искусство не направлено ни к кому и ни к чему, оно выражает только самого автора. И оно обязано поэтому быть кружковым, маленьким искусством, для малого, весьма ограниченного круга ценителей. А в сознании Константина упрямо звучала одна и та же мысль: «Самовыражение для художника не самоцель. Он должен создавать, должен работать для людей». Он стал все чаще и чаще говорить друзьям о том, что логическим завершением модернизма является черный квадрат. Формальный поиск кончается ничем, ведет в тупик.

Как раз в это время получил он письмо от Саши Жарского, уехавшего из Казани после окончания художественного училища.

«...Мне ужасно тяжело слышать, что ты уничтожаешь некоторые свои работы. Я еще раз советую не делать этого. В минуты, когда меняется мировоззрение, спрячь то, от чего ты отходишь. Спрячь и не смотри... Ты знаешь, что ты большой художник, значит, даже если твоя философия в искусстве изменяется, то все равно ты сделал способные работы. Но много мыслить и мало практически работать — к этому можно быстро привыкнуть и стать ненужным теоретиком. Это страшная штука; после, когда покажется, что мысль стала кристальной — руки откажутся осу-

ществлять ее, поздно будет спрашивать — куда девались способности...»

Но Васильев безжалостно уничтожает то, чем еще вчера восхищались друзья. Его, все более взрослевшего, не могло уже удовлетворить жонглирование формами.

Овладев изображением внешних форм в совершенстве, научившись придавать им особую жизненность, Константин мучился мыслью о том, что за этими формами ничего, в сущности, не скрывается, за ними нет души художника и что, идя дальше этим путем, он растеряет главное — творческую духовную силу и не сможет выразить по-настоящему своего отношения к миру.

Но, найдя в себе мужество навсегда отказаться от выбранного прежде направления, Васильев не знал еще, каким будет это новое в искусстве. Тогда он почему-то не думал о традиционном реализме, очевидно полагая его исчерпавшим себя благодаря гению великих мастеров прошлого, перед которыми художник всегда преклонялся. И пока он не видел, а точнее, не испробовал по-настоящему другого творческого пути, к его сознанию подступило незнакомое прежде чувство опустошенности и отчаяния. Он оставил живопись, не делал никаких зарисовок, даже эскизов.

В эти несколько месяцев полного бездействия Константин как-то особенно близко сошелся с Олегом Шорниковым. Олег, по шутливому выражению Васильева, представлял собой «смесь славянской каши с чухонским маслом». Впрочем, «масло» это занимало изрядную долю. Его родословная ниточка, тянувшаяся по линии отца к марийским корням, накрепко связала этого человека любовью к лесу, нетронутой природе. Свое свободное время он проводил в самых глухих лесных уголках, на проделанных им заветных тропках.

Именно с этим своим другом и зачастил Васильев в лес. Общение с природой всколыхнуло впечатления детства, то время, когда они вместе с отцом, страстным рыбаком и охотником, бродили вдоль Волги и Свияги, по их сказочно красивым гористым берегам и заливным лугам, заходили в живописные леса, где отец учил его многое подмечать и запоминать. Словно предчувствовал Алексей Алексеевич в те годы скорое расставание и давал сыну напутствия на всю жизнь.

В один из великолепных весенних дней 1962 года друзья возвращались из Казани. Не доезжая поселка, они сошли с электрички и продолжили путь знакомыми лесными тропинками. Пробуждающаяся природа радовала их обилием искристого света, отраженного от островков снега и от множества ручейков, радовала суетой копошащихся после зимней спячки насекомых, гомоном озабоченных птиц.

И вдруг среди всех хлопот этой возрождающейся жизни они услышали нежную, вековую песню жаворонка. И словно электрическим разрядом пронизало все существо Васильева. Ему зримо представилось, он почувствовал на себе действие разлившейся повсюду гармонии. Этот ласковый строй природы и одновременно буйное ее жизнелюбие и было как раз тем, чего так не хватало Константину и чего так страстно жаждало его сердце. Это была одухотворенная природа. Вольно или невольно художник сделал первый важный шаг на пути ее интуитивного постижения. Совершился тот толчок, который давно назревал и

уже был подготовлен новым ходом мыслей и мировоззрением художника.

Началось бурное возвращение к искусству позитивному, к нашей народной литературе: сказкам, легендам, преданиям и поверьям. Васильев хорошо сознавал, что именно в этих закромах народной духовности найдет он то нравственное начало, которое послужит ему подспорьем в общении с природой, поможет восстановить утраченный цивилизованным человеком высший дар — способность читать книгу природы и понимать ее язык, проникать духовным взором в тайны мироздания.

Мысли, рожденные в сознании художника, можно точно выразить словами великого Ф. Тютчева:

Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик —
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык...

Пытаясь постичь суть явлений и накопить общий строй мыслей для будущих произведений, Константин со свойственной ему творческой увлеченностью отдается пейзажным зарисовкам. Конечно, как художник-профессионал он в течение всей сознательной жизни с большей или меньшей активностью, в зависимости от обстоятельств, писал пейзажи. Но теперь Васильев потребовал от себя качественно нового подхода к этому жанру. Его уже не могли устроить холодные отпечатки пусть даже самых красивых и таинственных уголков природы. Он искал что-то духовное, высматривал не просто пейзаж живописный сам по себе, а непременно какую-то мысль, идею. Скажем, необычное облако, будто возносящееся к небу, или вековые деревья, пробуждающие представление о таинствах совершавшегося под их кронами древнего обряда.

Его пейзаж — всегда одухотворенная живая субстанция, во всяком случае, ее символы. Константин не был осведомлен, положим, что дерево излучает биологическую энергию, имеет свое биополе, воздействующее на все окружающее, о чем пишут теперь ученые. Но художник желал, ему непременно хотелось, чтобы лес был именно живым, ведущим активный разговор с человеком. Более того, постигая глубины русских народных сказок, он, как когда-то Александр Пушкин, требовал эллинистического, языческого присутствия в лесу наших русалок, лешего, кикимор и прочих. Чтобы не было так, как сказано у поэта: «Без тайны лес, без плясок нивы, без песен пестрые стада пасет татарин молчаливый...»

Весь этот сплав народного мифотворчества и живой природы Васильев мастерски соединил в своих полотнах. Эти работы художника носят обобщающий характер, и нет среди них ни одного просто нейтрального пейзажа, каждый несет ярко выраженное чувство.

Вот, скажем, одна на первый взгляд скромная работа, где на фоне молодых зеленых побегов изображен могучий древний дуб. Этот исполин со всей своей царственной мощью расположился на кусочке отведенной ему судьбой земли. Он продолжает стоять там, сохраняя гордость и величие, словно не замечая того, что утерял всех своих сверстников, а его самого давно уже окружает

опустевшее поле. Но, видимо, знает этот патриарх лесов какую-то тайну и хранит ее до поры, чувствует еще в себе силу и ждет условного часа, веками, изо дня в день исполняя многотрудную работу.

Есть у Алексея Константиновича Толстого интересные строки о работе Фидия «Зевс»: «Ласковый царственный взор из-под мрака бровей громоносных...» Что-то родственное, мощное заключено и в этом «Дубе»: фактура ствола крупная, иссеченная и в то же время притягательная своей теплотой, величием.

Пейзаж дает зрителю не только чисто эстетическое наслаждение — он пробуждает непривычное чувство духовного присутствия в нем каких-то внешне сокрытых сил.

Продолжая совершенствовать это направление живописи, Васильев глубоко проникает в тайны состояния природы. И к концу своей трагически оборвавшейся жизни создает удивительно одухотворенные пейзажи «Осень» и «Лесную готику», в которых показал примеры высочайшей пластики, блестящего колорита, великолепной композиции и рисунка.

Константин Васильев очень любил осень, щедрую для жителя среднерусской полосы богатством красок, и вскоре написал обобщенный образ этого времени года.

Его «Осень» как бы отличается буйством цвета, необычной тишиной и торжественностью леса, который хотя и лишился птичьих песен, но не опустел: он дышит, он несет в себе мощный заряд сконцентрированной за лето энергии и щедро посылает его всему живому.

Пейзаж, вылепленный художником из мозаики накопившихся ощущений, превратился в сгусток красоты.

Причем средства, которыми живописец этого достигает, обычны. Несмотря на многообразие используемой палитры, его трудно даже заподозрить в излишней пестроте красок, свойственной импрессионистам. В пейзаже нигде нет чистых цветов: везде соблюдены переходы, оттенки, рефлексы. И словно сама гармония торжествует на полотне.

Здесь художник очень современен эпохе. В век интенсификации всех происходящих на земле процессов он, как никто другой, дал нам понятие об интенсивной красоте, об интенсивном насыщенном духовном плане. Это его повышенно-эмоциональное отношение к жизни, художественные обобщения, доведенные до известной крайности выражения, есть не что иное, как творческий романтизм.

К романтическим можно отнести и работу Васильева «Лесная готика».

Пейзаж этот он написал в период своего активного увлечения историей и культурой других народов, когда его заинтересовало время перехода европейцев к Ренессансу. Не к итальянскому, а к мужественному северному Ренессансу, к возрождению светской идеологии и культуры.

В его «Лесной готике» дан психологический настрой северных народов Европы, во многом схожих с нашими русскими поморами.

Картина несет на себе определенную печать этой суровости и возвышенности, какой-то аскетической духовности. Несмотря на то, что художник выписал вполне привычный нам хвойный лес

со всеми его цветовыми бликами, лес этот ассоциируется с готическим храмом.

Безмолвны сосны. Но вот сквозь кроны деревьев отвесно падают лучи солнца, пробиваясь тремя самостоятельными потоками и заливая сказочным светом стволы деревьев, землю. Оживает могучая стихия леса. Вся земля становится светла и прозрачна, и мы уже слышим звучание органа, составленного из больших и малых деревьев — из этих труб. Орган звучит, ревет, свистит и тоненько поет. Все это вместе создает океан звуков мятущихся, ревущих и в то же время торжественных и глубоких. И вдруг мы выделяем нежное, лирическое пение маленькой елочки и одновременно замечаем ее, оторвавшуюся от земли и парящую между грозных стволов в надежде пробиться к живительному свету. И тотчас елочка вызывает в нас трепетное чувство, стремление помочь ей, не дать стихиям, темным силам задушить этот росток.

Такова основа глубокой гуманной сущности северных народов: не тонкая задушевная лирика южанина, но всегда суровая по своему выражению, требующая активного действия, сопереживания.

Здесь, как у всякого большого художника, два плана. Прямой, легко воспринимаемый план — чисто внешняя схожесть леса с готическим храмом и в то же время большая духовная общность этих двух начал. Она и придает пейзажу особую глубину.

У Васильева все работы состоят из подобных пар: внешняя формальная похожесть, совершенно необходимая для создания образа, и большая внутренняя связь явлений. И зритель всегда невольно чувствует особую психологическую активность его произведений.

По-видимому, художнику удалось достичь необходимой силы воздействия своих пейзажей еще и благодаря его юношескому увлечению в области экспериментов с выразительными возможностями линий и цветовых пятен. Именно пластичность линий и музыкальность цветовых пятен так звучат в «Лесной сказке», делая это реалистическое полотно исключительно запоминающимся.

Творческий диапазон художника не был, конечно, ограничен одним пейзажем. Едва став на платформу реализма, Васильев пытается, отталкиваясь от пейзажа, открыть для себя главное — нравственную природу человека. Его влекут яркие исторические образы разных эпох, те проявления величия духа, которые делают человека личностью. И это естественно, ведь реалистическое искусство, тяготеющее к формам самой жизни, в глубине своей постоянно заключает стремление к обобщениям и осмыслению мира.

И, как обычно бывает в жизни, на готовую, жаждущую работы почву случай подбросил нужное зернышко.

Вернувшись как-то с прогулки, Шорников рассказал Константину о своей нечаянной встрече на берегу Волги с большущим орлом. Тот сидел на изломе сокрушенной временем березы и, надменно презирая возможную опасность, перебирал мощным клювом серые перья на своей груди. Олега неодолимо потянуло вперед. Ближе, как можно ближе к чудной птице... Но неожиданно орел встрепенулся и бросил такой огненный взгляд на незваного гостя, что человек оторопел. Смутился... Невольно в памяти

обозначились подходящие к моменту строчки стихов: «Открылись вещие зеницы, как у испуганной орлицы...»

— Я сделаю картину и назову ее «Северный орел», — тут же отозвался художник...

Олег удовлетворенно кивнул головой, а про себя подумал: «Как это Константин будет рисовать птицу?»

После затянувшегося перерыва в творчестве Васильева товарищи с нетерпением ждали обещанной встречи с его новой работой.

И когда в условленное время Васильев снял с полотна покрывало, в комнате воцарилась необычная тишина. Друзья предполагали увидеть какую угодно птицу, но... мужика с топором никак не ожидали. Однако талант художника, словно магнитом, притягивал взгляды каждого к картине, заставлял думать, восхищаться небывалой внутренней силой созданного образа. Зрителей буквально сверлил орлиный взгляд мужественного человека, подлинного властелина тайги, одухотворяемого природой и одухотворяющего первобытную стихию леса своим трудом, мужеством и волей.

Мысль художника сумела, поднявшись над обычным житейским фактом и совершив небывалый по протяженности полет, прикоснуться к стихии народного мифотворчества.

«Северный орел» — этот жанровый пейзаж — был переломной, но далеко не первой реалистической картиной на пути творческого поиска Васильева. Свою тему, которая как бы исподволь прорастала в душе, он нащупывал еще во время учебы в Казанском художественном училище. Его дипломной работой там стали эскизы к драме Островского «Снегурочка», где художнику удалось соединить в одно целое сценическую условность с тонкой лирической достоверностью пейзажа, ароматом сказочности.

Вскоре после создания «Северного орла» художник, продолжая тему «Снегурочки», написал поэтическую картину «Гуси-лебеди», в которой образ прекрасной юной девушки, провожающей взглядом пару белых лебедей — символ верности в русском эпосе, передан мастером настолько возвышенно, что зритель невольно сопереживает чувствам девушки, ее мечте о прекрасной и верной любви.

Другая работа, в которой художник сознательно использовал принцип театральной декорации, — «Плач Ярославны». Это правая часть задуманного, но не завершенного им триптиха, посвященного самому поэтическому сказанию старины — «Слову о полку Игореве».

Художник, зачитываясь патриотической поэмой, казалось, глубоко сопереживал печали, разлившейся по Руси после страшного поражения князя Игоря от половецкого хана. В его «Ярославне» грустью наполнена вся природа. Жена князя Игоря в плаче обращается к ветру, веющему под облаками, к Днепру, пробившему каменные горы сквозь землю половецкую, к солнцу, которое для всех тепло и прекрасно, а в безводной степи простерло свои жгучие лучи на русских воинов.

И зритель, даже не знавший, что художник писал полотно под впечатлением знаменитой оперы А. П. Бородина «Князь Игорь», чувствует необычную музыкальность образа и словно слышит наяву плач Ярославны.

Васильев по-своему переосмысливает картины-декорации, насыщает их сказочно-поэтической глубиной. Художник радует

зрителя не только богатством воображения, но и вполне конкретными познаниями в области истории, археологии. И оживает поэтическая сказка, полная чудес и правды жизни.

Не случайно именно эти полотна — «Гуси-лебеди» и «Плач Ярославны» — восхитили известного итальянского художника-декоратора Н. А. Бенуа, оставившего в книге отзывов на одной из выставок в Москве такую восторженную запись: «Сколько в картинах Васильева поэзии, любви к природе, изумительной музыкальности, и с каким чудесным живописным мастерством он умел все это выразить! Я совершенно очарован творчеством этого большого, истинного мастера!»

Человека широкой эрудиции, Васильева и прежде привлекали эпос, народная поэтика. Но теперь именно в них нашел он ответ на волнующие вопросы, обратившись к ярким и великим характерам, созданным гениальной фантазией народа. Художник всем своим существом устремился ко всегда крепкому на земле — народу и его мифомышлению. Рождается идея широко отразить героев народного эпоса, выстроив образы-символы в единый ряд цикла «Русь былинная».

Языческий мир с его жизнерадостным миросозерцанием не раз давал людям мотивы для измышления самых интересных легенд. В живописи этот духовный пласт нашего народа освещали, каждый по-своему, В. Васнецов, Врубель, Рерих. Васильеву ближе других по своему духовному мироощущению, несомненно, был Васнецов. Константин любил его и выделял среди других русских художников, даже среди своих любимейших — Крамского, Нестерова, Корина.

Отыскав однажды в Москве Дом-музей Виктора Михайловича Васнецова, Константин зачастил туда. Будучи очень гордым и скромным человеком, он посчитал неудобным демонстрировать свою профессию: что-либо зарисовывать в музее или вступать в разговоры с персоналом музея. Хотя его там интересовало буквально все: и сколоченная самим Васнецовым мебель, и, конечно же, его картины, в числе которых есть и такие, как «Бой Ивана Царевича со змеем», и другие, до сих пор почему-то не репродуцированные для широкого зрителя.

Чтобы выйти из создавшегося положения, Васильев стал ежедневно приходить в этот дом. Он вникал в интересовавшие его тонкости, а вечером тщательно зарисовывал все по памяти.

И все же нельзя сказать, чтобы Васильев рабски преклонялся перед своим кумиром. Он не принимал Васнецова слепо и позволял себе иногда в разговоре с друзьями делать весьма смелые замечания. Рассматривая однажды в Третьяковке «Трех богатырей», он заметил Пронину:

— Картина великолепная, но почему у автора такое пренебрежение к фону: земле, небу? Он их написал небрежно, мало придавая значения форме и цветовым соотношениям, особенно в прорисовке неба...

Нужно заметить, что Васильев крайне скрупулезно относился к отделке работ на стадии их завершения. И бывали случаи, когда он по нескольку раз переписывал фон, добиваясь его точного выражения и звучания красок.

Еще как-то раз Васильев делился, теперь уже с Шорниковым, мнением о картине «После побоища Игоря Святославича с половцами»:

— Васнецов становится рабом натуры, совершенно очевидно, что он писал убитого воина, расположенного на переднем плане, с натурщика.

Константин считал себя противником слепой натуры. Специально натурщиков он не привлекал, но постоянно наблюдал жизнь. Часто друзья замечали, как во время даже очень интересного разговора художник то и дело приглядывался к рукам, жестам или к лицу человека каким-то особенным, изучающим взглядом. А бывало, вдруг, будто ни с того ни с сего, просил собеседника не менять позу и начинал рисовать его портрет. Он ловил такие моменты и у себя в квартире (карандашный портрет Г. Пронина), и в вагоне поезда (карандашный портрет В. Зайцева), и в гостях у друзей (портреты маслом В. Белова, В. Павлова).

И все же основная часть его картин с изображением людей сделана не с натуры. Приступая к созданию какого-либо образа, Константин собирал, конденсировал в себе типы, характеры, движения, формы, краски и только потом брался за кисть.

Есть у Васильева выразительная работа «Старец», создающая необычайно емкий образ, сильный характер. И даже не верится, что это не портрет с натуры, а синтез наблюдений живописца. Приходится только удивляться, как мог молодой человек схватить, понять не пережитое еще им состояние духа старца и убедительно выразить его, донести до зрителя.

Возможно, именно эта его способность к тонкому пониманию внутренних движений человека помогла художнику глубоко понять духовную сущность былинных героев.

Константин до последних дней жизни с упоением работал над своей ключевой, былинной темой, постоянно развивая образы и сюжеты. На полотнах мастера предстают Илья Муромец, Святогор, Микула Селянинович, Вольга, Садко, Василий Буслаев... И всякий раз, приступая к осмыслению и передаче внутреннего мира нового героя, Васильев ищет особый ход, необычный ракурс, манеру подачи, чтобы картина его непременно активно воздействовала на зрителя, заставляла его сопереживать этому образу всей глубиной чувств. Каждую работу этого цикла он насыщает предметами-символами, характеризующими дух, устремления героев, не допуская на холсте ни одной лишней, случайной детали. Блестяще владея техникой письма, тонко чувствуя гармонию цвета, Васильев создает завершенные по композиции картины-образы, в каждой из которых философски точно выражены собранные и обобщенные народным сознанием лучшие черты героя.

И все-таки муки поиска недостающих живописных средств не покидали его. Еще в период увлечения формальным искусством Васильев бессознательно, по догадкам шел к убеждению, что числовые законы гармонии одинаковы для живописи, музыки, архитектуры. Теперь же, в реалистической живописи, произвол, отсутствие ясных канонов, например, при построении композиции мучили его.

Узнав о композиционном «золотом сечении», которым пользовались древние греки, Константин решил проверить алгеброй гармонию. Он вычислил, как должна строиться любая картина, где мысленно размещать ту главную точку на полотне, к которой, словно к центру, должны тянуться все сюжетные линии, и

как по «узлам» вычерченной им координатной сетки корректировать расположение любых элементов композиции.

Проверив свои картины, он убедился, что лучшие из них отвечают этому правилу! Проделав такой же эксперимент с репродукциями с картин знаменитых художников эпохи Возрождения, установил: они знали или интуитивно приходили к этой закономерности.

С того дня в подготовку холста к работе Васильев непременно включал и разметку холста по золотому сечению. Цели своей он добился: уверенно строил идеальные по гармонии композиции, где ничто не «падало», не отклонялось и не диссонировало.

Но, решив одну оригинальную задачу, художник находил и ставил перед собой очередную...

Кроме разработки русского эпического наследия, русской мифологии, Константин Васильев много работал и в области мифологических сюжетов других народов: искал общность глубоких корней в творчестве народов, переваривая и вычленяя главное. Он разрабатывал пласты исландского, скандинавского и немецкого эпоса. Прекрасно знал художник и мифологию Древней Греции, Рима, эддические сказания, индийскую эпическую поэзию и даже некоторые зороастрийские гимны той части населения Земли, которая проживала когда-то на территории Древнего Ирана.

Правда, по складу своего характера он ничего не изучал просто так, а, читая что-либо, быстро схватывал главное. Знания он не скапливал, а творчески интерпретировал, и, по существу, это было уже не изучение, а тут же, на ходу, создание своего.

Параллельно с русским эпосом очень увлеченно работал художник над эпосом скандинавским. И здесь он, конечно, сразу же натолкнулся на великолепную тетралогию Рихарда Вагнера «Кольцо нибелунгов». Вагнер был не просто композитором. Это философ, поэт, драматург, писатель-мифотворец, ставивший себе задачу воссоздания мифа, то есть освобождения его от химеры прагматизма, все больше и больше разрушавшей, по его мнению, современное искусство; второй задачей он ставил воссоздание символа в искусстве.

Такая творческая позиция была близка и понятна Васильеву. Он увлекся тетралогией Вагнера. Работая над графическими работами и картинами цикла «Кольцо нибелунгов», художник с удовольствием пел арии Зигфрида: заводил пластинку и подпевал солисту, теша себя иллюзией, будто он сам исполняет партию. Это хорошо настраивало его на нужный лад. Как правило, музыку Константин Васильев подбирал такую, чтобы настроение его устремлялось в том же направлении, что и кисть.

Первое большое полотно, над которым он долго трудился, выполнив массу предварительных эскизов, набросков, была картина «Валькирия над сраженным Зигфридом».

Когда полотно близилось к завершению, Васильев назначил товарищам день торжественного открытия картины.

Прочно став на позиции реализма, Васильев пришел к убеждению, что, утверждая в творчестве сильное и героическое начало, надо стремиться к возвышению и собственного духа. Поэтому каждое открытие картины он старался превратить в торжество, которое могло бы послужить искрой для костра будущих творений его товарищей, добровольно объединившихся в своеобразный творческий кружок.

Приходили в такие дни, как правило, самые близкие друзья: Шорников, Пронин, Кузнецов. Иногда Юра Михалкин, Лоренс Блинов, позднее Николай Травин. Шорникову поручалось при открытии картин выступать со своим поэтическим произведением.

На этот раз Олег, работая по просьбе Константина над темой «Варяги. Викинги», за две недели завершил сочинение и до времени оставлял в неведении своих друзей.

В назначенный день и час все приглашенные собрались у Васильева. Он пригласил их в чисто убранный зал, где все находилось в строгой симметрии. В центре, на подрамнике, картина, закрытая холстом. Перед нею пустое пространство, где должен выступать каждый из приглашенных друзей.

Первым, как и было предусмотрено программой, шаг вперед сделал Олег и, словно поднявшись на крыльях, устремился по перекатам своих поэтических строк.

По сути дела, это был парафраз, работа по скандинавским источникам: эддическим сказаниям, исландским сагам. Поэма содержала более двадцати восьмистрочных строф.

Воодушевившись сам, Олег увлек стихами остальных. А когда закончил читать, Константин, в сомнении подойдя к холсту, сказал:

— Да, поэма, пожалуй, лучше моей работы. Не знаю, открывать ли...

Зря, конечно, он колебался. Наверное, хотел сделать хороший комплимент другу, воодушевить его... Картина произвела на юношей, живших в этом мире скандинавских сказаний, сильнейший эффект. Видимо, это было вызвано еще и тем, что никто подобного еще не видал...

Потом выступал Геннадий Пронин со своим философским трактатом и Кузнецов, завершивший оригинальное выступление фразой: «Эта работа превозмогает даже самый здравый смысл», чем немало развеселил и порадовал друзей. А дальше слушали музыку: Васильев сам выбирал и ставил какую-нибудь, соответствующую общему настрою, пластинку.

Такие встречи часто начинались с шутки, каламбуров, веселья. Но Васильев, словно опытный штурман, никогда не позволял своему экипажу плыть по произволу волн. Задача в конце концов ставилась такая: главное — рост, подъем вверх, чтобы после встречи друзьям легче было жить, творить, чтобы осталось, что вспомнить, на что ориентироваться.

В день рождения К. Васильева — 3 сентября 1968 года — Шорников прочитал стихотворение:

Ты грянь, художник, оземь головою
И, распростертый, никни ухом в пыль.
Ты видишь: вьется, вьется с бородою
Над нивами старик — Чернобобыль.

В его глазах огонь недобрый пляшет,
В руках сверкает серп и острый меч:
Кто серп увидит — мирно землю пашет,
Кто меч узрит — тот бранных жаждет встреч...

Смотри, смотри, художник, в небе синем,
Где видится мне старца лик седой,

Что видишь ты? — И отвечал Васильев:
«Мне виден воин с красной бородой!

Его венец сияет в выси горней,
У ног, на лоне облачных громад,
Могучий меч с секирою узорной
К ристанию готовые лежат.

Его дыханья громоносный гений
Небесным гимном полнит грудь мою,
Чрез океан веков и поколений
Мне боги древних руку подают!..»

Стихотворение отвечало тому духу, тем увлечениям, которые царили среди друзей.

Старец с красной бородой символизировал как бы язычника. В древних хрониках друзья находили описания славян и россов, которых, как правило, представляли рыжими. Об этом говорил, в частности, арабский путешественник Альмаджик, чья хроника попала в руки друзей.

Васильев и его товарищи увлеченно вели поиск архивных документов, собирали былины и народные предания, все глубже проникая в отечественную мифологию.

Особым увлечением друзей было их пристрастие к русской народной песне. Они выписывали, тщательно собирали пластинки с записями народных хоров — имени Пятницкого, Омского, Северного, Воронежского и других.

Сам Константин чрезвычайно любил наши народные песни. Он ставил их в один ряд с классической музыкой Бетховена, Моцарта, Баха, Вагнера. Ценил он и русских композиторов, в особенности Глинку и Чайковского, но гораздо выше почитал все же русскую народную музыку. Он считал, что это такие пласты, которых наши композиторы еще не затронули. Не было еще среди них того, кто бы это богатство, это золото поднял и с такой силой и мощью подал, как, скажем, Бетховен в своем творчестве. Васильев полагал, что русская музыка еще ждет своего композитора. Но от этого сам пласт, сама золотая порода не становится менее богатой.

Художник неустанно ищет возможности раскрыть глубину и силу чувств своего народа. И порой ему кажется, что он ощутил, интуитивно поймал зрительное выражение этих чувств и страстей. Иногда ему бывает достаточно одного какого-нибудь символа, чтобы развернуть в своем сознании, а потом и на полотне панораму событий, ушедших в далекие времена.

Так он написал и картину «У ворот».

Толчком для написания этой работы послужили старинные ворота, увиденные им во время двухдневных странствий его и Шорникова по марийским лесам. Это были резные дубовые ворота с богатым орнаментом и вязью: «1887 год». Старинные ворота художнику очень понравились, и он сказал другу:

— Конечно, надо сделать картину, где бы они «работали». Такой материал не должен пропадать: какие-то в этих воротах есть отложения духовного плана.

Созданная художником картина удивительна. Она, как никакая другая, характеризует уже зрелого Васильева. Здесь его отточен-

ная, филигранная техника, его совершенно безукоризненный вкус художника, удивительная декоративность, здесь символизм, который Васильев научился выделять в чистом виде, как квинтэссенцию, когда работал над картинами абстрактного плана. Здесь отразились и его археологические изыскания. Работа «У ворот», как и все его мифологические картины, воспринимается по мере углубления в нее как бы на трех уровнях. При первой встрече с ней видится что-то красивое и удивительно знакомое, родное, словно в памяти звучит голос предков. При более глубоком проникновении в суть картины понимаешь, что художник всеми найденными им средствами сумел сказать главное о героях, раскрыть их внутренний мир.

Когда-то, давным-давно, встретились у ворот этих двое влюбленных. Сильное волевое начало, неукротимый дух славянина как бы переносят зрителя в пору язычества — время бескомпромиссных страстей и юношества нашего народа. Необходимое настроение усиливается точно выбранными характеристиками-символами. Вилы, зажатые в руке, подкрепляют решительность юноши, а ворот его рубахи, выбившийся из-под тулупа, — это язык пламени, страстью объявшего душу.

И зритель понимает, что любовь в этом человеке зажжена не простой внешней красотой девушки, действующей мгновенно и за первым приливом которой все уходит, но теми чувствами и словами, что мы слышим в печальных песнях нашего народа, в греческой поэзии, в германских сказаниях и повсюду на всей земле, где искренне любят и страдают.

И все же главный герой на этом полотне не он, а она — девушка, чей внешне бесстрастный образ не только не оставляет равнодушными зрителей, но, напротив, пробуждает все новые мысли.

Васильев не любил экзальтированных людей. Он ценил в человеке спокойное, твердое состояние духа и поэтому считал неприличным выражать чувства и устремления своих героев, искажая для этого их лица мимикой. «Внешняя чувственность облика скоро наскучит», — говорил он. И, взяв за эталон красоты милый его сердцу образ девушки-славянки (иногда художник проводил параллель выбранного им образа с представлениями древних о классической красоте женского лика — с «греческой маской»), он каким-то одному ведомым способом добивается необычайно емкой передачи внутреннего мира героев, оставляя при этом на первый взгляд холодными их лики.

Именно так выписал художник и девушку в работе «У ворот». Проникнув на второй план картины, легко прочитать чувства и думы героини: борьбу обуявших ее страстей — неодолимой тяги, любви к этому красивому юноше и какого-то довлеющего над ней, неведомого нам долга.

В древности на Руси девушка была верна традициям семьи, рода и не могла поступиться ими. Женщину, как наиболее стойкую хранительницу традиций общества, и показал художник.

И срез неведомой прежде жизни появляется перед зрителем, который, общаясь с картиной, всякий раз словно перелистывает лучшие страницы народного мифотворчества.

Но, проникая на третий, самый глубокий план картины, понимаешь, что она не просто жанр, а нечто гораздо более сильное, именно потому, что здесь царит мощный символизм художника, поднимающийся над литературным сюжетом. Здесь встретились

не два человека, не парень с девушкой, а каких-то два бесконечных начала, две противоборствующие и в то же время взаимодополняющие и стремящиеся друг к другу стихии, два драматических фактора. И все побочное вдруг уходит, и остается восприятие одной высокой духовности как гармонии чувства и мысли, формы и содержания. Это то, что называют застывшей музыкой.

Интересно, что картина была написана как бы по мотивам русской народной песни «По улице мостовой». Песня сама по себе веселая, но, как и все русские народные песни, она обязательно имеет второй план, второй голос — голос каких-то невысказанных предчувствуемых страданий, предчувствуемой жертвы.

И вот эта предчувствуемая жертва, это сочетание в песнях веселого и в то же время трагического было близко и понятно Васильеву. Не случайно, конечно, он создал на песню «По улице мостовой» работу драматического содержания, показав столкновение стихийных драматических начал, характеров, судеб и предвидение жертвы, предвидение страдания. Но страдания не просто ради страдания, не рабского, а какого-то искупляющего, возвышающего людей страдания за других.

Даже удивительно, что в работе с таким незначительным на первый взгляд сюжетом, где очень велик вес декоративного орнаментального элемента, Васильеву удалось поднять столь сложные вопросы, столкнуть духовные пласты, две великие субстанции. Это наиболее емкая работа, наиболее характерная для художника.

По своему философскому содержанию многие картины Васильева наличием второго, незримого плана созвучны с мыслями Ф. М. Достоевского. Великий писатель в жизни художника занимал особое место и, может быть, подспудно воздействовал на его становление. Интерес к творчеству Федора Михайловича Достоевского проявился у Константина Васильева еще в школе-интернате под влиянием Анатолия Максимова, который в поисках смысла жизни читал произведения философского плана и, конечно, не мог обойти работы Достоевского. Тогда однокашники впервые познакомились с романом «Преступление и наказание».

Во время учебы в Казани Васильев уже знал и ценил писателя, пытался осмысливать и выражать его идеи в красках. Первую работу этого плана он написал в тот период, когда, расставшись с импрессионизмом, стал рисовать беспредметные композиции. Художник выполнил одну из них тушью и карандашом на ватмане.

Это были формально красивые изображения неизвестных предметов, отдаленно напоминающие человеческие фигуры и какие-то повисшие между ними символы, ассоциирующиеся с вопросом. Работа напоминала застывшее мгновение сна в тот самый момент, когда видоизменяются и растекаются формы, когда сновидения сменяются одно другим, наслаиваются, происходят какие-то фантастические совмещения совершенно нелогичных вещей.

Это была иллюстрация к роману «Преступление и наказание», та сцена, где Раскольников читает Соне страницы Евангелия.

К удивлению друзей, Васильев показал им на картине, где Раскольников, а где — Соня. Оказалось, они там изображены. Существовало в этой композиции и пространство, и расстановка

фигур, но все это очень условно, конечно, все как бы в полусне. Художником была сделана попытка воссоздать нереальность обстановки. Мы ее, кстати, ощущаем и у Достоевского. У него эти страницы очень фантастичны.

Для Васильева история его любви и особой привязанности к романам Достоевского начинается именно с того момента, когда он ощутил глубокий символизм писателя. Каждая фраза Федора Михайловича воспринимается не просто как обозначение данного действия, а обязательно привязана невидимыми нитями к тому высшему смыслу, которым писатель руководствуется. Достоевский все время стремится показать, что любовь — это непременно страдания, искупляющая жертва, это — раскрытие злого начала, разрушение его опор.

Однажды открыв для себя великого писателя, Васильев много раз перечитывал его романы. И что удивительно, все двадцать лет напряженной творческой жизни художника, когда он мучился, колебался, круто менял направления поиска, Достоевский был ему родствен, близок.

Шутя, он говорил друзьям: «Когда я стоял на голове...», имея в виду период модернистских исканий. Но и после того, как он стал на ноги, Достоевский оставался по-прежнему его любимым писателем. А под конец своей жизни художник знал Достоевского великолепно, цитировал наизусть многие страницы его романов, отдавая все же особое предпочтение «Бесам».

У Гоголя Константин встретил одну полюбившуюся ему фразу, сказанную, правда, в несколько шутливой гоголевской манере: «Вот этот человек баба, а этот человек небаба», и «человек небаба» стал обобщенным выражением симпатичного художнику типа людей. Мужество и интеллектуальное начало были у него чрезвычайно развиты. Он мог в глаза смотреть такой правде, что ее не всякий выдержит. Именно благодаря этому он вовремя умел отречься от того, что прежде казалось ему незыблемым, если к этому подтолкнула глубокая работа мысли.

И в Достоевском он ощущал его непреклонную мужественность. Главная идея писателя — любовь. Но это у него звучит не расслабленно или вяло. А напротив — мужественно, сильно.

Импульсом для написания первой карандашной портретной работы Достоевского послужила копия с фотографии Федора Михайловича, принесенная кем-то из друзей Константина. Это была открытка прошлого века — дагерротип, как тогда ее называли. Дагерротип сохранил очень мало от лица писателя: фотография была затерта. Но внешний антураж сохранился — пиджак, даже его пуговицы, сама фигура, форма головы. И художник горячо взялся за работу.

Первая проба оказалась удачной: мягкое выражение лица, необычной глубины взгляд — все создавало образ великого писателя. Специалисты, видевшие портрет на выставке в городе Зеленодольске, дали ему высокую оценку, хотя сам Константин Алексеевич не был удовлетворен работой.

Вскоре Васильев получает письмо такого содержания:

«Тов. Васильев!

Пишет Вам директор Литературно-мемориального музея Ф. М. Достоевского г. Семипалатинска.

От 27 мая 1973 года о Вас была помещена заметка в газете

«Советская Татария», которую мы получили и из нее узнали о Вас.

Очень хотелось бы познакомиться с Вашими работами к книгам Достоевского и кое-что приобрести для музея.

Думаю, что Вы не откажете в нашей просьбе и сообщите, чем Вы располагаете.

Наш адрес...

Христофорова М. П.».

Константина увлекло предложение, совпавшее с его собственным желанием продолжить работу над воплощением образа Достоевского. Ответственность перед собой определила серьезность, с которой художник подходил к работе над картиной. Он собрал почти все известные фотографии писателя и воспоминания о нем, содержащие описания внешности и характера. Стремясь достичь подлинности во всем, Васильев интересуется личными вещами писателя, обстановкой его кабинета.

Правда, порой у него возникала мысль: «А можно ли вообще писать портрет давно умершего человека, которого никогда не видел воочию?» И, поразмыслив, давал себе ответ, разъясняя задачу портретиста: «Художник может ограничиться передачей черт, выражением лица, отражающего душевное состояние человека в данный момент, но даст ли такой портрет полное представление о личности человека, если не передать его внутренней сущности, того главного, что определяет эту личность. У писателя все главное и лучшее, составляющее стержень его личности, заключено в книгах, читая которые мы узнаем об их авторе больше, чем просто встречаясь с ним. Чтобы раскрыть личность человека, недостаточно быть просто знакомым с ним, часто его видеть — нужно его п о н и м а т ь».

И действительно, читая воспоминания современников о Достоевском, Константин встречал совершенно разные, порой противоположные, его описания, где под влиянием личной или идейной вражды, нежелания или неспособности взглянуть достаточно глубоко авторы видели и выделяли лишь второстепенные, неважные черты.

«Многим ли современникам писателя, — продолжал он размышлять, — хватило зоркости, чтобы увидеть главное в его личности — постоянное горение духа в поисках истины? И не видим ли мы с годами, на отдалении эту внутреннюю сущность яснее и отчетливее, чем многие, жившие рядом с ним?»

И, выйдя победителем в своем внутреннем споре, Васильев с еще большей решимостью брался за кисть.

Достоевский на портрете изображен не углубленным в самосозерцание — в нем чувствуется сила и уверенность, которую дает писателю сознание нравственной правды его идеалов. Видна трудная и напряженная работа мысли, и в то же время взгляд писателя устремлен на нас, как будто он думает о том, поймем ли мы все, что он хотел сказать, и поверим ли ему, и как высказать на этом, лежащем перед ним на столе неисписанном листе бумаги и передать людям свое понимание истины. Перед Федором Михайловичем стоит горящая свеча, про которую сам художник однажды сказал: «Это же не просто свеча — это светоч!» Светоч идеалов Достоевского, его духа, горящий на мглистом, сумеречном фоне, окружающем писателя. Но если бы художник сделал портрет

только отвлеченно-символическим, он лишил бы его убедительности. Символ мысли писателя, выражение лица, отражающего духовную силу и уверенность, подчеркнуто реалистическое изображение внешности писателя с рыжеватой бородой и крупными руками — все это объединено в картине в единое целое и придает портрету правдивость...

Испытывая обостренное чувство истории, судьбы народа, Васильев не мог обойти в своем творчестве военную, героическую тему. Он много работал в этом направлении, опираясь на всевозможную литературу, посвященную войне. Одной из своих настольных книг считал «Нюрнбергский процесс». Нужные сведения художник черпал также из воспоминаний родителей. Его отец был участником трех войн и не раз образно передавал сыну осевшие в памяти впечатления. Да и самому Константину довелось, хотя и неосознанно, испытать превратности военного положения.

В 1943 году в Майкопе, где семья находилась в оккупации, его, в то время грудного младенца и мать, — Клавдию Парменовну доставили в гестапо как членов семьи партизана: Алексей Алексеевич действительно был одним из активнейших бойцов отряда. И только счастливое освобождение города советскими войсками, последовавшее вскоре после их ареста, спасло жизнь Константину и его матери.

Все это служило дополнительной питающей средой, которая вдохновляла воображение художника. Поднятая им тема войны носит окраску патриотического романтизма, полного глубочайшей веры в жизнь, в торжество добра и света.

Одна из работ этой серии, принадлежащая теперь Казанской художественной галерее, носит название «Парад 41-го». При всей простоте этой, казалось бы, не новой композиции — воины прямо с парада уходят на фронт — художник находит свойственное ему оригинальное решение.

Прежде всего взят необычный ракурс. Зритель смотрит на происходящее как бы со стен храма Василия Блаженного, поверх памятника Минину и Пожарскому, нарочно увеличенному в размерах и доминирующему на холсте. И сразу же возникают два символических плана.

Первый план — формального узнавания. Мы видим ритмические серо-стальные колонны солдат и невольно чувствуем драматично-напряженную атмосферу исторического события. В то же самое время фигуры русских граждан Минина и Пожарского, изображенные в античных тогах, сразу дают нам другой мощный духовный план — бесконечности, неистребимости народа, вызывая исторические ассоциации с нашими пращурами. Эти герои отечественной истории словно благословляют на подвиг новых героев.

Есть к этой картине парная работа — «Нашествие», прекрасно дополняющая и развивающая единую мифологическую основу их общего сюжета. Художник долго вынашивал замысел картины и не один раз переписывал начатое. Первоначально это была многофигурная композиция с изображением отчаянной битвы между тевтонами и славянами. Но, постепенно сфокусировав главную идею и переведя конфликт в план духовно-символический, Васильев упраздняет батальные сцены, заменяя их как бы

двумя сконцентрированными духовно противоборствующими силами.

На холсте остаются лишь два символа. С одной стороны, стоит разрушенный остов Успенского собора Киево-Печерской лавры с немногими сохранившимися на нем ликами святых, которые поют сомкнутыми устами не слышимые нами, но какие-то грозные гимны. А с другой — мимо проходит, извиваясь змеей и размеренно чеканя шаг, железная колонна разрушителей.

Обе картины выполнены в монохроматических тонах. Это создает необходимое единство философского замысла и технического решения картины, чем еще более усиливается звучание образов и достигается удивительная гармония произведения.

Создавая военную серию, Васильев не боялся реализовывать свои самые смелые задумки. Одной из них была идея написать работы на темы любимых военных маршей. Художник считал, что наши старинные марши в исполнении духовых оркестров — это еще один духовный срез с мощного пласта отечественной культуры.

И вот из-под его кисти одна за другой выходят работы «Прощание славянки» и «Тоска по Родине». Писал он их под соответствующее музыкальное сопровождение, на больших холстах — до двух метров в длину каждый. Для Васильева, всегда крайне ограниченного в средствах, такая непозволительная роскошь была редким исключением. Но, очевидно, творческий замысел и его реализация потребовали от художника именно такого решения. Чувство гармонии никогда не отказывало ему: зритель невольно воспринимает мощные звуки духовых оркестров, которые, словно волшебные флюиды, свободно растекаются по всей площади картин.

Каждая из этих реалистических работ имеет неожиданное и, как нам теперь представляется, единственно возможное композиционное решение. Однако художник, чрезвычайно требовательный к себе, посчитал необходимым усилить символическое звучание «Прощания славянки». Положив с этой целью картину на отмочку, чтобы освободить холст от краски, он, к сожалению, не успел написать новый вариант. Поэтому, извлеченный из воды уже после гибели Васильева, холст значительно пострадал. Но даже в этом своем качестве работа производит сильное эмоциональное воздействие на зрителя.

Особое место в серии военных работ художника занимает портрет Маршала Советского Союза Г. К. Жукова.

Как-то Васильев, процитировав друзьям Пушкина: «У русского царя в чертогах есть палата, она не золотом, не серебром богата...», с какой-то горечью заметил:

— А в палате ведь той висели портреты героев Отечественной войны 1812 года. Жаль, что сегодня у нашего народа нет собранных портретов героев новой Отечественной войны.

И Васильев, вынашивая большие и дерзкие планы, задумал создать подобную галерею из образов тех полководцев, кто, ведя за собой народ, прославил силу русского оружия. Такой мощный цикл работ требовалось связать единым художественным решением. Васильев долго обдумывал, искал ту единственную форму подачи, в которую должны вылиться портреты, чтобы как можно интенсивнее, энергичнее донести зрителю свою мысль, поразить его и призвать к какому-то служению.

Художник остановил свой выбор на традиции парадного портрета, столь распространенной в XIX веке, но благополучно забытой нашими живописцами. Зная, что на традицию эту навешан ярлык «высокопарный дух», что она обругана и всячески уязвлена, художник не побоялся все же перешагнуть запретный рубеж.

В его понимании определенная условность и помпезность парадного портрета совершенно необходимы при описании столь грандиозного подвига. Ведь даже символика обычного военного парадного оркестра помпезна. У портретов людей, овеянных легендарной славой, зритель должен испытывать духовный подъем, взлет своих устремлений.

И Васильев со всем тактом, не злоупотребляя дозволенными художественными средствами этого направления, начал задуманную серию.

Картина предельно символична. На переднем плане — легендарный маршал, попирающий штандарты и знамена гитлеровского рейха. Наброшенная на плечи маршала шинель подобна крыльям, взметнувшим этого человека к славе. А дальше, в глубине, оживает сама история: на фоне прокопченного российского неба, мятущегося и грозного, остовы домов разрушенного Сталинграда. Но близок очищающий огонь возмездия: языки его пламени, поднявшиеся за спиной маршала, уже разгоняют скверну. И мы видим, как откуда-то из поднебесья, сквозь легкую дымку облаков идут колонны русского воинства.

Вся эта мощная символика подчинена одному стремлению — передать ту страшную, трагическую и в то же время великую эпоху, которую пережил наш народ, способный в лихую годину выдвигать из своих рядов непобедимых полководцев.

В этой во многом смелой, новаторской работе, во всем строе ее художественного языка ощущается не только могучее воздействие народного мифотворчества, но видна и школа великих мастеров живописи. Здесь и филигранная техника, и удивительное чувство цвета, и целый арсенал разнообразных технических приемов и средств, используемых художником.

Портрет маршала Жукова показал, какие неисчерпаемые возможности таит в себе могучая сила реализма, способная создавать необыкновенно емкую художественную форму.

Тема Великой Отечественной войны не раз порождала романтические взлеты в советском реалистическом искусстве. Но у Васильева и сам выбор темы определен его внутренним духовным устремлением. Романтика заложена в самой природе этого человека, в его художественной интуиции.

Постоянно совершенствуя и одухотворяя свои художественные образы, стремясь к их обобщениям, Васильев в портрете Жукова выходит на новый качественный уровень, он словно подходит к определенному центру, делает попытку высказать какую-то главную, мучительную мысль. В картине окончательно выражена основная идея автора: борьба за сильного и красивого человека, честного в бою и верного в любви.

Художник не случайно выводит внутреннюю борьбу человеческих страстей на бранное поле, бросает в пламя войны. Война — время, когда четко поляризуются характеры. Война — место, где чистые и светлые силы безропотно идут на смерть во имя Родины, а всякая нечисть прячется или мародерствует. Героическое у Васильева всегда перемешано с трагическим, его герои часто

гибнут, но всегда нравственно побеждают. Сталкивая антиподы в бескомпромиссной ситуации, художник призывает нас и в обыденной, не столь напряженной обстановке сохранять чистоту устремлений, не приглушать свечение своей души.

И, бросая взгляд в будущее с верою в гармоничного человека, Васильев пишет свою последнюю работу «Человек с филином», ставшую вершиной философского обобщения в решаемой художником теме.

Это сложный символ-образ человека, вышедшего из народной среды и вобравшего в себя все лучшие его черты. Реалистическую сюжетную композицию пронизывает разнообразная, но не схоластическая символика, идущая от сердца, от души человеческой.

Васильев, как никто другой, показал, насколько важен символизм в реалистических работах. Теперь люди буквально штурмуют все выставки его работ. И это не только потому, что в его картинах видна филигранная, отточенная техника, что можно в конце концов найти и у других мастеров, а именно потому, что в работах Васильева глубокие слои символизма высшего порядка. Это не тот условный, притянутый символизм, который нужно разгадывать, как ребус, что характерно, например, для мастеров северного Ренессанса периода XV—XVI веков, где изображения представляли узаконенную систему символов: туфли, выдвинутые на передний план картины, должны были олицетворять преданность супругов, а собачка — уют домашнего очага и так далее. Под символизмом сам Васильев понимал художественные образы, которые пробуждают духовный план. Скажем, зритель видит ворота, но они не есть только ворота, поскольку порождают целый комплекс сопутствующих переживаний. Они как экран, на который проецируются драматические события жизни сменяющихся поколений.

В картине «Человек с филином» есть сгорающий свиток с псевдонимом художника — Константин Великоросс и датой, ставшей годом его смерти — 1976; есть светоч, который Человек несет в руке, плеть, прозорливая птица, сомкнувшийся земной круг, нарочито сдвинутый, — все это символы. Сам художник не занимался специальным их подбором, они рождались у него подспудно при создании образов. Несмотря на всю свою железную логику, он работал интуитивно, воспринимал требуемую ему информацию неведомым нам чувством. И внешне, например, за светочем Васильева ничто не зашифровано. Это как бы самодовлеющий символ, проникающий в душу непосредственно, без логического осмысления. Так же, как и плеть, и дубок, и все, что создает картину, рождает мощный духовный образ «Человека с филином».

Художник завершил эту работу за несколько дней до трагической гибели. Он не успел даже устроить с друзьями торжественного открытия картины, поделиться о ней своими мыслями. Единственное, что Васильев сказал своей матери, когда, сделав последний мазок, отложил в сторону кисть, были слова: «Теперь я знаю, как нужно писать...»

Но судьба, так часто злая извне к великим людям, всегда бережно обходится с тем, что есть в них внутреннего, глубокого и задушевного. Мысль, которой предстоит жизнь, не умирает с но-

сителями своими, даже когда смерть застигает их неожиданно и случайно. И художник будет жить, пока живы его картины.

Можно смело сказать, что Константин Алексеевич Васильев разрабатывал свою целину в живописи. Он приоткрыл творческое направление, позволяющее художнику идти по пути реалистического искусства и создавать живописные полотна, активно воздействующие на зрителя, дающие богатую пищу уму и сердцу.

Сегодня мы видим, какое разнообразие характеров — угрюмых, светлых, исполненных практической заботы или тонкой поэзии — создано художником. Всматриваясь в черты этих героев, живые и индивидуальные, лучше начинаем понимать свою историю, самих себя, всю окружающую жизнь. И словно лучик света, посланный из какого-то неведомого мира, освещает наши души. На время мы забываем свои мысли, желания и внимательно присматриваемся к этому лучу. Образы, знакомые раньше только снаружи, высвечиваются, и кажется, будто мы видим бьющиеся в них сердца.

Среди всей мудрости, которую мы впитываем в себя, пребывая на высоте своих устоявшихся понятий, вдруг останавливаемся и спрашиваем: а так ли чист наш внутренний мир, так ли тепло в нас сердце, как в тех людях, созданных художником, которых мы лишь раз увидели, но навсегда запомнили...

Третьего сентября этого года Константину Алексеевичу Васильеву исполнилось бы ровно сорок лет. Но случилось так, что в день открытия в городе Зеленодольске его первой персональной выставки — 29 октября 1976 года — жизнь художника оборвалась.

Спустя год газета «Социалистическая индустрия», знакомя читателей с самобытным творчеством художника, сообщила, что он погиб якобы от удара каким-то деревянным брусом, выступавшим за габариты проходившего мимо поезда. А в журнале «Культура и жизнь» (1979, № 7) кинорежиссер Леонид Кристи (автор фильма о художнике «Васильев из Васильева») написал, что Константин Алексеевич, возвращаясь с выставки домой, просто не услышал настигавшего его поезда. Высказывались и другие предположения об обстоятельствах гибели. Однако ни одно из них нельзя признать единственно верным. Да и можно ли восстановить детали этой трагедии, если даже мать художника узнала о смерти сына только на третий день после случившегося? Как бы то ни было, смерть эта потрясла многих.

Жизненный путь художника измеряется не прожитыми годами, а оставленным им творческим наследием. И оно у Васильева внушительно — 400 графических и живописных работ!

Около тридцати раз по инициативе Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры в Москве и Подмосковье открывались посмертные выставки этого мастера. Примерно столько же публикаций о нем прошло в центральной прессе. Кроме того, издательство «Правда» дважды (в 1980 и 1981 гг.) выпустило наборы открыток «Константин Васильев», а издательство «Изобразительное искусство» выпускает открытки цикла «Русь былинная». Огромным успехом в стране пользуется документальный фильм о талантливом живописце.

Теперь уже не только москвичи, но и гости из многих других городов едут специально для того, чтобы отыскать очередную выставку его картин и приобщиться к прекрасному. Целые тома, собранные из книг-отзывов о художнике, хранят их взволнованные записи.

«Я потрясена. Какой талант! Какая сила! Хотелось бы увидеть и остальные работы этого мастера, и чтобы их увидели мои земляки-астраханцы. Инженер Г. А. Кушилова, г. Астрахань».

«Работы К. Васильева будят много мыслей и чувств, и только хороших, чистых. У него особенный и, если можно так выразиться, высокий дар видения. Тибрина Л. И., художник, г. Норильск».

«Поражены открытием великого художника, которого до сих пор не знали. Восхищены его творчеством, картинами, необычной и очень привлекательной манерой письма, яркими красками. Бесспорно, это незаурядный талант: самобытный и редкий. Нельзя без восторга душевного и потрясения смотреть его картины. Сожалеем, что до сих пор он продолжает оставаться неизвестным для многих людей. Считаем необходимым выставку художника Васильева сделать достоянием всего народа. Заведующие отделами культуры Челябинской, Курганской, Свердловской и Оренбургской областей — слушатели курсов повышения квалификации при Министерстве культуры РСФСР».

«Я никогда не видела ничего прекраснее! Когда смотрела, то слезы навертывались на глаза. Такое чудо можно увидеть раз в жизни и поверить в него бескорыстно. Это настоящий большой художник. Его чистота и ощущение красоты Родины так необходимы нам в нашей суете и порой в неумении видеть прекрасное. Я пишу и слышу: «Поразительно...» Товарищи! Но почему же эту красоту видят немногие. Она же нужна людям как воздух, как сама жизнь! Ирина Коваленко, студентка МГУ».

«Невозможно уйти, не высказав того, что переполняет нас после встречи с картинами Васильева. Выразить свои чувства можно, наверное, музыкой; его картины и есть музыка, которая звучит в душе. Почему мы раньше не слышали и не видели этих картин? Кто в этом виноват?! Нас очень беспокоит их будущее. Картины должны видеть не только мы и наше поколение. Сохраните их! Сотрудники КБ, г. Подольск».

«Это великолепно и прекрасно, что мы, русские, имеем такие картины. Их можно смотреть десятки раз. Необходимо сохранить их для будущих поколений! П. Коваленко, инженер».

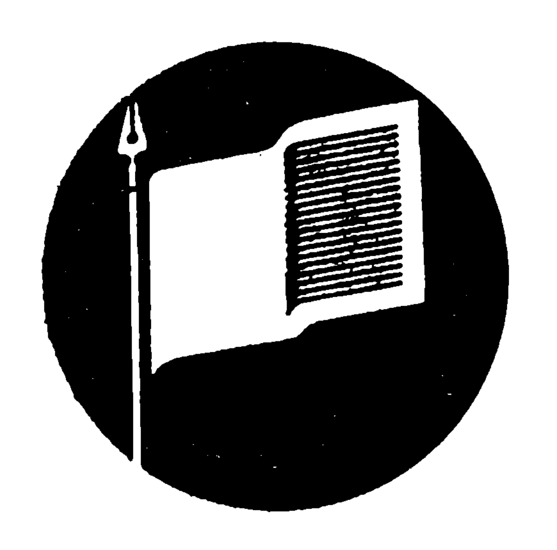
«Уверены, что Третьяков не упустил бы таких картин. Зеленоградцы».

«Изумительная выставка. Просто чудо! И больно смотреть, что такие картины портятся, а никому нет дела. Или у нас в стране нет реставраторов? Поселок Протвино, рабочий».

Подобные высокие оценки и глубокая озабоченность звучат и в сотнях других отзывов. С полной уверенностью можно признать — советские люди искренне полюбили и приняли всем сердцем творческое наследие художника. Время настоятельно требует собрать все разбросанные по стране картины Васильева в одну экспозицию и передать это народное достояние в руки специалистов: музейных работников, реставраторов.

Думается, что Министерство культуры СССР, Академия художеств СССР, Союз художников СССР и другие заинтересованные организации примут наконец безотлагательные меры для спасения картин художника-патриота. Найти для этой цели средства, постоянное выставочное помещение в Москве или другом городе — задача вполне реальная и патриотичная.

●



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

РУБЕЖИ ТВОРЧЕСКОЙ ЗРЕЛОСТИ

В. ЧАЛМАЕВ

«ВСЕМУ — НЕ ИЗДАЛИ УЧАСЬ...»

О ПРОЗЕ ЮРИЯ БОРОДКИНА

Мне славы тлен — без интереса
И власти мелочная страсть.
Но мне от утреннего леса
Нужна своя на свете часть...
И от беды и от победы
Любой людской — нужна мне часть,
Чтоб все узнать и все изведать,
Всему — не издали учась...

А. Твардовский. О сущем

Давно замечено: писатели, чье детство и юность прошли в русской деревне 30—40-х годов, оказались в современном литературном процессе неожиданными счастливцами. Они — как последнее поколение, выросшее в традиционной деревне, ныне уходящей в прошлое или стремительно обновляемой, — стали обладателями духовных богатств, слуховых и зрительных впечатлений, попросту недосягаемых для других. Лишения и утраты суровых военных и послевоенных лет, даже тяжесть былого деревенского труда — чаще всего ручного, безмашинного — как-то «улетучились», перестали быть острым, тревожащим ощущением. Утраты, которых немало было в деревне, как и в городе, смягчились, «сработались» в сердце

и памяти. Зато обнаружилась — творчество М. Алексеева («Карюха» и «Драчуны»), Е. Носова («Усвятские шлемоносцы»), И. Акулова («Касьян Остудный»), П. Проскурина («Судьба») убеждает в этом — редкая прочность устойчивых подробностей вещественного мира, удивительный «слух» на словесный жест, обилие невымышленных сюжетов, людских судеб, наконец, не созерцательная, не прогулочная близость к природе.

А слово? Читая сейчас «Лад» Василия Белова, книгу об эстетике быта традиционной северной деревни, о работах, ремеслах и обрядах, вслушиваясь в названия предметов, признаешь правоту Гоголя: «Дивишься драгоценности нашего языка: что ни звук, то и подарок; все зернисто, крупно, как сам жемчуг, и, право, иное название еще драгоценней самой вещи...»

Действительно, когда вступаешь в мир северной русской деревни, в безмолвные просторы лесов под неярким архангельским или зауральским небом, в мир героев романа «Касьян Остудный» И. Акулова или в крестьянскую семью Пряслиных («Пряслины» Ф. Абрамова), то сразу ощущаешь не игрушечность, а «всамделишность» среды, весомость подробностей, «реалий», по-ученому говоря, жизни. Никакого распыления плоти мира, дематериализации его! Видишь властное вмешательство народного трудового опыта, природы и нравственных традиций в «облик», место каждой вещи. Писатели заново открывали и для себя эту страну своего детства, изумлялись творящей силе памяти. Благодарной — по отношению к отцам и дедам — памяти...

* * *

Юрий Бородкин родился в Горьком, но детство и юность его прошли на костромской земле под древним Кологривом. Здесь, на земле Ивана Сусанина, где сбереглись русские былины и сказки, где почти симфоническое звучание получали под топорами плотников — в сложном сплетении резных карнизов изб — благороднейшие порывы людей, он незаметно для самого себя в раннем детстве начал осознавать себя частицей, пусть малой, целого уклада трудовой жизни. Того уклада, в котором была своя «нарядная» сторона, где звучала бессловесная музыка многих возвышенных настроений. Свой «лад», то есть гармоничный жизнеоборот, царил и здесь, определяя сумму впечатлений, возраставшую тяжесть жизненной ноши детей.

Был и у Юрия Бородкина свой «Бежин луг», как уголок природы, где дышала именно душа, где присутствовала здоровая таинственность, а красота природы жила вовсе не как туристское пряное лакомство... Много лет спустя он с чудесной отчетливостью — как хороши эти добротные картины! — оживит вновь одну из таких ночевок в лугах:

«Что могло быть удивительнее ночевок в лугах, у костра! Лошади стригут и стригут неутомимо траву, пофыркивают, отгоняя комаров; молодые иногда проскачут друг за дружкой галопом, и топот их копыт как-то по-особому глухо и таинственно отдается в ночи. Лыска подойдет к костру, коснется бархатисто-мягкими губами плеча и ждет, когда ей почешешь шею. И кажется, она слушает, о чем говорят люди, и все понимает, наблюдая за ними неподвижным лиловым глазом, в котором пляшет огонь.

С высокого берега видно, как посреди омута бесшумно плеснет рыба и мелкие круги разойдутся по гладкой с розовым подсветом воде. Заря медленно идет краем неба и, не успев погаснуть, снова разгорается, и все четче пропечатываются темные силуэты лошадей, прошлогодние стожары, окоем леса».

Жизнь далеко уводила Юрия Бородкина от этих костров детства, от светлых северных речек, от родного Заволжья. Но у этих впечатлений, а особенно у картин военных лет — к ним Юрий Бородкин обратился позднее всего, — была удивительная сила всхожести... Исчезали многие деревушки, снесенные часто с излишней поспешностью, как «неперспективные», от самих лошадей остались лишь клички, написанные над стойлами старых конюшен... Но в памяти ничто не умерло. И книги Юрия Бородкина «Лесной колодец», «Санькино лето», «Запретная любовь», созданные после службы в армии, после учебы в Литературном институте, часто в творческой лаборатории замечательного мастера русской прозы Василия Смирнова (ярославца, старшего друга, наставника молодого прозаика), раскрыли в их авторе отлично развитый и, как говорят живописцы, «воспитанный» глаз, раскрыли свою обширную даль памяти. Известно, что в мире нет бесцветных предметов и «цвет заключен в каждой молекуле жизни» (К. Коровин). И в каждой будничной подробности деревенской жизни, в каждой ситуации детских игр и трудов — Юрий Бородкин много писал и для детей! — вдумчивый читатель обнаруживал богатство цветовых оттенков, звучность хорошо взятых аккордов, всю стыдливо-сдержанную любовь его к человеку.

Поначалу это были эскизы, лирические зарисовки, жанровые сцены... Жизнь дробилась перед ним, как речной поток на перекате, на массу вскипающих и бурлящих струек. «Сплетать» воедино многие судьбы, жизненные решения, всю житейскую толкотню писатель еще не мог.

Грустновато-смешная ситуация на первый взгляд в рассказе «Свадьба». Герой его, старый деревенский житель Степан Громов, хочет женить сына по всем правилам былых времен — и прежде всего с выездом на лошадях (он их и добывает с великим трудом), с «песельницами», с чуть-чуть пышноватым разгулом. Звучат частушки, стонет пол в избе под ногами пляшущих, Степан сам порой чувствует: «Ах ты, мать честная! Нахлынуло, защемило в горле. Что-то дорогое, полузабытое растревожила песня, напомнила о далекой молодости».

Но многих — даже «песельниц», а тем более молодых — не покидает ощущение: а не зря ли все затеяно, не впустую ли все? Молодые томятся этим старомодным излишеством, они совсем не знают, как такими радостями радоваться: необходимая для этого наивность и бескорыстность души утрачена, доверия к этому «наряду» жизни нет... «Иные времена — иные нравы»... И лошадей им не нужно — хлопотно с ними, в диковинку все это, — и сам-то еще крепкий родительский дом, но стоящий вне центральной усадьбы, как бы чужой им уже наполовину.

Но мысль рассказа все-таки не сводится к простому выводу: «Не буди того, что отмечталось...» В этих бубенцах, кошевках, свахах, припевках, во всем былом праздничном «узоре» на человеческих отношениях, на жизнеобороте застыл, окаменел прекрасный порыв. Человек, особенно в юности, не был покинут на самого себя, его «подпирал» весь трудовой и жизненный опыт дру-

гих. И пусть мы еще не знаем, как сейчас выдумать нечто равноценное, а может быть, и лучшее, но отрадно уже само стремление сделать небудничным это редкое мгновение в судьбе двух людей.

Интересны рассказы «Молчановские старики», «Сыновья», «Анна», «Плотина», в которых Юрий Бородкин как будто малыми шагами восходил к будущему роману. «Дроби» жизненного процесса словно слагались в нечто единое, рассказы становились фрагментами чего-то цельного.

Два героя, вечно ворчавшие друг на друга, ссорившиеся, явились в рассказе «Молчановские старики» — Семен Данилов и Дмитрий Косоуров. «Шлея» то и дело под хвост попадала обоим, и зло ругались они из-за сена, дров... Но едва тяжело заболел один из них, как нешуточная тревога сдавила сердце другого... «Не осиротею ли и я, если умрет «враг-сосед», в сущности, частица меня самого?» Это, конечно, отголосок стихий романа, может быть неосознанно зревшего в писателе.

Эпическое по смыслу состояние — связать воедино прошедшее и настоящее, опыт отцов и стремления детей — воцаряется на миг и в героине рассказа «Сыновья» — Степановне. Сыновья, вышедшие на старый покос, как кажется ей, невольно встают в один ряд родных и безымянных косцов, пахарей, радетелей земли. Она «выходит» из пределов видимого, вступает в мир бесконечного... На миг она видит не Шурку и Николая, не покойного мужа своего, их отца, а иное единство, иную общность — народ. И сами словесные краски в рассказе «не акварель», не зыбкие полутона эскизов, а прочная, невыцветающая живопись. Вновь все богатство зрительных и случайных впечатлений традиционной деревни «распечатано» для читателя:

«Вздрагивают и никнут под косами зонтики хрусткого дягиля. Застывшими волнами кажутся валки скошенной травы, еще не сомлевшей под зноем. Комарье начинает прятаться в лес, а на смену ему появляются слепни. Солнышко, как детский шар, всплывает все выше. Где-то в тенетах его лучей бьется невидимый жаворонок»...

Роман «Кологривский волок» (1976—1981) — рубеж подлинной зрелости Юрия Бородкина — начинался с повести такого же названия. В годы создания его он вновь, с иной высоты, оглянулся и на свое детство военных лет, оглянулся и впервые уловил множество таких человеческих взаимосвязей, которые раньше как бы не замечал. И самое главное — он решил для себя серьезнейшую проблему, выдвинутую временем, его непрерывным движением: как сочетать впечатления детских лет с их непосредственностью и узостью, с безошибочным ощущением шагов истории, с общими истинами. «Распечатывать» быт, множить зарисовки трудов и свадеб — это не значит еще писать роман. Роман требует не только накопления числа картин и героев, но и своевременного «устранения» одних героев с авансцены и выдвижения других. Он кропотлив, жаден до подробностей, но он же тяготеет и к «глобальности», то есть к выражению решающих закономерностей эпохи. Но к выражению отнюдь не в форме «вещаний» от автора. Наконец, для романа маловато одной ностальгии по ушедшему — все живое устремлено в будущее, ностальгия же, созерцательство, безусловно, остановка жизненного процесса.

«Последний поклон», «Последний срок», «Прощание с Матерой»

и т. п. — эта тема прощаний, расставаний, сердечных вздохов у кладбищенской ограды, погружения в мир душевной жизни стариков и возрождения духа отлетевшей жизни таит в себе и обжигающую радость открытий, и все опасности своеобразного вакуума, тупика.

Когда-то И. А. Бунин, глядя на столетнего деревенского старца Таганка, думая о целом мире воспоминаний, живущих в его душе, испытывал сложное чувство: «Часто охватывает страх и боль, что вот-вот разобьет смерть этот драгоценный сосуд огромного прошлого. Хочется поглубже заглянуть в этот сосуд, узнать все его тайны и сокровища. Но он пуст, пуст! Мысли, воспоминания Таганка так поразительно просты, так несложны, что порою теряешься: человек ли перед тобою?» («Древний человек».)

Нет ли вообще искусственной остановки жизни в элегиях о Севере, о счастье кроткого и тихого труда на уровне ремесла в уснувших среди тишины деревнях? Порой получается, что высокие нравственные качества оживляются как бы... вне истории, в герметичном пространстве! И состыковать ту же «нежность грустную русской души» иных героев Василия Белова с государственным разумом, с современным гражданским жизнеощущением практически невозможно... Нет в нем «присадки» железа, гражданской отваги и мужества.

Что рассмотрел Юрий Бородкин заново, при свете военного зарева в знакомом ему мире?

В 1941 году А. Н. Толстой — а враг в ту осень был у стен Москвы — писал:

«Родина — это движение народа по своей земле из глубин веков к желанному будущему, в которое он верит и создает своими руками для себя и своих поколений. Это — вечно отмирающий и вечно рождающийся поток людей, несущих свой язык, свою духовную и материальную культуру и непоколебимую веру в законность и неразрушимость своего места на земле».

Далеко была от фронта костромская земля, Заволжье. Но и здесь сердца всех невольно содрогались при вести о зверствах фашизма, уничтожавшего миллионы людей...

Первые главы романа... Тревожные весенние дни в обезлюдевшей, вынесшей многое северной деревне. Износившиеся трактора ломаются и застывают грудой холодного металла среди поля. Вести с фронта — радостные и часто мучительные, бросающие в отчаяние, в слезы, — приносимые почтальоном. Сергей Карпухин, семнадцатилетний крестьянский парень из села Шумилина, главный герой романа, вернулся в один из таких дней домой с лесосплава — действие происходит в 1944 году — и сразу же попал на пашню. В повести оживает и весь чудесный уголок среди озер, среди лесов, зубчатой стеной высящихся на горизонте. Оживают и речки, вроде той же Песомы, огибающей Шумилино, с их застывшим течением, почти неуловимым, — присутствие течения выдает только переливчатый стержень на быстрине. Но в тот момент ни жаворонок, сверлящий небо, ни пьянящий запах земли, немало «поработавшей» на своем веку, не отвлекают героя. Старенький трактор сломался и стоит в борозде без действия. Совсем необычная это пахота — тянет плуг бык Бурман, уже побывавший год назад в борозде, но неохотно смирившийся со своей временной «переквалификацией»...

«— Ой, Сережа, руки-ноги дрожат. С лошадьми куда легче, а этот ломается, дергает. Бабы отказываются пахать на нем.

— Скажи спасибо, хоть как-то ходит! — вступился за Бурмана Осип.

— И то правда.

— Но-о! Взяли-и! Бороздкой, бороздкой! — понукал Репей и смешно семенил около быка.

Захрустела под ножом **ржаная стержня,** потекла по блестящему лемеху бурая лента. Гладкий, **как будто потный,** пласт поворачивается к солнцу, и весь вспаханный клин **влажно дымился, как подовый хлеб,** только что вытащенный на капустном листе из печки. Бурман шагал медленно, вразвалку, плуг было трудно держать, он то норовил выскочить из земли, то забирал вглубь. Серега едва применился к этому.

Сделали гон, второй, третий.. Руки онемели, **словно срослись с плугом,** рубаха прилипла к лопаткам: любит землица соленый крестьянский пот» (подч. мной. — В. Ч.).

Эту трудную борозду военных лет, скрип изношенной упряжи на быке, бабьи невысказанные тревоги и опасения и нешуточное напряжение доподлинного мужицкого труда, выпавшего на долю подростков, Юрий Бородкин не просто описывает со всей точностью и достоверностью. Глаз у Ю. Бородкина развит и «воспитан», как мы говорили, отлично. Видна даже «ось зрения» его героя, замечающего и семенящего рядом с быком говоруна Осипа по кличке Репей, и перевернутый пласт, и порой «пляшущий», выскальзывающий из земли плуг. Но существеннее всего в таких картинах глубокое чувство родства повествователя с людьми, пахавшими нещедрую на урожай землю, с вдовами, радовавшимися и вздрагивающими невольно, боясь похоронок, при виде почтальона. Время будто не отдалило этих людей от нас, их труд от наших забот. И рождается мысль о том, что одна земля, одна Родина, один общий долг у всех — и у тех, кто живет и трудится на земле сейчас, и даже у тех, кто работал в той деревне 1941—1945 годов, о подвиге которой поэт сказал:

...весь фронт, что от моря до моря,
Кормила ты хлебом своим.

Это чувство родства с поколением военных лет — великая созидательная сила в романе Ю. Бородкина.

Многие молодые писатели наших дней не осознают часто, что — не сразу — даже при наличии таланта можно встать духовно на один уровень с тем или иным событием народной жизни: «Видит око, да зуб неймет»... Только духовные карлики всегда «на высоте», всегда успевают все, как им кажется, отобразить и на все «откликнуться», не думая, что у их «откликов», в сущности, нет «эха». Они не подозревают порой, что у событий, характеров есть особый духовно-нравственный «объем», их окружает часто напряженная атмосфера времени.

Чем интересен трудный путь главного героя Сергея Карпухина? Как происходило возмужание, становление его характера, определившее его судьбу на много лет вперед?

Надо выстоять! Надо собрать все силы для исторического поединка с врагом! Вначале Сергей многое делает в порыве юношеской любознательности, ведомый жаждой «открытия мира». Он

вообще немного художник в душе, и точное определение, острое словцо, жизненно-философская формула способны его, как, впрочем, и автора, «заворожить» на миг. «Беда — не дуда, поиграв, не кинешь» — он запомнит и эту непритязательную сентенцию. А когда весной выведут из стойла корову Лысенку, тощую, старую, то она вдруг предстанет в такой немощи, что Сергей невольно пожалеет кормилицу, но и пошутит горько: «Стареть стала кормилица: бока ввалились, шерсть клоками, копыта заломило кверху, точно лыжи».

Точно так же и поток дел, поступков — они окружают героя как бы помимо его воли — не давит, а увлекает его вначале: он «ныряет» в них, не уставая узнавать, подмечать все живописное. Лесосплав, делянки в лесу, где пропадают матери и сестры, где надрываются колхозные лошаденки... Председатель колхоза коммунист Лопатин спохватывается весной, в последний миг, что не оборудованы плуги и, как с равным, идет с Сергеем раздувать огонь в горне сельской кузницы, пустовавшей из-за болезни старого кузнеца Якова Ивановича. И вот перед восхищенным взором юноши загудело в полутьме пламя, завздыхали мехи и началось огненное действо кузнечного труда.

Новая беда — поломался трактор — и неожиданная, не испытанная ранее радость Сергея — рокот, подрагивание этой заново отремонтированной машины, первая пахота на «железном коне»... Молотьба цепами на риге, когда горячие, пахнущие дымом снопы уложены колосьями в середину; наконец, возвращение отца-инвалида с войны; любовь к Тане Корепановой и юношеское увлечение вдовой — красавицей Катериной. Дела, нравственные тревоги следуют для Сергея друг за другом.

Достоверные картины, складывающиеся постепенно в панораму народной жизни, создают вокруг всех героев среду очень плотную, «неподатливую» для резвых сюжетных сдвигов, легких завихрений... Но зато каждое жизненное решение, часто немногословное, внешне сдержанное, — это вся судьба человека, это законченный, исчерпывающий портрет человеческой души. И не одной души. Подобно тому как рассеянный свет в природе объединяет все предметы, переходит с одного на другой, так и решения, рождающиеся в душе героя, становятся благодаря открытости сердец общим достоянием. Одно сознание как бы «задевает» другое, утверждается общая традиция — незримые стены общего дома! — патриотической любви к родному уголку.

Тот же Яков Иванович, замученный хворью кузнец, уже смастеривший себе домовину («видишь, какую ладью сколотил»), идет с Сергеем в последний раз по грибы. Благодатное бабье лето, тонкий волос паутины в осеннем воздухе, пестрый лист на земле, еще не обесцвеченный дождями, дымок костров из картофельной ботвы... «Яков Иванович бродил потихоньку вокруг сосен, забирался в березняки, шебаршил палкой по листьям. От них распространялось такое свечение, как будто само лето пряталось в березняке. Он щурился, слабая улыбка согревала его исхудалое лицо, как согревает усталую землю кроткое осеннее солнце...»

Что передает Сергею этот скупой на слова вековечный труженик в своих прощальных жизнеощущениях? Он и сейчас ничего не говорит. Испарина на землистом лице, седые с прозеленью усы,

столь похожие на еловый мох, и раздавленные работой руки, казавшиеся «несоразмерно большими»... Но если когда-нибудь в Сереге, в его младшем брате и сестренке появится потребность сформулировать мысль о честно прожитой, цельной жизни, то в памяти возникнет прежде всего их дед-кузнец.

Когда-то Л. Н. Толстой сказал, что «музыка есть стенография чувств»... В медленном, неторопливом порой, а иногда и драматическом течении деревенской жизни в романе «Кологривский волок» есть свои мелодии, в которых сохранены многие движения человеческой души. Вроде бы все повторяется во второй части романа: снова весна, вода выступила поверх льда, начала горбиться и чернеть дорога от конюшни до реки. Но и сам Сергей, и весь окружающий его деревенский люд уже иной. Вернулся отец, пусть искалеченный, но все же надежный, старший человек в доме... И можно хоть часть ответственности снять с себя! Смешанное чувство радости и боли за отца, потерявшего ногу, и сладкое чувство облегчения испытывает Сергей: «В нем как бы ослабла какая-то туго натянутая струна, державшая его в напряжении все эти годы...»

Это отличная психологическая подробность! Раннее взросление подростков военных лет было все же нелегким испытанием для детских душ. Озорство, любопытство, новизна открытий в мире забивали усталость, отодвигали ее куда-то... Но ноша-то не становилась легче! Напряжение скапливалось, росло, недополученные детские радости, беззаботность были как бы пропущенным звеном в общем развитии. И вот возвращение отца — и спад напряжения... Так творится характер, творится судьба.

Свет победы, вздох облегчения, неотделимый от горчащего привкуса горя, словно присутствуют, знаменуя сдвиг вперед всей народной жизни.

Сотворение судьбы — процесс сложный, ответственный... В нем участвует много сил, много далеких и близких. Но больше всего участвует сам человек... И. С. Тургенев, отметая всякое мистическое толкование этого процесса, однажды сказал о нем так: «Как облака сперва слагаются из паров земли, восстают из недр ее, потом отделяются, отчуждаются от нее и несут ей, наконец, благодать или гибель, так **около каждого из нас и из нас же самих** образуется... как бы это сказать? образуется род стихии, которая потом разрушительно или спасительно действует на нас же. Эту-то стихию я называю судьбой» (подч. мной. — **В. Ч.**).

Итоги жизнедеятельности, познания мира, преодоления слабостей и воспитание родства с другими людьми, являющиеся на свет привычки, наклонности, склад души — они как «облако», как стихии окружают человека, участвуя затем в его новых жизненных решениях, «подсказывая» догадки о неизвестном. События могут сбить и такого героя, который, кажется, окреп, закалился, обрел прочный нравственный фундамент, но в самих спорах его с труднейшими обстоятельствами, в самом процессе постоянного сотворения судьбы нередко столько поучительного и прекрасного!

Вторая книга романа «Кологривский волок», посвященная событиям 60—70-х годов, интересна тем, что пейзажи, зарисовки Ю. Бородкина стали как бы тоньше, духовнее. Меньше описаний, громоздкости, больше души и музыки. Тот же Сергей Кар-

пухин — он отслужил в армии, вернулся в село, работает шофером — идет вдоль Песомы, по тропинке, с детства знакомой. Пейзаж, самочувствие героя переданы очень тонко и точно. Каждый поворот тропинки автор будто «выкладывает» драгоценными крупицами красоты, россыпью одухотворенных предметов, окружает причудливой игрой света, голосов и красок природы.

«...И его обступила тишина, нарушаемая только птичьим посвистом. Тропинка увертливо огибала старицы и еловые чащобы, проползала под согнувшиеся ольхи, ныряла в черемуховый дурман. Река то отдалялась, то подбегала совсем близко, видно было, как несет течением лепестки черемух. Заливные луга густо усеялись золотистыми бубенчиками купальницы, в низинках застенчиво голубели незабудки: дождалась своего срока, **пустила лист береза, осеняя прохожего еще легкой первородной тенью.** В эту пору уже не с одного неба и от земли тепло идет.

Сергей обломил кончик удилища и смотал на него леску. Хотелось просто идти берегом Песомы... свободно, не отделяя себя от общего праздника природы, когда солнце оживляет все до самой крохотной травинки».

Таких чудесных тропинок, ведущих в мир героев Юрия Бородкина к деревням Шумилино и Ильинское, и во второй книге романа очень много. «Люблю тебя светло», и чуть... расслабленно, нежно, — так мог бы сказать о своем чувстве по отношению к земле и Юрий Бородкин.

И это чувство, как ни странно, в известной мере тормозит его движение к яркому художественному утверждению многих проблем перестройки деревни на индустриальной основе. Нет, гул бульдозеров, вид подъемных кранов, могучие «Кировцы» на прежде тихих лесных дорогах — все это его не пугает, не бросает в озноб, хотя вид искореженных дорог и говорит о слишком больших «отходах» индустриализации. Просто новое еще не обжито писателем — да им ли одним! — с достаточной эмоциональной глубиной. При самом искреннем желании все одухотворить, все понять!

Юрий Бородкин вникает в заботы председателя колхоза Ерофеева не как сторонний наблюдатель, а как человек, пользующийся доверием и этого героя, и других людей, ведущих борьбу за хлеб, за будущее деревни. Кажется, все облегчает труд того же Ерофеева — колхоз приобрел технику, идет борьба с бездорожьем, он сам и его семья переехали в село. Но не спит ночами председатель, невольно передавая свои тревоги домашним, жене-учительнице, заставляя и их болеть за хлеб, за судьбу молодых:

«В конце августа мешали дожди, а сентябрь выдался исключительно погожий: днем хоть в майке ходи. Еще бы недельки две постояла такая погода. Ночами Ерофееву все казалось, будто дождь шебаршит по крыше, другой раз даже на улицу выходил, чтобы убедиться, что почудилось. Все-таки еще во многом зависим мы от природы: любые самые продуманные расчеты может она поломать. Вот и приходится с беспокойством поглядывать на небо.

— Ты и сам, как лунатик, бродишь по ночам, и мне спать не даешь, — пожаловалась за завтраком жена.

— Ничего, уборочную закончим, отосплюсь. Ну, как ты к новой-то школе, привыкаешь?

— В Абросимове, конечно, было лучше. Пока в старших классах по десять-пятнадцать учеников всего. Я вот без Галинки не могу привыкнуть, тихо у нас стало как-то дома.

И в голосе, и во взгляде ее всегда спокойных серых глаз уловил он упрек, мол, напрасно в свое время поосторожничали, думали, достаточно одного ребенка».

Небо Родины, теплое небо Родины... Роман Ю. Бородкина, светлый и добрый по общему мироощущению, доносит одну мысль: хорошо жить под родным небом, на родной земле, жить единой жизнью с родным народом. Это небо, теплое небо Родины не раз оживет и в мечтах Тани Корепановой, невесты, а затем жены Сергея, его брата Леньки, пытающегося порой понять: какая сила держит облака в вышине, в голубом теплом небе?

Да, оно, это небо, и тропинки, и светлые воды Песомы, и сама костромская земля — полноправные герои романа. Неяркий, совсем не обжигающий свет, льющийся на поля и деревни, на во́локи заволжской стороны России, осветил для Юрия Бородкина, художника чуткого сердца, развитой памяти на все, что свершалось и свершается здесь, образы многих дорогих ему людей. Здесь, на севере России, не было сожженных деревень, как на белорусской или псковской земле, здесь не рвались снаряды. И пашни не были опутаны зловещей паутиной минных заграждений. Но велик и прекрасен был подвиг этих северных деревень в годы войны! Сложна и содержательна их современная жизнь. И верится, что в будущем Ю. Бородкин, патриот того уголка земли, что был и его первым жизненным университетом, дал ему «слух» на чудесную народную речь, еще не раз вернется в этот мир, к знакомым героям.

●



НАШЕ ОБОЗРЕНИЕ

ВОЙНОЙ ИСПЫТАННЫЙ ХАРАКТЕР

Чем дальше время отдаляет от нас трудные и героические годы Великой Отечественной войны, тем дороже для молодого поколения свидетельства очевидцев, непосредственных участников боев за свободу и независимость нашей Родины. Отсюда интерес к мемуарам прославленных военачальников, к воспоминаниям партийных и государственных деятелей. Подмечено: даже в произведениях художественной литературы о войне читателя привлекают не столько вымышленные образы и ситуации, сколько документы. Достаточно вспомнить снискавшие интерес романы «Блокада» и «Победа» А. Чаковского. Документальные сведения (опять-таки во многом почерпнутые из мемуаров) о характерах советских полководцев, о партийных деятелях, их самоотверженной работе, о личности Верховного Главнокомандующего — все это приковывает всеобщее внимание. А. Чаковский как раз и ставил цель показать на основании документов не только героизм простых советских людей, но и мужество, государственную мудрость тех, кто ими руководил...

Но если для нас ценны воспоминания маршалов и государственных деятелей, то не менее ценны воспоминания простых солдат, младших командиров, кто ежедневно рисковал своей жизнью, кто с пистолетом в руках поднимал в атаку солдат. Автобиографическая книга «Повесть о тревожной молодости», написанная бывшим командиром минометной роты 720-го стрелкового полка 162-й дивизии лейтенантом А. Алтуниным, повествует о суровом времени войны.

Для автора книги, вчерашнего курсанта Новосибирского пехотного училища (выпуск состоялся 10 июня 1941 года!), война оказалась неожиданностью. Конечно, курсанты понимали, что «в

Алтунин. А. Повесть о тревожной молодости. М., Воениздат, 1981.

воздухе пахнет войной», и спорили, с кем придется сражаться — с Японией или Германией. Большинство (сказывалась удаленность от европейского театра и близость восточного) были убеждены, что воевать придется сначала с Японией. Но были и такие, как Андрей Мелкотуков. Он твердил: «Я убежден: воевать будем с Германией!»

Но никто из новоиспеченных лейтенантов и предположить не мог, что всего спустя двенадцать суток после их выпуска враг коварно и расчетливо обрушится на нашу страну, что некоторые из них, так и не вступив в схватку, не увидев лицо врага, погибнут.

Повесть начинается с трагического эпизода: эшелон, в котором направлялась на фронт и рота лейтенанта А. Алтунина, был подвергнут бомбежке и обстрелу с фашистских самолетов... И тут автор знакомит нас со своим заместителем по политчасти, мешковатым, сугубо гражданским человеком, младшим политруком Иваном Афанасьевичем Стаднюком. Бывший горный инженер, потом работник райкома партии, Иван Афанасьевич оказался не только замечательным, душевным человеком, которого сразу же полюбили солдаты и командир, но смелым и умелым бойцом. Ему раньше не приходилось владеть оружием, и вот, к удивлению бойцов, он в короткое время, выкраивая минутки из скоротечного солдатского отдыха, освоил обязанности всех минометных номеров, научился стрелять из пулемета и автомата.

Если в иных военных мемуарах и автобиографических повестях о таких людях, как Стаднюк, говорится обычно кратко (упоминается о подвиге или двумя-тремя фразами дается характеристика деловых качеств), то, к чести автора, следует сказать, что образ политрука нарисован им с любовью.

Впрочем, с такой же убедительностью и художественным тактом рисует автор другие образы: дяди Петра Емельяновича Дьякова, тети Мокриды Дмитриевны, солдат своей роты, старшины Николая Федоровича Охрименко, ротного санинструктора Сидора Петренко, сержанта Василия Сероштана, телефониста Сусика, ординарца Миши Стогова.

А. Алтунин подробно описывает батальные сцены и героизм советских солдат во время боев под Витебском, Смоленском, при высадке десанта в Феодосии... Автор ненавязчиво подчеркивает: героизм и чувство самопожертвования в крови у русского, советского человека. «Навсегда запомнился такой случай. Из рук Василия Ходаченкова выпала боевая граната со снятым кольцом. Поняв, что не успеет отбросить «лимонку», бывший шахтер упал на нее, чтобы спасти стоявших рядом товарищей. Раздался глухой взрыв. Самопожертвование бойца глубоко потрясло нас. Тридцатилетний шахтер Василий Ходаченков преподал нам первый урок мужества, вытекающего из высокого воинского долга. В минуту смертельной опасности он остался верным первой заповеди советского солдата: сам погибай, а товарища выручай».

В первом же бою под Витебском минометчикам пришлось встретиться с гитле-

ровскими танками, да еще после ожесточенной бомбежки. У молодых солдат и командиров (самому лейтенанту Алтунину едва сровнялось 19 лет) не было никакого опыта борьбы с танками. Автор не скрывает, что при виде, казалось бы, неуязвимых бронированных чудовищ в душу стал закрадываться страх. «Выдержим ли мы? Враг чертовски силен, — нашептывает мне страх, — перед ним никто не устоял. Всю Европу проутюжили его танки!» Подавляя эту мысль, убеждаю себя: «Надо выдержать! Рабство или победа — другого выхода нет».

И необстрелянные бойцы выдержали.

Нет, бой не был легким. Погибли вместе с пушкой два артиллериста. Погибли, но до последнего мгновения вели огонь по танку. Погибли бойцы первой линии и боевого охранения, но все-таки танковая атака была отбита. А с нею отбит и страх. Увидев, что из-под каски сержанта Сероштана белеет повязка, лейтенант приказывает ему немедленно отправляться в укрытие, на что Сероштан балагурит: «Товарищ командир роты! Всего лишь половины уха лишился. Глаза видят, руки и ноги действуют, повоюем еще... Должен же я рассчитаться с германцем за свое ухо!»

Вообще в отличие от некоторых суховатых воспоминаний в автобиографической повести А. Алтунина много юмора. В часы и дни самых ожесточенных боев с наседающими врагами, после минут отчаяния, сворачивая вздрагивающими руками цигарку, солдат уже вышучивает свой страх, подтрунивает над товарищем, а ведь через какое-то время опять артналет, бомбежка, новая атака, и кто знает, в живых ли останешься? Но жизнь есть жизнь, и автор «Повести о тревожной молодости» на конкретных примерах с большой убедительной силой утверждает это.

В первых же боях лейтенант Алтунин и его минометчики вступают в рукопашные схватки с фашистами. И от смерти в этих схватках уберегла молодого командира роты не только блестящая армейская выучка, но и героизм его бойцов.

Лейтенанту Алтунину и его бойцам после одного памятного штыкового боя много раз приходилось сходиться с врагом врукопашную. С содроганием читал девятнадцатилетний лейтенант гитлеровскую «Памятку солдату», в которой были вот такие наставления: «У тебя нет сердца и нервов, на войне они не нужны. Уничтожь в себе жалость и сострадание — убивай всякого русского, советского, не останавливайся, если перед тобой старик или женщина, девочка или мальчик, — убивай, этим ты спасешь себя от гибели, обеспечишь будущее своей семьи и прославишься навеки».

В первые недели войны многие наши солдаты полагали, что обманутые Гитлером рабочие и крестьяне повернут оружие против него. Увы, действительность оказалась куда суровее. После чтения «Памятки» и писем пропали эти иллюзии и у лейтенанта Алтунина: «...меня охватило чувство величайшей гадливости и отвращения к бандитам, ворвавшимся на советскую землю в надежде пограбить».

С любовью он вспоминает

простых советских людей: женщин, кормивших их последним куском хлеба, паренька Федю, решившего уйти на фронт в свои шестнадцать лет, глуховатого смоленского старика, проведшего их, окруженцев, по непроходимому болоту, озорную феодосийскую девочку, организовавшую сбор трофейного оружия, добровольного проводника, разведчика и наблюдателя, четырнадцатилетнего Остапа Моторного.

Автор подробно останавливается не только на характерах своих солдат, но и своих командиров. Зримо он рисует первого своего комбата капитана Тонконоженко. Грамотный и рассудительный командир, он в любое время мог разрядить напряженность шуткой, без назидательности учил молодых лейтенантов суворовскому искусству побеждать. И хотя Тонконоженко мы видим в десятках рискованных ситуаций и характер его читателю известен, автор все-таки считает необходимым сказать: «Иван Петрович лет на восемь старше меня, и я смотрю на него, как школьник на обожаемого учителя. Все в нем покоряет: и образцовая выправка, присущая кадровому офицеру, и блестящая эрудиция... Но главное — Тонконоженко безукоризненно выдержан: в эти нелегкие дни я ни разу не заметил на его лице ни тени растерянности, словно он заранее все предвидел. Иван Петрович был, безусловно, храбрым человеком, но никогда не бравировал и не любил тех, кто без нужды лез под пули».

Автор тут же подтверждает свои слова примером: Тонконоженко делает замечание командиру взвода лейтенанту Жердеву за то, что тот, бравируя своей храбростью, в полный рост прошел до наблюдательного пункта по простреливаемой немцами зоне.

«Запомните, Жердев. Истинно храбрые люди не подставляют без надобности головы под пули. Храбрость — это высшее проявление силы человеческого духа. Ради этого можно пожертвовать жизнью. А тот, для кого жизнь — копейка, бесшабашный и, помоему, вредный для коллектива человек».

Эти слова комбата крепко запомнились лейтенанту Алтунину.

В конце декабря 1941 года наши войска провели дерзкую и неожиданную для оккупантов операцию — высадку десанта в Феодосии и Керчи. Лейтенант Александр Алтунин, только что оправившийся от тяжелой контузии и ранения, был участником этой героической операции. Конечно, советские солдаты понимали, что высадка с кораблей и катеров в штормовую погоду, в ледяную декабрьскую стужу, под мощным огнем вражеских батарей и бомбежкой — смертельная опасность. Но шли на это сознательно, с большим душевным подъемом. Автор подробно описывает, как накануне высадки в его роте было проведено открытое партийно-комсомольское собрание. И когда политрук роты Митрофан Васильевич Абраменко (Стаднюк героически погиб под Смоленском) сказал, что у коммунистов и комсомольцев есть привилегия — идти в бой первыми, раздались десятки голосов с требованием принять их в партию и комсомол.

Как известно, Феодосия была очищена от гитлеровцев.

Удалось создать плацдарм и открыть Крымский фронт, который позднее сыграл большую роль в освобождении всего полуострова. В жарких схватках с врагами А. Алтунин был тяжело ранен. Несмотря на нестерпимую боль, на большую потерю крови, лейтенант Алтунин продолжал командовать ротой, пока не потерял сознание...

Потом был госпиталь, долгое лечение, недолгое командование маршевым батальоном, сыпной тиф, снова госпиталь, первая чистая любовь к санитарке Марине...

И снова бои, на своей и вражеской территории. За воинский подвиг в одном из них двадцатидвухлетний лейтенант А. Т. Алтунин был удостоен высшей правительственной награды — Золотой Звезды Героя Советского Союза.

О дальнейшей ратной службе автора «Повести о тревожной молодости» и его таких же молодых товарищей по оружию, думаю, мы скоро узнаем из второй части книги, над которой автор заканчивает работу.

Александр Терентьевич Алтунин в кратком обращении «К читателю» говорит, что за перо его заставили взяться десятки и сотни писем юношей и девушек, в которых были просьбы рассказать «...о войне и о себе». Ответить на все письма было невозможно, так и появилась эта повесть.

«Книгу эту я посвящаю советской молодежи, которая является достойной наследницей героических традиций советского народа», — заканчивает свое обращение автор.

Нам хочется добавить: Герой Советского Союза Александр Терентьевич Алтунин на войне честно исполнил свой долг перед Родиной. Честно исполнил он свой долг и перед нашей молодежью в мирное время, написав эту замечательную повесть.

Борис КУЛИКОВ

ТАК ИМ СЕРДЦЕ ВЕЛЕЛО

Книга «Испытание Севером» имеет подзаголовок «Так им сердце велело». Необычна история ее возникновения. Ответственный за работу литературного поста журнала ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия» писатель Сергей Заплавный, лауреат премии Томского обкома ВЛКСМ, обратился к партийным и комсомольским работникам, рабочим и инженерам, бойцам всесоюзных ударных комсомольских строек, писателям и журналистам с просьбой ответить на ряд вопросов — в любой удобной для них форме. Интервью затянулось на два года.

И вот перед нами коллективный рассказ о жизни людей на самотлорской земле, созданный устами самих героев, которые шаг за шагом шли к открытию и освоению месторождений нефти и газа в Западной Сибири, прокладывали дороги через непроходимые болотные топи, тянули

Испытание Севером. Новосибирск. Западно-Сибирское книжное изд-во, 1981.

линии высоковольтных передач, строили вахтовые поселки и города, добывали нефть, осушали болота, возводили в этих краях заводы-гиганты.

Иными словами, книга о проблемах освоения нефтяного Севера, путях и задачах дальнейшей работы, где каждое отдельное выступление — своеобразная веха определенного отрезка времени, история определенной промышленной отрасли.

У истоков открытия и освоения месторождений нефти и газа в Западной Сибири наряду со многими советскими учеными стояли известные ученые-томичи М. А. Усов, Р. С. Ильин, М. К. Коровин. Именно в Томске берет свое начало сибирская геологическая школа.

Еще в 1939 году по инициативе Томского государственного университета состоялась первая конференция по изучению и освоению производительных сил Сибири. В ее решении было подчеркнуто: «Конференция... считает необходимым согласно указаниям XVIII партсъезда форсировать поисково-разведочные работы в Кузбассе, Западно-Сибирской низменности, в Минусинской котловине и Сибирской платформе».

Выполнению намеченной программы нефтеразведочных работ помешала война. Лишь пятнадцать лет спустя в Среднем Приобье, неподалеку от города Колпашева, скважина дала первую в Сибири нефть.

Затем геологи обнаружили, что недра томской земли богаты газом, торфом, железной рудой, кварцевыми песками.

И началась рабочая страда. Стал строиться город геологов, нефтяников и строителей — Стрежевой.

Здесь рубили тайгу бородатые
добрые люди,
Пели песни дорог и лихим
поклонялись ветрам,
Здесь клинками звенели
Друзей комсомольские судьбы.
И сурово каралась измена
целинным кострам.
Город мой Стрежевой,
для меня ты единственный
самый,
Для меня ты, как песня,
как верный, испытанный
друг.
Принимай же поклон первых
Граждан твоих — коммунаров,
И стихи, и костры, и тепло
незабытое рук, —

взволнованно писал тогда комиссар студенческого отряда на нефтяной целине Павел Коваляшкин.

О том, как люди «сдавали на аттестат зрелости», рассказывают электросварщик нефтегазодобывающего управления Стрежевойнефть Николай Белоус и вышкомонтажник разведочного бурения объединения Томскнефть Анатолий Матраков; мастер Стрежевого участка Томского монтажно-наладочного управления Виктор Попов и начальник производственного отдела обустройства месторождений управления Васюганнефть Анатолий Семенов; писатель Сергей Заплавный и лауреат премии Ленинского комсомола, бригадир экскаваторной бригады ПМК-3 объединения Союзтомскмелиорация Анатолий Чертков.

А им есть чем поделиться. Экскаваторщик Николай Белоус, например, до приезда в Сибирь работал монтажником на строительстве Ланджанауригэс в горах Сванетии, затем строил электростанцию в бухте Большой Камень в Приморье. А когда увидел по телевидению документальные кадры об открытии на севере Томской области новых месторождений нефти, не мог удержаться и по комсомольской путевке вместе с семьей отправился в Сибирь.

Жить на первых порах при-

ходилось в неблагоустроенных, холодных бараках, а то и просто в вагончиках. Не хватало спецодежды, энцефалиток, накомарников, необходимых запасных деталей для машин. Людям на ходу зачастую приходилось приобретать много смежных профессий, которые требовала обстановка, но энтузиазм людей не угасал.

Центральный Комитет ВЛКСМ взял шефство над сооружением важнейших народнохозяйственных объектов, объявил их всесоюзными комсомольскими стройками. Эти стройки стали хорошей школой жизни для многих молодых людей, закалили их, помогли найти себя, обрести гражданскую зрелость.

Томская комсомольская организация с первых дней борьбы за сибирскую нефть стала надежным боевым помощником областной партийной организации в этом важном деле.

«Комсомол всегда был надежным шефом великих советских строек, — говорил на XVIII съезде ВЛКСМ Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР тов. Л. И. Брежнев. — Эта прекрасная традиция сохранилась. Но сами наши стройки стали во многом иными. Сегодня это уже не только отдельные стройки-гиганты, но и целые громадные географические районы». Эти слова Леонида Ильича имеют прямое отношение и к Томской области.

Хотя первым приходилось начинать, «сталкиваясь с нехватками строительных материалов и оборудования, с бездорожьем и капризами природы, — отмечал секретарь Томского обкома КПСС П. Я. Слезко, — но люди не спасовали, не отступили перед трудностями. Именно тогда у молодых строителей родился страстный призыв: «Даешь комфортабельную романтику!», «Даешь город томских нефтяников — Стрежевой!»

«Щедры недра Западной Сибири, да взять их богатства не так-то просто. И главная трудность — как создать комфорт для тех, кто добывает эти богатства, — делится своими воспоминаниями первый секретарь Стрежевого горкома КПСС В. И. Зоркальцев. — В 1980 году в Томске состоялась научно-практическая конференция, посвященная освоению природных ресурсов вахтовым методом.

У Стрежевого два вахтовых поселка, удаленных на сотни километров. В такую глухомань добраться, завезти материалы, оборудование по извилистым мелким протокам Оби крайне трудно. Однако отдаленность, суровый климат отнюдь не оправдание суровому быту. Потому сразу была определена цель — добиться повышенной комфортабельности поселков.

Вахтовый метод доказал свою эффективность. Стрежевой с первого колышка возводился как центр нефтяного Томского Севера. Застройка велась по единому генеральному плану, единым заказчиком, строго комплексно. С опережением наращивались энергетика, наземные и подземные коммуникации. Вокруг Стрежевого за 62-й параллелью замкнуто кольцо из сельскохозяйственных предприятий».

Сибирские охотники, заготовители, лесорубы издавна имели в промысловых угодьях избушки, а позже и котлопункты (столовые), бани, комнаты отдыха. Кто-то метко

назвал такие рабочие строения вахтовыми.

Нефтяники Западной Сибири метод вахт взяли на вооружение, но решили его максимально усовершенствовать. Вместо избушек поставили удобные коттеджи, вместо котлопунктов — столовые, вместо комнат отдыха — клубы, библиотеки, эстрадные площадки и спортивные корты.

Поселок Вах — первенец томских нефтяников, исполнение их мечты о «комфортабельной романтике». Поднимается, обустраивается в таежных далях непроходимого Васюганья еще один вахтовый поселок томских нефтяников с гордым названием Пионерный.

О застройке Ваха рассказывает заместитель министра нефтяной промышленности СССР Василий Яковлевич Соколов.

Новые вахтовые поселки «Поляры» — быстросборочные монолитные комплексы со всеми удобствами, рассчитанные и на небольшие бригады, и на большие подразделения. Они сделаны так, что скупое северное солнце в ясные дни все время будет глядеть в окна-линзы...

Как только были освоены и промышленно разработаны нефтяные и газовые месторождения, на повестку дня встал вопрос о сооружении крупных нефтехимических комплексов с тем, чтобы часть сырья использовать на месте и скорее дать стране крайне необходимую продукцию для народного хозяйства.

Так появилась еще одна Всесоюзная ударная комсомольская стройка: неподалеку от Томска стал воздвигаться Томский нефтехимический комбинат. Корпуса завода раскинулись на площади, равной двум тысячам гектаров. С пуском первой очереди комбината томичи станут производить 70 процентов полипропилена от всего объема выпускаемого в Советском Союзе. Томску предстоит стать (причем на долгое время) одним из главных центров на карте химической промышленности страны, ведь продукция комбината — это свыше десяти процентов всей полимерной химии страны.

Томский нефтехимический, по общему признанию, — это БАМ в химической промышленности.

Строителям Томского нефтехимического посвящен очерк журналиста Виктора Лойши.

Параллельно с основным строительством Томского нефтехимического комбината возводятся котельные, склады, жилые дома, тепличный комбинат, бройлерная птицефабрика, свинокомплекс. Прокладываются и благоустраиваются дороги.

Карьер трясет стальная дрожь —
Там грузят самосвалы.
Вздымается огромный ковш
Над «татрами» устало.
И «татры» медленно ползут —
Красивы все и строги.
Они сегодня грунт везут
На полотно дороги.
...Дорога будет. А пока
Мы снов не видим длинных.
Дорога будет на века
В моем краю былинном, —

пишет мастер Стрежевого участка монтажно-наладочного управления Виктор Попов.

Освоены десятки нефтяных и газовых месторождений, проложен нефтепровод Александровское — Томск — Анжеро-Судженск; газопровод Самотлор — Мыльджино — Кузбасс.

Радостно видеть результаты своего труда, хотя и не все они проявляются скоро. Дли-

тельного, внимательного ухода требует мелиорация, требует не только от землеустроителей, но и от колхозников, и от ученых. Когда-то отвоеванная у болот и пустырей земля даст первый урожай. Однако люди не только берут богатства земли, но и окультуривают землю, заставляя ее плодоносить и выращивать урожаи.

Томская область является зоной подтаежного северного земледелия, но в результате самоотверженного труда работников сельского хозяйства уже сейчас население области полностью обеспечивается собственным картофелем, овощами, молоком.

«За последние десять лет добыча нефти увеличилась здесь в 10 раз, а газа в 18 раз, — скажет в апреле 1980 года на собрании партийно-хозяйственного актива Тюменской и Томской областей секретарь ЦК КПСС В. И. Долгих. — Вместе с тем в развитии комплекса, как и во всяком большом деле, выявилось немало проблем и трудностей. Серьезное отставание сложилось в строительстве жилья, объектов культурно-бытового и социального назначения... ЦК КПСС и Совет Министров СССР сочли необходимым ускорить развитие производственной базы строительства в Западной Сибири, осуществить в короткие сроки, то есть в течение 1980—1983 годов, чрезвычайно большую программу жилищного, культурно-бытового и дорожного строительства.

В этот период ежегодный ввод жилья намечено повысить в три раза против уровня 1979 года. За четыре года предстоит построить более 7200 тысяч квадратных метров жилой площади, школ на 41,5 тысячи ученических мест, детских дошкольных учреждений на 31,8 тысячи мест, больниц на 4,2 тысячи коек и другие культурно-бытовые объекты, годовой объем дорожного строительства должен возрасти более чем в три раза...»

Есть все основания полагать, что нефтепромысловики и строители Западной Сибири с этой задачей справятся.

В сборник включены стихи советских поэтов, посвященные строительству. Наряду с известными поэтами опубликованы и стихи тех, для кого испытание Севером — это не только проверка на выносливость, это проверка деловых, душевных качеств каждого, кто причастен к великим делам.

Сергей КРАСИКОВ

ВОЗВРАЩЕНИЕ АРТУРА

Предание о короле Артуре и рыцарях Круглого Стола на протяжении долгих веков питает искусство художественными идеями, сюжетами, героями, то подвергаясь — с течением времени — пародийным перетолкованиям, то возрождаясь в своей изна-

Роджер Ланселин Грин. Приключения короля Артура и рыцарей Круглого Стола. Пер. с англ. Л. Паршина. М., «Молодая гвардия», 1981.

чальной торжественности и эпической мощи. Осуществившись в ряде крупнейших произведений средневековья и предвозрождения, артуровская тема затем пережила второе рождение в литературе XIX—XX веков, связав разрозненные звенья в единую цепь культурной традиции, главным образом англоязычной.

Вот некоторые крупные вехи.

1488 год. Роман Томаса Мэлори «Смерть Артура», в котором циклически объединились мифы и предания раннего периода британской истории, а также предшествующие литературные обработки артуровских легенд (Кретьен де Труа, Гартман фон Ауэ, Вольфрам фон Эшенбах). По словам академика В. М. Жирмунского, эта книга, «представляющая классическое произведение мировой литературы», оказала «поистине колоссальное влияние на всю английскую литературу XIX и XX веков». Книга «Смерть Артура» выходила в серии «Литературных памятников».

1605—1616. «Дон Кихот». Не являясь прямой вариацией артуровской темы, классическое сочинение Сервантеса, как известно, являет собою пародию на рыцарский роман, основные черты которого и воплотились как раз в многообразных произведениях артуровского цикла.

1842—1870. Поэтический цикл А. Теннисона «Королевские идиллии».

1882. «Тристрам Лионский» Ч. Суинберна (стихотворная интерпретация одного из основных сюжетов «Смерти Артура»).

1889. Марк Твен. «Янки при дворе короля Артура».

1939. «Поминки по Финнегану», роман Дж. Джойса, в художественной концепции которого немалую роль играют артуровские мотивы.

Заметную роль старые английские легенды сыграли в развитии музыки и изобразительного искусства, можно вспомнить, например, оперы Р. Вагнера, работы графика О. Бердслея, сделавшего иллюстрации к новейшему изданию романа Т. Мэлори, мозаику собора в Отранто (Италия).

На этом впечатляющем фоне небольшая книга современного английского автора Роджера Ланселина Грина «Приключения короля Артура и рыцарей Круглого Стола» выглядит не только скромно, но и несколько странно (хоть читательская ее популярность не убывает — появившись в середине 50-х годов, она с тех пор выдержала не одно переиздание).

В самом деле, писатели прошлого, отдаленного или близкого, обращались к легенде за тем, чтобы, оживляя забытые образы, более или менее откровенно выразить дух своего времени, пусть порою в резко субъективном и даже ложном (как у Джойса) восприятии.

Книга Мэлори, по суждению специалистов, могла появиться лишь на исходе средневековой истории. Феодальное общество «было обречено, на его челе лежала уже печать смерти, и стилем мрачным, возвышенным, не сознавая этого, Мэлори сам сложил свою погребальную речь и произнес ее над ним» (А. Мортон, «Артуровский цикл и развитие феодального общества»).

Ту же задачу, но уже переводя ее из плана трагедий-

ного в план комический, гениально решал Сервантес: нелепые положения, в которые то и дело попадает Рыцарь Печального Образа, лучше любых авторских комментариев показывают исчерпанность куртуазных нравов. Писатель к тому же преследовал и чисто художественные цели: изнутри подрывая основы рыцарского романа, господствовавшего на литературной сцене в течение долгого времени, он создал новый тип романа, оказавший ни с чем не сравнимое воздействие на всю дальнейшую традицию этого жанра в Европе.

Неоромантики Теннисон и Суинберн обращались к Артуровым легендам, находя в них поэтическое воплощение самого духа средневековья, эпохи, выработавшей и хранившей, по их понятиям, высокие морально-этические нормы, безнадежно утраченные в чреде последующих поколений.

Для Марка Твена, напротив, те же самые архаические нормы, нравы, обычаи, столь бережно культивируемые в «старом доме» (как называли за океаном Англию), служат предметом сатирического осмеяния; впрочем, противопоставляя рыцарству естественный демократизм своего янки, великий писатель нередко впадает в характерно-американское самодовольство, явно идеализируя социальный опыт Нового Света.

Наконец, Джойс в «Поминках по Финнегану», как и в главном своем произведении «Улиссе», вводит в ткань повествования мифические сюжеты, чтобы художественно запечатлеть образ неподвижного, лишенного способности к саморазвитию времени.

Словом, в любом случае легенда переосмысливается.

А Роджер Грин просто пересказывает ее, беря за основу роман Мэлори и некоторые другие источники. Правда, сюжетное единство в его книге выражено с куда большей последовательностью, нежели в памятнике средневековой литературы. Нанизывая рыцарские приключения на твердый стержень, показывая расцвет и упадок мифического королевства логров, Грин отсекает эпизоды, игравшие важнейшую роль у Мэлори: например, на далекую периферию романа оттеснена легенда о Тристраме Лионском, которая в «Смерти Артура» занимала центральное место, и т. д. Но в целом Грин тщательно воспроизводит и важнейшие конструктивные принципы старого памятника, и его стилистику (удачно переданную в русском переводе Льва Паршина). Художественное время здесь столь же условно, сколь и у Мэлори, — годы и десятилетия умещаются в строки и абзацы, не считаясь с реальным календарем, а ход жизни измеряется количественным приращением рыцарских подвигов и приключений. Поэтическая речь столь же возвышенно-монотонна, что сохраняет эпический статус повествования, а лексика в соответствии с традицией изобилует повторением эпитетов и сравнений.

Короче, если судить в общем, «Приключения короля Артура...» всего лишь добросовестная стилизация, не имеющая ровным счетом никакого отношения к делам и заботам нынешних людей.

Но книги возникают и читаются в определенной общественной, духовной, эстети-

ческой атмосфере, и в этих условиях даже самые странные, самые фантастические и откровенно условные сюжеты способны неожиданно обретать современное звучание.

Наивно было бы полагать, что писатель второй половины XX века идеализирует старые идеалы рыцарства, да и вообще сколько-нибудь всерьез относится к чисто сюжетной канве повествования. Странно было бы и думать, будто современник дерзнул сравняться в эпической мощи с классиком. Так что, если читатель захочет просто погрузиться в мир древних сказаний, ему, конечно, лучше обратиться к оригиналу. Но только ведь Грин, я убежден в этом, вовсе не замыкал свою задачу прилежным копированием пожелтевших от времени текстов.

Зачем, собственно, понадобились ему добрый волшебник Мерлин и злая фея Моргана, несчастный Балин и благородный Ланселот, великодушный Артур и злонамеренный Мордред? А затем, чтобы напомнить современникам, вовлеченным в бездумную гонку потребительства и утратившим за сиюминутными интересами ощущение исторической продолжительности жизни, о том, что силам зла всегда противостояли силы добра и что сотворение добра — дело самого человека. Рыцарство как реальный общественный институт, как свод ритуальных правил осталось на самом дне колодца времени. Но рыцарство как нравственная мера служения чести и добру сохранило свое значение и поныне.

Это хорошо осознавал Сервантес, чей классический роман вовсе не исчерпывается полемическими мотивами — недаром среди литературных прототипов князя Мышкина, «положительно прекрасного человека», Достоевский называл Дон Кихота.

Об этом, кажется, помнил даже язвительный Марк Твен: ведь порой будто бы случайно смешные призраки оказываются и чище и выше находчивого механика из Коннектикута.

Это знает и остро переживает современный писатель Роджер Ланселин Грин, чья книга при всей своей литературности вовсе, повторяю, не превращается в иллюстрацию к старым временам и старым книгам. Она звучит как косвенный упрек современникам, погруженным в мелочную суету преуспеяния, и более того — как апелляция к высоким принципам гуманизма, как утверждение незыблемости важнейших норм человеческого общежития.

Н. АНАСТАСЬЕВ

ЖИВАЯ НИТЬ

Имя Агнии Кузнецовой хорошо известно молодому читателю. Многие годы посвятила писательница работе над произведениями для детей и юношества, и несколько неожиданной кажется ее новая

А. Кузнецова. Много на земле дорог. М., «Советский писатель», 1981.

повесть «Под бурями судьбы жестокой», вошедшая в последнюю книгу А. Кузнецовой «Много на земле дорог».

Я пережил свои желанья,
Я разлюбил свои мечты;
Остались мне одни страданья,
Плоды сердечной пустоты.
Под бурями судьбы жестокой...

...Эти пушкинские строки нередко встречаются в дневнике Петра Кузнецова, главного героя повествования и прадеда писательницы. Повесть эта документальная, и в центре ее — судьба дворового человека графа Строганова, талантливого лекаря-самоучки.

«Я держу в руках пожелтевшие от времени тетради в самодельных переплетах. Это дневники моих предков: прапрадеда, прадеда и деда. Каким-то чудом были они написаны, таким же чудом сохранялись полтора столетия и протянули живую нить из прошлого...»

Упоминание об этих заветных тетрадях можно найти и в ранней повести А. Кузнецовой «Свет-трава», героиня которой Саня Славина не только продолжает летопись семьи, но и становится преемницей и продолжательницей деяний своих предков — она отыскивает в непроходимой тайге целебную свет-траву. Но если прежде родовая тетрадь навела писательницу на мысль рассказать о современной молодежи, то теперь она помогла создать ей самобытную историческую повесть. Пожалуй, главное ее достоинство в том ощущении времени, временно́й дистанции, которая позволяет читателю перенестись в другую эпоху, увидеть события далекого прошлого глазами их современника (причем человека крепостного!), и тут же оценить их с позиции настоящего знания и понимания истории. «Эти тетради сделали меня волшебницей. С их помощью я могу остановить время. Я могу повести его вспять. Я могу, если хотите, повести вас в Полотняный завод Гончаровых и показать маленькую Наташу, двоюродную племянницу графа Григория Александровича Строганова. Хотите побывать на обеде в честь свадьбы Екатерины Гончаровой и Дантеса-Геккерена, происходящем в доме Григория Строганова почти накануне гибели Пушкина?»

Да, в этой повести читатель встретится и с графами Строгановыми, и с членами пушкинской семьи, и с теми, чьи имена обычно не остаются в истории, но жизненный путь которых интересен нам, их потомкам.

Его прозвали «Вольным», потому что каким-то необъяснимым образом имя Петра Кузнецова при рождении не вошло в «ревизскую сказку». Став крепостным в три года, он, хотя и не мог помнить тех «вольных» лет, всю свою жизнь стремился освободиться от «крепости», испытывая жажду воли и ненависть к рабству, непонятный тем, кто не испил этого «глотка свободы». Можно считать, что Петру повезло. Строгановы не лютовали над своими людьми, как некоторые крепостники, даже обучали их ремеслам, наукам, искусству... Но и не считали крепостных за людей, способных мыслить и чувствовать. Поэтому те зачастую и не стремились раскрывать свои способности, опасаясь принудительного обучения, разлуки с близкими... Сколько таких трагиче-

ских судеб знает история, о скольких она умалчивает...

Дневник Петра Кузнецова — документ человеческой жизни, откровенный и бесхитростный. Он вводит читателя в тот внутренний мир личности, социально закрепощенной, но свободной духовно, которого почти не касалась литература, и представляет его значительно сложнее и многозначнее, чем сначала может нам казаться. Описание быта в Ильинском, людских в Петербурге или на Билимбаевских заводах, наблюдения народной медицины и размышления о социальном неравенстве и несправедливости — уже этого достаточно, чтобы отразить одно из мгновений эпохи. Но удивительная судьба наградила Петра Яковлевича Кузнецова большим и светлым чувством — чувством благоговейного преклонения перед женщиной, имя которой стоит рядом с именем великого Пушкина...

Наталью Николаевну Пушкину Петр видел всего несколько раз, но помнил ее всю жизнь, «благоговея богомольно перед святыней красоты...». Он был потрясен не только необыкновенной одухотворенностью ее прекрасного лица, но и неуловимой печалью: «Две неосуществимые, страстные и прекрасные мечты мои делают жизнь мою человеческой, а не животной. Одну зовут Наталья. Другую — Воля», — писал он в своем дневнике.

Чувство к Наталье Николаевне, записи, посвященные ей и пушкинской семье, делают дневник Петра Кузнецова особенно интересным для современного читателя. И несомненный успех повести в том, что автору удалось искусно вплести нить воспоминаний своего прадеда в канву исторических событий, создать яркий образ и показать его как социальное явление. А когда автор прямо обращается к своему далекому предку, возникает волнующее ощущение неразрывности прошлого и настоящего, которое дарует нам память. Память священна. В ней наше бессмертие, она — призвание и долг настоящего человеческого сердца.

...В повести «Много на земле дорог», открывающей книгу, один из героев, вчерашний десятиклассник Костя Лазовников, говорит: «Иногда я закрываю глаза и мысленно переношусь в разные эпохи и исторические периоды: то представляю себя в среде декабристов или рядом с Чернышевским и Добролюбовым, то вижу себя где-нибудь на Нерчинской каторге с большевиками, то переношу себя в Донбасс, маленький шахтерский городок Краснодон!..» Настоящее, наша советская действительность немыслима для Кости без молодогвардейцев, без маленькой избушки в горах, где убит был отважный разведчик Володя Заречный и которую вместе с пионерами разыскивает Костя. Он и не может думать иначе, он так воспитан...

Патриотизм, верность, долг — эти нравственные понятия не заложены в человеке от рождения, они приходят к нему с годами, воспитываются в нем прежде всего семьей, связывающей поколения кровными узами, школой, всей окружающей человека атмосферой. И не случайно герои Агнии Кузнецовой — наши юные современники. Писательница наблюдает за своими героями в моменты

нравственного становления, выбора жизненного пути. Она не приукрашивает картину открывающегося перед ними мира, а проводит их через многие сложные жизненные испытания, проверяя молодых людей на звание человека и гражданина.

В произведениях Агнии Кузнецовой всегда видна четкая авторская позиция, отстаиваемая со страстным публицистическим задором. Какими разными оказались судьбы вчерашних старшеклассников из старого сибирского села Веселая Горка!

Автор где-то сочувствует Андрею Никонову, не скрывает неприязни к внешне очаровательной Вире Вершининой, выросшей и живущей пустоцветом, стремящейся только лишь к комфорту и благополучию. На ее примере автор пытается показать, как незаметно, исподволь появлялись у девочки ростки бездумности и бездушности, приведшие ее к полному духовному банкротству, от которого не спасает Виру даже любовь, пробуждающая самые закостенелые сердца и замшелые умы. Подобные Виры, к сожалению, не столь уж редкое явление, такие, как она, и дают старшему поколению основание осуждать молодежь за себялюбие и потребительство. Так было и двадцать лет назад (повесть написана в шестидесятые годы), а сегодня тенденция эта, пожалуй, еще усилилась, что дает повод задуматься над причинами чрезмерного эгоизма, стремления к легкой жизни.

Агния Кузнецова всегда верила и верит в молодежь: в Костю Лазовникова, ищущего, ошибающегося, но честного и бескомпромиссного юношу, в мастера Надю Молчанову, сумевшую сплотить рабочих в своем цехе, в десятиклассников, решивших всем классом остаться в родной деревне. Верит в молодежь семидесятых годов — героев повести «Ночевала тучка золотая...».

Три повести объединяет книга. Прочитанные отдельно, они могут вызвать ассоциации совершенно различные, что-то в них может нравиться, что-то нет, как это и было в каждом отдельном случае, но, собранные вместе, они по-новому представляют нам лицо автора — писателя, тонко и чутко мыслящего, одинаково свободно чувствующего себя и в современном и в историческом материале.

Н. ЛИСТИКОВА

НЕМЕРКНУЩИЙ ПОДВИГ ВОЛГАРЕЙ

Современная советская литература продолжает часто обращаться к минувшей войне, рассказывая о подвиге нашего народа в борьбе с фашизмом. К числу таких художественных произведений можно отнести и роман ленинградского прозаика Юрия Помозова «Рабочие люди».

По тому, с какой степенью достоверности удается писа-

Ю. Помозов. Рабочие люди. Роман. М., «Современник», 1981.

телю показать взаимосвязи отдельного человека с судьбой страны, и определяется успех его произведения. Главное достоинство романа Ю. Помозова в том, что автор сумел раскрыть героическую атмосферу жизни и борьбы советского рабочего класса и проследить формирование характеров своих персонажей в единстве с драматическими коллизиями общественно-политических событий.

Это широкое документально-историческое повествование, опирающееся на хронику жизни одной рабочей семьи — Жарковых. Ю. Помозов воссоздает ход боев за Сталинград, важнейшие этапы обороны героического города.

Ссылаясь на документы, автор не стремится копировать действительность. Он выступает и как историк, и как художник, совмещая достоверность фактическую с поэтическим вымыслом, типизацией характеров. На первом месте в романе поставлены проблемы нравственные, проблемы патриотизма и стойкости в борьбе против общего врага.

В большинстве случаев автору удалось органически соединить непосредственно фронтовые, батальные сцены с картинами жизни героев в тылу и на временно оккупированной врагом территории.

Несмотря на кажущуюся пестроту повествования (кстати, автор действительно мог бы с большей основательностью описать военную обстановку 42-го года, глубже, без налета развлекательности показать деятельность наших разведчиков Ольги и Моторина в тылу врага), читатель воспринимает его в целостности, ибо авторское внимание сосредоточено не столько на событийном сюжете, сколько на характерах героев.

Так, немало места в романе отведено родоначальнику рабочей династии Жарковых — Савелию Никитичу: здесь и семейные предания, и рассказы о прадеде Жарковых — Ваське Жаре, служившем есаулом в мятежном войске Пугачева, об отце Савелия — Никите, работавшем на паровой мельнице, и о самом Савелии, сменившем пастушью дудку на рабочую профессию. Постепенно образ Савелия, участника гражданской войны, получает большую объемность. Но это, так сказать, экспозиция романа. Приближаясь к главному драматическому узлу, все динамичнее становится повествование, так как характеры героев — Алексея, Оленьки, Прохора Жарковых — подаются уже не описательно, а в напряженном действии, в острых столкновениях с враждебными силами.

Подлинная творческая удача автора — образ Алексея Савельевича Жаркова. Алексей рос и мужал вместе с тракторным заводом, где пристрастился к общественной работе, стал секретарем комитета ВЛКСМ. Рассказывая биографию героя, Ю. Помозов одновременно показывает судьбу самого завода, историю его трудного освоения. Сугубо штатский человек, Алексей на глазах превращается в крупного военного руководителя.

Картины деятельности рабочих-ополченцев, эвакуации раненых из госпиталя, руководимой Алексеем и Ольгой Жарковыми, борьбы истре-

бительного отряда по-настоящему впечатляют силой проявления могучего народного патриотизма. В исключительных жизненных обстоятельствах проверяются характеры рабочих, становившихся прямо в цехе (в мартеновском, например) воинами, мужественными защитниками родного завода, родного города. Действия Алексея в конце произведения уже в качестве секретаря обкома партии вообще определяют решения основных сюжетных коллизий. Да и кого, как не Алексея, секретаря обкома и члена Военного совета Сталинградского фронта, выдвинуть на первый план романа: на нем тыловое хозяйство фронта, он должен содействовать инженерным частям в строительстве оборонных рубежей, наблюдать за бесперебойной работой волжских переправ, руководить эвакуацией государственных учреждений, проводить дополнительную мобилизацию рабочих — военнообязанных, высвобожденных с предприятий... Казалось бы, в этих ситуациях Алексей невольно обретет черты волевого руководителя и, по существу, превратится в условного героя, играющего сугубо композиционную роль.

Но нет, чувство душевной близости к родным рабочим людям никогда не покидает Алексея, делая его не только проницательным и дальновидным партийным деятелем, но и чутким, отзывчивым человеком, внимательным к нуждам каждого. Ю. Помозов не превращает его и в схему «идеального героя». Нет, Алексею Жаркову свойственно и ошибаться, ведь он живой человек, ему свойственны и повышенные практические интересы, не всегда он четко согласует «рацио» и эмоции, а личное, семейное счастье вообще нередко обходит его стороной. При всем этом доминанта характера определенна: в нем привлекают его творческая одержимость, жажда мечтаний, способность к восхищению, когда мечта превращается в реальность.

Живо, динамично нарисован образ Прохора Жаркова, брата Алексея. Здесь наглядно проявилось у Ю. Помозова мастерство психологического анализа. Если Алексей Жарков отличается цельностью характера, зрелостью чувств и убеждений крупного партийного работника, то Прохор обладает натурой сложной, порой противоречивой, непосредственной как в своих ошибках, заблуждениях, так и в искренних раскаяниях, желаниях быть лучше. В войну обнаружились золотые россыпи души этого незаурядного человека, сумевшего подняться до высокого подвига, защищая завод.

Да, герои, рабочие, начиная с романтически настроенной девушки Ольги Жарковой и кончая старым ветераном красного Царицына Савелием Жарковым, остаются хозяевами завода, своих печей, своего города, своей страны. К такой идее Ю. Помозов подводит читателя ненавязчиво, самим ходом развития сюжета.

Особенно ценно в книге Ю. Помозова то, что в ней раскрыты всенародный характер войны, исключительность и вместе с тем естественность подвига рабочих волжской твердыни, где, по существу, стиралась грань между фронтом и тылом. Алексей Жарков после того, как рабочие

тракторного, отстояв город, выдали первую «мирную» плавку, выразил смысл свершенного ими как победу светлого, разумного, гуманного над звериным, рожденным ненасытной жаждой кровавой власти. Его внутренний монолог закономерно переходит в авторское заключение:

«Помни же, Сталинград, человечество! Помни, потому что, кроме памяти, людям свойственно и забвение, — и тогда вновь обрастает живым мясом скелет войны... В желанный час мира и тишины, в ликующем шествии к счастью и благоденствию, пусть этот город станет вечной и суровой памятью твоей, человечество!»

Страстная публицистичность в большинстве случаев только усиливает образную ткань романа.

В новом романе автор достигает большого художественного эффекта, и прежде всего сила его таланта отчетливо проявляется там, где раскрываются характеры рабочих и партийных руководителей.

А. ВЛАСЕНКО

МЕРА ДОСТОИНСТВА

В самостоятельную жизнь вступает второе послевоенное поколение. Молодые люди должны знать, какой ценой достались их Родине сегодняшний мир и благополучие. Помыслы и поступки тех, кто на фронте и в тылу отстоял свободу социалистического Отечества, всегда будут мерилом гражданской совести нашего современника.

Поэма Михаила Балыкина, в основу которой положена история Карагандинского угольного бассейна, посвящена героическому труду военного времени, когда вся тяжесть мужской работы легла на плечи женщин и подростков.

Поэт описывает шахтерское дело как сложное и почетное, требующее большого мужества, а порой истинной самоотверженности. В суровых условиях работают горняки («Минуты — как десятилетья, им здесь особый горький счет»), робким не место в шахте. Но герои Балыкина идут на риск не ради «посмертной славы», их поступками движет сознание, что их труд необходим стране:

Взирали Запад и Восток
На то, как в центре Казахстана
Писали мы тогда пролог
Индустриального романа.
Когда суровый час настал,
Когда война загрохотала,
Наш уголь тоже воевал...

В центре повествования судьба шахтерской семьи. Старшие — выходцы с Донбасса и Алтая, но их родным краем стала братская земля Казахстана. С первых дней войны по настоящее время прослеживает автор путь своих героев. А хронология всего произведения шире, ибо точкой отсчета избрана та далекая пора, когда пастух-казах случайно открыл месторождение угля в Карагандин-

---

Михаил Балыкин. Марианна. Повесть в стихах. Алма-Ата, «Жазушы», 1981.

ском урочище, а местный бай продал его за 250 рублей русскому купцу. К безотрадным временам подневольного труда относятся легенды, спорящие о том, как мрачный угольный пласт получил столь поэтическое имя — «Марианна».

Назвав так поэму, Михаил Балыкин не просто обозначил ее территориальные рамки. Народное предание воспело беззаветную любовь девушки, которая не нашла своей доли и, отчаявшись, бросилась в шахтный ствол. Другая версия легенды хранит благодарную память о горнячке — бескорыстной помощнице шахтеров в их «ста печалях и тревогах». В контексте произведения имя легендарной Марианны звучит как символ женского достоинства и самоотверженности, которые с небывалой дотоле силой раскрылись в годы войны в судьбе горнячек, работавших в шахте «Марианна», а само слово «пласт» в образном ряду поэмы становится метафорой жизненного опыта тех, чью «жизнь нелегкую венчали пласты любви, пласты печали, пласты сердечной доброты».

Духом народной поэзии проникнут мажорный запев. Андрей Кузьмич Гончаров, шахтер на пенсии, строит по местному обычаю свадебный шатер. Дочь Маша выходит замуж за горняка Семена Балахнина.

Диссонансом в счастливые планы Гончарова-старшего врывается неожиданный отказ дочери от решенного брака. Корни конфликта уходят в прошлое, то самое прошлое, о котором так мало знает Маша Гончарова.

Тема преемственности поколений органична для отечественной литературы. Сегодня в произведениях советских писателей часто звучит тревожная озабоченность тем, что нынешние дети растут в тепличных условиях, что нравственные нормы, которые исповедовало старшее поколение, порой заменяются иной шкалой ценностей, где самодовлеющее значение грозят приобрести материальные блага. Парадоксально, но виновны в этом подчас сами взрослые.

Немало повидав на свете,
Но, выйдя к неким рубежам,
Мы не отказываем детям,
В чем жизнь отказывала нам,—

замечает поэт, обобщая опыт своего поколения.

«...Пусть покрасуются за нас», — говорит Клавдия Петровна, мать Маши.

В ее устах эти слова имеют буквальное значение.

Горе вошло в судьбу любящих друг друга людей. Андрей Гончаров вернулся с войны живым и невредимым, а его невеста Клава, работавшая в тылу, потеряла руку во время загрузки угля в забое. Причинить своей бедой безысходную боль дорогому человеку, быть, как ей кажется самой, в тягость Андрею она считает невозможным. «Зачем же я тебе такая теперь, Андрюшенька, нужна?» — с горечью скажет Клава любимому, когда тот разыщет ее. Так с новой силой звучит в поэтической повести М. Балыкина мотив утраченной красоты как платы «за красоту времен грядущих», нашедший классическое воплощение в «Проданной Венере» Василия Федорова.

Вызывает уважение нравственный максимализм героев «Марианны». Запоминается

эпизод, в котором ярко проявились их молодая наивность и душевная чистота. Андрей боится сказать Клаве о своей любви, ведь он... так бедно одет. Но вот куплены рубашка и новые ботинки, а подруга... отводит глаза, «чтоб не заметить гордым взглядом его торжественный наряд»; не внешний блеск нужен ей, а «одно-единое словечко».

Психологически точно выписана сцена прощания влюбленных, тот «молчаливый разговор», когда скупые обыденные слова звучат весомей самых пылких признаний:

...А вслух сказала только:
«Каску
Ты аккуратней надевай».
. . . .
— Пора, Андрюша, опоздаешь.
— Куда? На смену?
— На войну...

С образом Андрея Гончарова связана другая добрая традиция — отмечать в характере русского человека смекалку, основательность, доброту. Парнишкой пришел Андрей на шахту, быстро завоевал уважение старших и вскоре был назначен десятником.

Не сразу далась вчерашнему «слесаренку» суровая «наука ненависти». В захваченном «языке» — своем ровеснике — он поначалу видит прежде всего человека, такого же, как он, рабочего, оторванного от мирного труда. И эти человеческие черты на какое-то время заслоняют звериную сущность фашизма.

Трудно найти произведение о Великой Отечественной войне, где бы не говорилось о гуманизме советского солдата, где бы не ставилась проблема человечности и ненависти к врагу. Эпизод с «языком» заставляет вспомнить подобный случай, описанный Михаилом Бубенновым в «Белой березе». Это не литературная реминисценция. «Героя я беру с натуры», — подчеркивает автор, и переведенная на язык поэзии уже известная в литературе ситуация вырастает в лирическом отступлении в емкий образ.

Клава и Андрей выстрадали свое счастье. В жестокой битве с захватчиками, в непомерно тяжелом труде в тылу добыли они свою долю, неотделимую от судьбы народа. В характерах главных героев автор отмечает исконные черты рабочего человека — прямоту, совестливость, сердечность. Но, верный правде жизни, Михаил Балыкин углубляет нравственный конфликт повести, выводя и другой тип «героя» — двуличного приобретателя, жулика, мораль которого довольно проста: «Вот пчелки взяточки берут, — меня учил папаша, — и жизнью сладкою живут. Такая правда наша».

С «папашей» Куяном — Антоном Куяновым мы встречаемся в третьей главе. Ловкий торгаш, мошенник, цинично объявивший себя «инвалидом войны», Антон Куян наживается, обманывая своих покупателей. Позднее отцовскую науку наживы успешно освоит его сынок Вадим, избрав доходным промыслом ремесло зубного техника. Привыкший к комфорту, к красивым вещам и безделушкам, он и приглянувшуюся ему девушку оценивает с «пристрастьем ювелира». И вот здесь-то и поверяются нравственные качества Марии Гончаровой. Кого выберет она? Честного рабочего парня Семена Балахнина или Вадима, по кличке Дефицит? Автор, явно симпатизирую-

щий своей героине, в финале повести развенчивает ее, превращая своенравную красавицу в ветреную пустышку, которую так легко «сразила польская помада и чаепитие в саду». Огорчает несколько водевильный характер сцен с внезапным увлечением Маши Вадимом и столь же быстрым «обращением» ее в лоно истинной любви к Семену. Какова же в действительности эта любовь, если заграничный круиз, обещанный малознакомым человеком в обмен «на руку и сердце», едва не приводит нашу героиню к разрыву с любимым за считанные дни до свадьбы? Оговорка автора, что «девчонке девятнадцать», не объясняет поступок Маши: ее инфантильность и неумение задумываться над происходящим достойны сожаления. Малоубедителен характер Вадима, решенный однопланово, есть черты схематизма в образе Семена. Характеры молодых современников в меньшей степени удались М. Балыкину, чем колоритные и пластичные фигуры представителей старшего поколения.

Заканчивается повествование внутренне драматичной сценой: Андрей Кузьмич Гончаров встречается с Антоном Куяном. Старый шахтер узнает в медоречивом «свате» своего давнего врага и гневно отвергает саму возможность родства с куяновским семейством:

...Ты нашим битвам, нашим мукам
И пятилеткам — не родня.

Для семьи Гончаровых, для Степана Балахнина и его сына Семена, для Гули-Гали и дядюшки Есета, для Прони Веселого Гнома, для горнячек — героинь «Марианны» — мерило человеческого достоинства — честный труд. Тема труда, тема любви к родной земле, украшенной трудом живущих на ней людей, — магистральная в повести.

Основное действие «Марианны» происходит в Караганде с ее дружным многонациональным населением, в окрестностях города.

Наш город вовсе не стремится
Среди других столиц блистать.
Его шахтерскою столицей
По праву стали называть.

Гордясь рабочею судьбою
И набирая высоту,
Он встал железною стеною
На мощном угольном пласту.

Поэт любовно описывает привольные казахские степи, быт чабанов, их гостеприимство и душевный такт, удачно вводит в поэтическую структуру колоритные приметы народной жизни, слова казахского языка.

Есет-ага был добр с нею.
Он знал, как говорит народ,
Что тот, кто говорит, тот сеет,
А тот, кто слушает, тот жнет.

Он — молчаливое участье —
Про жизнь ее не расспросил,
На руку, на ее несчастье
Глазами даже не косил.

Лишь вечером за дастарханом
Вдруг скажет: «Вот вернется сын,
С войны дождемся Тлеухана,
А в доме младшая келин» [1].

Через все произведение проходит мотив дружбы, связывающей в неразрывное целое народы нашей многоязычной Родины.

Повесть в стихах написана одним размером — четырехстопным ямбом (исключение составляет маленькая главка). Поэт словно бы подчер-

---

[1] Келин (каз.) — младшая сноха.

кивает повествовательный характер поэтического произведения, простая ритмика и композиция концентрируют внимание читателя на существе происходящих событий, достоверность которых становится основным критерием художественности. В прологе заявлено:

...Я о шахтерах начинаю
Свой непридуманный рассказ.
В нем будет все: любовь земная
И труд, и счастье без прикрас.

Серьезный и ответственный шаг предпринял карагандинский поэт Михаил Балыкин, обратившись к жанру повествовательной поэмы. Многие главы и фрагменты вызывают симпатию, запоминаются характеры главных героев. И все же выношенный в сердце и основательно продуманный замысел достоин более отточенной формы. Видимо, автор, увлеченный целым, не всегда обращал внимание на частности, следствием чего явились прозаизмы и длинноты, «непрописанные» строки, интонационные срывы. Важность темы, острота конфликта и событийная насыщенность сюжета говорят в пользу автора, но одаренному поэту, каким. несомненно, является автор «Марианны», следует быть предельно требовательным в выборе изобразительных средств.

Анатолий ВЕРШИНСКИЙ

Художественный редактор Г. Комаров

Технический редактор Н. Строева

Сдано в набор 03.06.82. Подп. в печ. 22.07.82. А06627.
Формат 84×108 1/32. Печать высокая. Усл. печ. л. 15,12.
Уч.-изд. л. 18,5. Тираж 800 000 экз. Цена 80 коп. Заказ 951.
Типография ордена Трудового Красного Знамени
изд-ва ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия».
103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.

«СПЕКТР-722»

унифицированный лампово-полупроводниковый телевизор цветного изображения второго класса обеспечивает прием телевизионных передач цветного и черно-белого изображения как в метровом, так и в дециметровом диапазонах волн.

В телевизоре «Спектр-722» выбор программ осуществляется с помощью сенсорного переключателя, имеется ряд автоматических регулировок, обеспечивающих высококачественное изображение.

В этой модели телевизора применен цветной масочный кинескоп со спрямленными углами, сенсорный блок управления со всеволновым селектором каналов, четыре интегральные схемы. Предусмотрена возможность подключения магнитофона для записи звукового сопровождения телевизионных передач, прослушивания звукового сопровождения на головные телефоны, а также подключения внешнего видеосигнала.

Розничная цена — 755 руб.

Спрашивайте телевизор «СПЕКТР-722» во всех магазинах, торгующих телевизорами.

ЦКРО «РАДИОТЕХНИКА»



Цена 80 коп.

Индекс 70544

ISSN 0131-2251